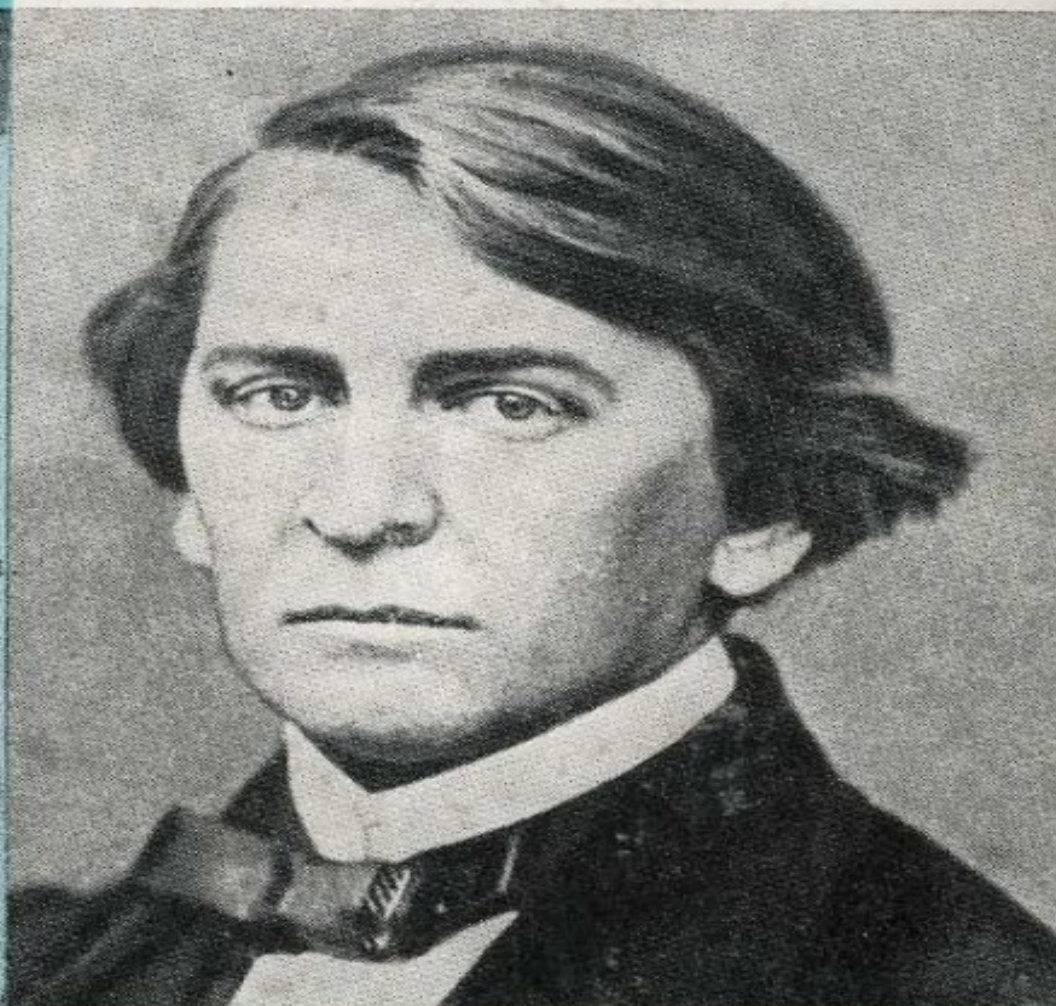


ПЛЕЩЕЕВ



Николай
Кузин



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Алексей Николаевич Плещеев (1825–1893) — выдающийся русский литератор. Его раннее поэтическое творчество проникнуто революционными идеалами, строки его стихов стали символом революционного романтизма. Тонкие лирические стихи поэта вдохновили многих русских композиторов (Чайковского, Кюи), создавших замечательные романсы. Биография поэта воссоздается автором на основе глубокого изучения творческого наследия Плещеева, его роли в культурной жизни России второй половины XIX века.

[Адаптировано для AlReader]



FB2 книгу сделал mefysto

-
- [Николай Кузин](#)
 -
 - [ПРОЛОГ](#)
 - [«ДЕТСТВА ДАЛЕКИЕ ГОДЫ...»](#)
 - [«ПО ЧУВСТВАМ БРАТЯ МЫ С ТОБОЙ...»](#)
 - [«КРЕПОСТНОЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЕ](#)
 - [ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОСКВЕ](#)
 - [НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ](#)
 - [СЕКРЕТАРЬ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»](#)
 - [В ОКРУЖЕНИИ МОЛОДЫХ СОРАТНИКОВ](#)
 - [ЭПИЛОГ](#)
 - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА](#)
 - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
 -
 -
 -
 -



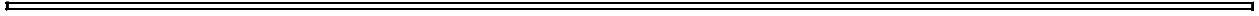
- [КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ](#)
- [INFO](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)

- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)

- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)



ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 11

 (689)

Николай Кузин

ПЛЕЩЕЕВ



МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

*

Рецензенты:

доктор филологических наук
КРАСНОВ Г. В.

доктор филологических наук
КОРОВИН В. И.

доктор филологических наук
ПРИЙМА Ф. Я.

В книге использованы фотоматериалы из Государственного театрального музея имени Бахрушина; фототеки Государственного литературного музея.

© Издательство «Молодая гвардия», 1988 г.

ПРОЛОГ

Душа томилась по желанной весне, по морозы в Москве никак не хотели отступать. Вот уже вторую неделю Алексей Николаевич почти не прогуливался по Плющихе. А нынче и вовсе похолодало, да еще подул резкий промозглый ветер. Нет, положительно не хочется выходить на улицу, но это, может быть, и к лучшему — стихотворное послание к молодому поколению обрело наконец завершенность.

Стихотворение, которое поэт озаглавил «К юности», бродило в душе давно, пожалуй, еще с осени 61-го года, когда московское студенчество, возмущенное арестами своих товарищей, вышло 13 октября на демонстрацию протеста перед домом генерал-губернатора. Но именно сегодня, в этот холодный февральский день, поэта посетило то нетерпеливо-радостное состояние, когда «и мысли в голове волнуются в отваге... и пальцы просятся к перу, перо к бумаге», и он спешил не упустить этот долгожданный момент, вдохновенно набрасывая несколько размашистым почерком первые строки своей исповеди-обращения.

О юность, юность, где же ты?
Где эта пылкая отвага
И вдохновенные мечты?
Готовность где — во имя блага,
Покинув все, семью и дом, —
Идти на битву с мощным злом?

Их нет давно!.. И нету сил
На подвиг трудный и суровый,
Как раб, что много лет носил
Неволи тяжкие оковы,
Я духом слаб, я изнемог,
Сломил меня железный рок.

Алексей Николаевич поднялся из-за стола, прошелся по кабинету.

Яркой вспышкой промелькнул перед ним вечер на одной из «пятниц» у Петрашевского, когда он первый раз читал товарищам свое «Вперед! Без страха и сомненья...». Как же они тогда, 16 лет назад, рвались к делу, свято

веря в неизбежное торжество идеалов справедливости... Балосогло, Дуров, Ханыков, Достоевский, Пальм, Спешнев... Плещееву вспомнились бурные споры сороковых годов, когда он и его товарищи, увлеченные идеями французского философа Шарля Фурье, горячо верили в скорое переустройство человеческого общества, вспомнились заключение в Петропавловской крепости и страшное утро 22 декабря 1849 года — утро смертного приговора... Как в яви увиделась безмолвная и бесконечная степь, по которой везли его, закованного в кандалы... Солдатская муштра, Оренбург, Ак-Мечеть, стычки с кокандцами, снова Оренбург — долгие годы ссылки тянулись бесконечной чередой. Трудное и робкое возвращение к творчеству, стихам, «перу и бумаге», встречи, знакомства с нынешними поборниками справедливости. Новое поколение 60-х — с чем идут они? Приемлют ли наши идеалы, готовы ли пожертвовать своим благополучием? К чему устремлены?

Алексей Николаевич перечитал первые строфы стихотворения и решительно продолжил «исповедь»:

...Лишь одного житейский гнет
Убить в душе моей не в силах,
Одно в ней только не умрет,
Хотя и будет в этих жилах
Струиться старческая кровь:
К отважной юности любовь!..
Когда, толпясь вокруг меня,
Кипит младое поколение,
Иного, радостного, дня
Рассвет я вижу в отдаленье,
И говорю с восторгом я:
«Бог помочь, братья и друзья!
Несите твердою рукой
Святое знамя жизни новой,
Не отступая пред толпой,
Бросать камнями готовой
В того, кто сон ее смутит,
Чья речь, как божий меч, разит.
Бог помочь, братья и друзья!
Когда ж желанный день настанет,
Пусть ваша дружная семья
Отживших нас добром помянет,

Нас всех, чья молодость прошла
В борьбе с гнетущей силой зла!»

Так, взволнованным призывом, и завершил свое стихотворение морозным февральским вечером 1862 года Алексей Николаевич Плещеев — известный поэт и прозаик, человек трудной, легендарной и очень знаменательной для этого поколения судьбы. Потому-то с полным правом, в свои неполные тридцать семь, он обращался «к юности» как умудренный жизнью человек, хоть и надломленный, но сохранивший цельность юношеских идеалов.

А за несколько дней до этого в селе Знаменском Орловской губернии другой Плещеев — глубокий старец, отец двух сыновей-декабристов, Александр Алексеевич — писал к Алексею Николаевичу в Москву, на Плющиху, дом № 20:^[1]

«Милостивый государь мой Алексей Николаевич! Года три, а может, четыре назад, в Петербурге, во время нашего мимолетного знакомства в редакции «Современника», у Добролюбова, Вы изволили полюбопытствовать, не состоим ли мы с Вами в каком-либо, хотя бы отдаленном родстве. Меня самого давно занимал сей вопрос, и тогда я предпринял розыски в родословных и в книгах Герольдии. Но болезни и преклонный мой возраст — в прошлом июле мне исполнилось восемьдесят четыре — прервали сии изучения. Твердо знаю, что оба мы имеем одного отдаленного предка: в 1335 году ко двору Московского князя прибыл черниговский боярин Федор Бяконт с двумя сыновьями. Старший сын — достоправный Елевферий, в пострижении Алексей, митрополит Московский, управлял княжеством Московским долгие годы при малолетнем князе Дмитрие Ивановиче, прозванном Донским, и был впоследствии причислен церковью к лику святых. Младший сын Бяконта — Александр, нареченный народом за плечистость Плещеем^[2], вот он-то и есть родоначальник нашей фамилии. От него осталось большое потомство, погодя образовалось великое множество линий. Известны Плещеевы, а также Плещеевы-Мешковы, Плещеевы-Очины, Плещеевы-Колодкины и другие.

Ваша семья, происходившая от нижегородских дворян, вряд ли находится в близком свойстве с дворянами орловского наместничества, то есть с моими родичами. Родство между нами, коли его и удалось бы найти, упрятано, видно, в отдаленнейших временах.

Однако надобно ли разыскивать его?.. Не важнее ли для нас вывести

наружу духовное наше родство? Тождество мыслей, единство упований и понятий?..

Мой к Вам интерес попервоначально возбудила общность фамилий. Вслед за тем превратности Вашей судьбы, арест всех членов кружка Петрашевского и жесточайшее наказание: объявление смертной казни у эшафота, на Семеновском плацу. При барабанном бое вы, узники, облаченные в саваны, под взведенными курками внезапно слышали замену смертного приговора, вы сосланы рядовыми солдатами в Оренбургский край... Мы все это знали и вам сострадали.

Но и прежде и после сего... первенствующим образом... Ваши стихи нашли себе ревностных почитателей в лице всех членов нашего дома. Ваше длительное пребывание в ссылке, вслед за тем отдаленность местожительства и природная скромность моих ныне покойных уже сыновей помешали знакомству и желанному для всех нас сближению с Вами. Достаточно Вам рассказать, что второй сын мой, «черный жучок» Александр-Санечка, в последние месяцы перед кончиной не переставая пел Ваш столь известный ныне повсюду гимн на мотив Марсельезы:

Вперед! без страха и сомненья,
На подвиг доблестный, друзья!

...Читая и вновь перечитывая другие Ваши стихи, порою мне кажется, что я их сам написал... ибо Вы выражаете мысли мои, живете чувствами моими...»

Это письмо, начатое 2 февраля 1862 года, писалось одним из первых русских вольнодумцев более двух недель с перерывами, но так и осталось незавершенным, неподписанным и не отосланным адресату. 10 марта 1862 года А. А. Плещеев скончался.

Вчитаемся внимательнее в строки этого удивительного послания. Человек преклонного возраста, он признается в полном единомыслии с поэтом Плещеевым («Вы выражаете мысли мои, живете чувствами моими»), видя в нем прямого продолжателя дела, за которое боролись его сыновья-декабристы. В сущности, письмо А. А. Плещеева — это тоже исповедь-обращение, подобная той, с которой Алексей Николаевич обратился в стихотворении «К юности», восторженно желая молодому поколению уверенно нести «святое знамя жизни новой», символизирующего для всех поколений русских революционеров великую идею освобождения родной земли от внутренней тирании.

«...Увы, милейший Алексей Николаевич, ныне, под конец жизни, и впрямь горько признаться, что нету, нет вокруг мне отрадного рассвета... Земля русская, горькая, облитая потом и кровью нашего мужика, земля-то осталась такую же закрепощенной, как и была... Новая кабала не лучше прежнего рабства, столь памятного мне по временам Екатерины», — с грустью констатирует старик. И тут же сетует на неблагодарность современников, предавших забвению труды просветителей недавнего прошлого: «Кто помнит Николая Александровича Львова^[3], к примеру? А ведь Вы знаете, как много всякого великолепного он сотворил! А Безбородко?^[4] Тоже почти забыт. В памяти нынешнего поколения почти не сохранился даже Карамзин. Что же сказать тогда о скромных моих сыновьях и других достойных ратниках за свободу?» — это упрек и одновременно пожелание потомкам не совершать таких просчетов в будущем (тут уже прямая переключка с посланием поэта «К юности»: «Пусть ваша дружная семья отживших нас добром помянет...»).

Но в письме А. А. Плещеева звучали и оптимистические ноты, рожденные сознанием своей причастности свободолобивым идеалам, в обязательное торжество которых верили русские борцы с деспотизмом и угнетением во всех поколениях.

«А по-серьезному я теперь утешаюсь словами Вашей студенческой песни:

Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас!»

В написанном февральским днем 1862 года Алексеем Николаевичем новом стихотворении, обращенном к молодежи, звучала та же идея преемственности свободолобивых традиций и верности революционным идеалам. Поэт сетует на отсутствие сил «на подвиг трудный и суровый»; не будем принимать это признание в прямом, буквальном смысле: перед нами все-таки поэтическое послание — исповедь, а не дневник. Кроме того, не надо забывать и о том, как поэт еще за три года до написания «К юности» не без гордости заявлял:

...Хотя бы жизнь одни сулила муки,
Я бодро встречу их, благословив свой путь!

«ДЕТСТВА ДАЛЕКИЕ ГОДЫ...»

Но быстро та пора исчезла...

Л. Н. Плещеев. Отчизна

Где и когда впервые встретились коллежский асессор в отставке Николай Сергеевич Плещеев и дочь костромского помещика Елена Александровна Горскина, нам в точности не известно. Николай Сергеевич служил ранее при олонецком, вологодском и архангельском генерал-губернаторах, бывал по делам службы и в нижегородском краю, и в костромских землях. Вероятно, в эту пору и пересеклись судьбы Плещеева и Горскиной. Можно предположить, что родителям Елены Александровны — коренным костромичам — льстило внимание к их дочери потомка старинного плещеевского рода, внесенного в VI главу родовых книг Московской, Орловской, Пензенской и Тамбовской губерний и ведущего свое фамильное начало от костромского наместника Александра Плещеева.

Во всяком случае, известно: 22 ноября 1825 года у Николая Сергеевича и Елены Александровны Плещеевых родился мальчик, нареченный Алексеем, видимо, в память именитого предка — святого Алексия, Московского митрополита во время княжения Дмитрия Донского. Жили Плещеевы в это время в старинном русском городе Костроме, вернее, постоянно жил Николай Сергеевич, исполняя службу чиновника особых поручений, а Елена Александровна только навещала мужа, предпочитая оставаться в родительском имении.

С рождением Алексея Плещеевы уже окончательно обосновались в Костроме, но ненадолго. Спустя два года Николай Сергеевич перевелся на службу губернским лесничим казенной палаты в Нижний Новгород, куда вскоре переехала и Елена Александровна с сыном.

В Кострому, по всей вероятности, Плещеевы больше не возвращались, и детство будущего поэта прошло в Нижегородской губернии, где Елене Александровне и ее сыну вскоре отошло родовое имение при селе Шахманове и деревне Чернухе в Княгининском уезде. Как засвидетельствовано в «Формулярном списке о службе причисленного к Государственному контролю Титулярного Советника Алексея Плещеева», составленном 31 августа 1872 года: «У матери его имение Ярославской губернии Пошехонского уезда и кроме того у него вместе с матерью

Нижегородской губернии Княгининского уезда имение доставшееся по духовному завещанию от дяди», — каллиграфически и без каких-либо знаков препинания зафиксировал составитель «формулярного списка»...

Всего четыре года прожили Плещеевы в Нижнем, как их постигло большое горе — скончался глава семьи Николай Сергеевич. Шестилетний Алеша остался без отца, и совсем еще молодая Елена Александровна — без мужа. Как жить дальше?..

Елена Александровна вместе с Алешей уезжает в Княгинин^[5] — небольшой уездный городок, расположенный на правом берегу Волги, в ста верстах от Нижнего, на берегу реки Имзы, притока Урги^[6]. Земли здесь чуть ли не самые плодородные в нижегородском крае, и большая часть населения издревле занималась хлебопашеством. В поймах реки — заливные луга, обрамленные небольшими, но многочисленными лесными грядами, в которых сполна водилось всякой живности. Просторные поля, причудливые овраги, похожие на горные массивы, обилие речушек и рек — такое раздолье окружало новое пристанище Плещеевых.

Мне вспомнились детства далекие годы
И тот городок, где я рос, —
Приходского храма угрюмые своды,
Вокруг него зелень берез.
Бывало, едва лишь вечерней прохладой
Повеет с соседних полей,
У этих берез, за церковной оградой,
Сойдетсся нас много детей... —

будет вспоминать сорокалетний Алексей Николаевич в стихотворении «Детство» о Княгинине, приютившем осиротевшую семью.

Для любознательного и мечтательного Алеши Плещеева уездный городок на Имзе все-таки казался большим по сравнению с той деревней Чернухой, где жили их крепостные. В Княгинине на две тысячи жителей имелось 3-классное городское училище, больница, аптека и библиотека. Простой люд городка, кроме крестьянского труда, занимался еще изготовлением серпов, шитьем шапок и картузов. В праздничные дни улицы городка заполнялись этим разношерстным людом, повсюду раздавались песни, и задорные, и уныло-скорбные, устраивались веселые игры, на которые особенно тянулась детвора.

В имении, что досталось Елене Александровне и Алеше по наследству,

на плодородных землях крестьяне выращивали неплохой урожай, по крайней мере богаче, чем в Ярославской губернии, где, как мы уже знаем, в Пошехонском уезде у Елены Александровны также было небольшое имение. И природа здесь была привлекательнее, чем в Пошехонье. Все это, видимо, и определило решение Елены Александровны остаться с сыном в Княгинине.

Алеша подрастал, любознательность его не знала удержу, и матери пришлось крепко призадуматься о его систематическом образовании. Об определении мальчика в Нижегородскую гимназию с последующим переводом в Александровский дворянский институт не могло быть и речи. Мать даже на один день не хотела расставаться с Алешей, да и сын был настолько привязан к ней, что не согласился бы и на кратковременную разлуку. Решено было, как тогда и делалось во многих дворянских семьях, пригласить на дом учителей-гувернеров, а после, когда Алеша подрастет, определить его, исполняя волю покойного отца, в Санкт-Петербургскую школу гвардейских подпрапорщиков. Елена Александровна исподволь готовилась к переезду в столицу.

Выказывая прекрасные способности к учебе (особенно легко давались ему языки), Алеша к тринадцати годам свободно читал в подлиннике французские и немецкие книги, с большой охотой писал сочинения на французском, пробовал даже переводить стихи Гёте и других немецких поэтов. Но такие увлечения носили чисто случайный характер, особой тяги к «сочинительству» в те годы Алеша еще не испытывал.

Хотя Елена Александровна ревностно следила за тем, чтобы сын ее много и усердно занимался, однако не препятствовала и его свободе, разрешала «хороводиться» с княгининскими ребятами, среди которых было много детей ремесленников и крестьян. Может быть, именно в ту пору в душу любознательного и впечатлительного Алеши Плещеева проникли тревожные сомнения, о которых сказано в том же стихотворении «Детство»: «И часто дивился: зачем те богаты — а эти без хлеба сидят?» Правда, в стихотворении вопрос этот задает не Алеша, а его друг-бедняк, но разве барчонок Плещеев тоже не мог задуматься о странном разделении людей на бедных и богатых?..

Дружеские мальчишеские сходки за церковной оградой начинались обыкновенно веселыми играми, а заканчивались часто тем, что ребята, наигравшись вдосталь, рассаживались в кружок и рассказывали друг другу сказки и истории — одна страшнее другой. Алеша, хотя и был начитаннее многих своих сверстников, все же любил рассказы старших о том:

...Какие на свете есть страны,
Какие там звери в лесах,
Как тянутся в знойной степи караваны,
Как ловят акулу в морях.

Иногда и сам рассказывал о рыцарях, викингах, о героях Древней Греции — истории, почерпнутые из баллад Жуковского, повестей Марлинского, сказок Пушкина...

Часто приходилось ему вместе с матерью приезжать в Нижний, навещать могилу отца. Елена Александровна говорила сыну о его знаменитых предках, игравших в прошлом видную роль в государственных делах России, водила мальчика в Рождественскую (Строгановскую) церковь, недавно выстроенный Спасо-Преображенский монастырь нижегородского кремля, куда перенесли усыпальницу великого патриота русской земли Козьмы Минина...

А сам кремль, могучие кирпичные стены которого казались неприступными?.. Алеше было известно, что кремлевские стены, выстроенные в начале XVI века взамен деревянных, неоднократно подвергались осаде, особенно со стороны казанских татар, но ни разу вражеская нога не ступала на территорию кремля. Поистине пророческим оказалось пожелание великого владимирского князя Юрия Всеволодовича, приказавшего основать город: «И поставит в устье Оки реки град камень и крепок зело не одолеют его силы вражеские» — эти слова позднее были высечены на камне, что установлен возле Ивановской башни, неподалеку от места слияния Оки с Волгой.

От стен нижегородского кремля отправлялись русские дружины защищать отечество от мордвы и болгар, от Мамаевых орд здесь, на бывшей верхнепосадской площади, сын балахнинского солепромышленника посадский человек Козьма Минин^[7], избранный нижегородским земским старостой, выступил в сентябре 1611 года с пламенным призывом создать народное ополчение для борьбы с польскими захватчиками, для спасения государства Русского и православия...

По рассказам матери Алеша знал, что в период Смутного времени один из Плещеевых — Алексей Романович — «сплоховал»: сначала был окольник при Василии Шуйском, а потом неожиданно оказался окольник при Лжедмитрии II — «Тушинском воре» и возглавлял его войско, совершавшее походы в 1608–1609 годах из Суздаля до Балахны. Да, поистине тогда было Смутное время, замутившее голову не только Лексею

Романовичу... Но через эту площадь проводил свои полки другой воевода Плещеев, что по приказу царя Михаила Федоровича выступил в 1644 году в поход против кочевых племен калмыков и башкир, беспокоивших русские поселения между Симбирском и Самарой...

Елена Александровна рассказывала сыну о русской истории, делилась семейными преданиями, обычно после окончания службы в соборном храме Благовещенского монастыря, когда гуляла с сыном по губернаторскому саду в кремле, по Нижней набережной.

Жадно слушая рассказы матери, Алеша любовался золочеными куполами Рождественской церкви и голубыми маковками Архангельского собора, величавой стрелкой, где две сестры — две русских реки — соединяли свои воды в могучий поток — дорогу, по которой непрерывно сновали лодки, ботики.

А однажды, прогуливаясь с Алешей, Елена Александровна, волнуясь, рассказала сыну о том, как ей посчастливилось видеть Александра Сергеевича Пушкина, заезжавшего в Нижний 2 сентября 1833 года.

Алеша с пятилетнего возраста был знаком о пушкинскими стихами, многие из них помнил наизусть, поэтому воспринимал рассказ матери о Пушкине как красивую сказку, не допуская реальной возможности встречи его матери и знаменитого поэта в нижегородском Доме дворянского собрания... Он там тоже побывал в начале 1837 года и ничего примечательного от этого посещения не вынес, но хорошо помнил слова матери, что по залам этого Дома проходил великий Пушкин, и одно это казалось Алеше чудом.

Вспоминая материнский рассказ о ее встрече с Пушкиным четыре года назад, Алеша задал Елене Александровне неожиданный вопрос, когда они возвращались из Дома дворянского собрания в свой Княгинин:

— Мама, тебе довелось тогда беседовать с Александром Сергеевичем Пушкиным?

— Нет, Алеша, я только слышала его разговор с губернатором Михаилом Петровичем Батурлиным.

— Скажи, мама, пожалуйста, Пушкин выглядел грустным или веселым?

— Не могу сказать точно, сынок, но, кажется, он был немного утомленным и задумчивым.

— Я так и предполагал. — Алеша резко повернулся к Елене Александровне.

— Так и предполагал?..

— Да, ему, наверное, было скучно и неинтересно среди вас.

Елена Александровна с укоризной взглянула на сына, но не стала возражать, нечаянно почувствовав в словах его правоту, с которой внутренне согласилась.

Оба надолго задумались, и под скрип полозьев санного экипажа Елене Александровне в подробностях вспомнилась та сентябрьская встреча, а мальчик стремился... представить себе, чем занимается поэт в этот январский студёный вечер 37-го года...

Известие о гибели на дуэли Пушкина пришло в Нижний в первые дни февраля, но Алеше Плещееву совсем не хотелось верить в реальность случившейся утраты. Впечатлительный, много размышляющий мальчик долго не мог смириться с тем, что обожаемого, любимого поэта, которого «читать... привыкли с детских лет», нет в живых; смерть Пушкина оставила в сердце Алеша вторую горестную зарубку — первой была смерть отца... В ту зиму 37-го года Алеша вообще стал несколько замкнутым, искал уединения, реже участвовал в детских играх.

Елена Александровна с нетерпением ждала весны, надеясь, что пробуждающаяся природа развеет угнетенное состояние сына. И в самом деле, Алеша «оттаял» — снова большую часть времени проводил в обществе сверстников, увлекаясь безобидными мальчишескими проказами. Очень тесной дружбы с кем-то из ровесников в пору своего детства он, видимо, не имел (по крайней мере, конкретно не высказывался об этом и впоследствии). Известно нам о близком его знакомстве в ту пору с Николаем Григорьевым — тоже будущим петрашевцем, сыном отставного генерал-майора. Имение Григорьевых находилось недалеко от плещеевского, и обе семьи находились в довольно дружеском общении, но Николай был старше Алексея на три года, и эта разница, видимо, сказывалась, подлинной дружбы не возникло. Кроме того, Николай был отправлен учиться в один из частных пансионов еще в середине 30-х годов, и с той поры мальчики, по всей вероятности, не встречались до того, пока судьба не свела их в 40-е годы у общих знакомых в Петербурге...

С осени 1837 года Плещеевы решили постоянно жить в шахмановском имении в пятнадцати верстах от Княгинина. Надо было серьезно подготовить Алешу для поступления в учебное заведение и теперь уже окончательно собраться для переезда в Петербург. Елена Александровна подает в Нижегородскую казенную палату просьбу о назначении ей пенсии, хлопочет о выдаче паспорта «для свободного проживания»...

Для юного Алексея Плещеева наступило новое, необыкновенно насыщенное впечатлениями и событиями петербургское десятилетие.

Сыну пошел четырнадцатый год, и Елена Александровна с тревогой замечала, что он снова, как и два года назад, замкнулся, стал равнодушен к занятиям, даже книги любимых авторов читал с каким-то безразличием. Мать понимала, что с переездом в столицу Алеша изменился скорее всего потому, что сильно тосковал по приволжским раздольям, и старалась делать все возможное, чтобы развеять Алешину грусть — частыми посещениями театров, прогулками по городу, во время которых, казалось, сын преображался, снова становился восторженным, любознательным и... очень доверчивым. Но в то же время Елена Александровна чувствовала, что причина возникающей замкнутости Алексея нынче несколько иная, чем в Княгинине, догадывалась: сын взрослеет, переживает переломную пору от отрочества к юности...

Ну что ж, возрастная грусть сына — не беда, а скорее радость для материнского сердца, и надо заботиться о главном: исполнить желание покойного мужа и определить Алешу в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров — в своем роде единственное в России военное учебное заведение, доступное для юношей из небогатых дворян. А Плещеевы, несмотря на прошлую родовитость, увы, не могли похвастаться богатством нынче: оба их имения (и нижегородское и ярославское) приносили очень малый доход, незначительной была и пенсия, которую Елена Александровна выхлопотала в Нижнем Новгороде как вдова отставного коллежского асессора и губернского лесничего — всего пятьдесят семь рублей в год. Поэтому определение Алешу в «казенную» школу во всех смыслах устраивало Елену Александровну — исполнилось бы завещание покойного Николая Сергеевича и в какой-то мере уменьшились бы расходы на дорогую петербургскую жизнь.

Только сначала надо присмотреться к этой наполненной новыми заботами жизни, ибо Петербург — не крошечный Княгинин и не Нижний с его незабываемой стариной. Опять же и сырой климат на берегах Невы ощутимо разнится с приволжским — недаром Алеша, и всегда-то не отличавшийся крепким здоровьем, в первые недели совсем было расхворался. К счастью, вскоре окреп и часто сам звал мать на прогулки по городу...

Поселились Плещеевы на Литейном — сняли небольшую квартиру из двух комнат, но и за нее приходилось платить немалую долю из скромного семейного бюджета. Впрочем, квартира уютная, с просторной прихожей, широкими окнами, выходящими в дворовую часть дома.

Мальчика поначалу ошеломил один из крупнейших и красивейших европейских городов с полумиллионным населением. Нева, Фонтанка,

Мойка, Екатерининский канал оделись в гранитные берега, через реки перекинуты сотни чугунных мостов, многие из которых дивили взор чудным изяществом своих линий. А дворцы и соборы? Разве не вздрогнет сердце у подножия могучего Исаакия или устремленного в небо золоченого шпиля Петропавловского собора?! Или голубые купола Воскресения в Смольном монастыре? А подковообразный Казанский с установленными перед ним в двадцать пятую годовщину Отечественной войны памятниками Кутузову и Барклаю-де-Толли! Алексей во время прогулок с матерью особенно часто останавливался возле памятников полководцам — ведь в скором времени ему самому предстояло стать военным.

Приходилось бывать Алексею и на Суворовской площади, когда выезжали в Летний сад, но памятник Суворову казался нарочито торжественным и странным. А вот в Троицком соборе Александро-Невской лавры его чрезвычайно удивила простота надгробья великого полководца (по сравнению с роскошными надгробьями Шереметева, Безбородко и других) с лаконичной надписью на плите: «Здесь лежит Суворов».

Ошеломляли своим богатством и величием дворцы: Аничков, Таврический, Мраморный, здание Биржи на Стрелке. Заканчивались работы по восстановлению сгоревшего недавно Зимнего, от которого не хотелось уходить — сказочная нарядность его просто очаровывала... А гигантская колонна-монумент императору Александру!..

Гулянья по паркам и садам Петербурга, поездки в Петергоф, Ораниенбаум — все это сначала было похоже на длинный чудный сон. О предстоящей учебе в школе подпрапорщиков, право, не хотелось думать, особенно после того, как Алексей увидел здание школы, расположенное вдоль Обводного канала — мрачноватое, даже отпугивающее.

А тут еще несколько выездов в театры — в Мариинскую оперу, Александрийскую драму... «Аскольдова могила» Верстовского, гоголевский «Ревизор»... Да, по сравнению с нижегородской жизнью Плещеевых Петербург и в самом деле почти что сказочный город! Только вот мать все чаще стала говорить о необходимости выполнить наказ отца, и Алексей снова приступает к усердным занятиям, чтобы выдержать «конкурентный экзамен» в школу подпрапорщиков. Готовясь к испытаниям, он все же выкраивает время и на чтение «для души», особенно его влекут поэтические сочинения. Как бы заново открывается необыкновенная красота и пленительность музыки Жуковского, глубина внутреннего чувства в стихах Батюшкова, в элегиях Баратынского. Если раньше из сочинений Жуковского больше других нравились патриотическая поэма «Певец во стане русских воинов» и баллады поэта,

то теперь Алексей с особым восторгом читал романсы и песни Василия Андреевича, находя в них много созвучного трепетным порывам собственной мечтательной души...

В эту же пору сердце юного Плещеева обжигает тревожная поэзия Лермонтова, которого он раньше знал в основном по стихотворению «Бородино», опубликованному в журнале «Современник» в 1837 году, — стихотворение было настолько ярким и запоминающимся, что Алексей сразу же выучил его наизусть. И вот недавно Елена Александровна принесла домой несколько номеров «Отечественных записок» за 1839 год — в них напечатаны новые стихи Лермонтова, которые сильно взволновали Алексея, — то были «Дума», «Поэт», «Не верь себе» и «Три пальмы». Юноша многократно с упоением перечитывал эти стихи, хотя и не все в них было ему понятным, но энергия, сила, страстный призыв «скорее жизнь свою в заботах истощить», пробуждали в нем неподдельное и горячее желание к действию, заронили в его душу возвышенные чувства, готовность посвятить себя благородной цели служения Отчизне, народу, вселяли надежду на непременно участие в светлом обновлении жизни...

Экзамены Алексей выдерживает успешно и в 1840 году поступает в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой, как он узнает позже, в 1832–1834 годах учился боготворимый им автор «Думы» и «Трех пальм»...

Мечтательный и восторженный Алеша Плещеев и никогда-то не испытывал большой охоты к военной профессии, а первые же занятия в «казенном» заведении и вовсе разочаровали его. Если бы Алексей знал, что его кумир Лермонтов называл время, проведенное в школе, «двумя страшными годами» (а Плещееву предстояло пройти четырехлетний курс!), он бы, возможно, не так безропотно исполнил материнское желание...

Занятия в школе стали для юного Плещеева настоящей пыткой. Воспитанники школы хотя и получали кое-какие сведения по истории, литературе, но подавалось это все казенно и в довольно скудном объеме, большая же часть времени на занятиях отводилась военному делу. Утомительные и однообразные строевые учения, непрерывные смотры, бессмысленная зубрежка уставов, наставлений, поощрение культа силы, боевитости — все это представлялось миролюбивому, любознательному, развитому и жадно тянувшемуся к знаниям Алексею Плещееву жестокой игрой, насилием над человеческой личностью. Случались, правда, порой и настоящие игры — веселые, азартные, бесшабашные, с распеванием «Юнкерской молитвы» (воспитанники тогда еще не знали, что слова молитвы написаны Лермонтовым) — этого весьма своеобразного

юнкерского «Гаудеамуса»:

Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки
Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь...
Еще моленье
Прошу принять —
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.

Но такие вольные игры хотя и забавляли, но оставляли в душе осадок невосполнимой пустоты, безотрадности жизни.

Первый год учебы Алексей все-таки с грехом пополам выдержал, а на второй взбунтовался окончательно и стал осаждать мать настойчивыми просьбами забрать его из школы. Елена Александровна сначала противилась, полагая, что все Алешины капризы являются следствием его переходного возраста, но когда в одно из увольнений, которое юнкерам давали с субботы на воскресенье, Алексей категорически не захотел возвращаться в школу, Елена Александровна, опасаясь серьезных последствий, обещала сыну пойти навстречу его просьбам. Она чувствовала, что ей не перебороть неприязни сына к военной службе, и стала хлопотать об отчислении его. Вскоре последовал приказ об увольнении «недоросля из дворян Плещеева по болезни», приказ, прервавший его военную карьеру, к которой он, как позднее скажет в одном из писем, всегда испытывал «самую искреннюю антипатию».

Итак, первая победа одержана, победа ради осуществления желания, которое вырисовывалось весьма определенно: Алексей намеревался поступить в университет, ощущая в душе все большее влечение к

литературе.

Теперь он все свободное время тратит на подготовку к поступлению в университет: много читает художественной литературы, углубляет свои знания иностранных языков, обращаясь к сочинениям европейских писателей. Выдержав успешно вступительные экзамены, Алексей Плещеев становится в 1843 году студентом восточного отделения филологического факультета Петербургского университета. Ему идет восемнадцатый год.

К этому времени Алексей, несмотря на сравнительно юный возраст, приобрел солидные познания в литературе. Любимыми авторами в эти годы становятся Гоголь и Лермонтов: сочинения Гоголя с их безграничной колдовской фантазией и неподражаемым юмором доставляли огромное эстетическое наслаждение, а роман «Герой нашего времени», впервые прочитанный еще в юнкерской школе, воспринимался теперь Алексеем как своего рода упреждающая исповедь — совсем не по-печорински, а с максимальной пользой для Отечества хотелось расходувать свои силы и способности...

Он много размышляет о собственном предназначении, все явственнее ощущая в себе неодолимое желание испробовать силы на литературном поприще. Подспудно он чувствовал: впечатлительность его зачастую озаряется таким душевным всплеском, что зовется подлинным вдохновением, когда чувствуешь в себе способность прозревать до самых затаенных глубин истины и зажигаешься неудержимой потребностью поделиться своими прозрениями с окружающими, сказать им свое слово правды. Но пока он еще сомневается в полной готовности сказать Такое слово громко, для всех, хотя искус доверить свои впечатления, мысли и чувства бумаге уже настойчиво стучался в его сердце. Не могла не вызвать отклика в его душе и резкая дисгармония окружающей жизни с идеалами, почерпнутыми из книг: «святое недовольство» настоящим торопило стремление к лучшему будущему — об этом тоже хотелось произнести незаемное действенное, призывное слово. Или совершить нечто реальное, чтобы приблизить торжество идеалов добра и справедливости...

Как и многие из молодых энтузиастов 40-х годов, рвущихся к деятельности на благо общества, Алексей Плещеев увлекается чтением сочинений экономического, философского характера, причем сочинений в большей степени запретных, либо авторов, оппозиционно настроенных к официальной идеологии, — то было время начала умственного брожения в России, вернее сказать, время пробуждения свобододлюбивой общественной мысли, «замороженной» после 14 декабря 1825 года^[8].

«Размораживание» происходило медленно, но неостановимо. Все

настойчивее проникают идеи (преимущественно через литературу) о необходимости обустройства общества по законам добра, справедливости и человеколюбия. С Запада приходили вести о зреющих плодах социальной революции, взоры таких поборников коренных изменений в стране, как Белинский, Герцен, Бакунин, обращались туда, в Европу, где уже давно вынашивались многочисленные социалистические теории.

Русская общественная и литературная мысль к началу 40-х годов начинает переживать новый подъем, социальные, философские вопросы — в центре внимания. Огромный интерес к идеям Шеллинга, Прудона, Кабе, Фурье, Луи Блана и других европейских мыслителей, проявляемый в России в начале 40-х годов — следствие внедрения в сознание думающих людей (посредством журнальной публицистики и прежде всего благодаря пламенным статьям Белинского, философским трактатам Герцена-Искандера) мысли о неизбежности социальных перемен. Белинский провозглашает тезис: «Искусство определяется как анализ общества» — и темпераментно развивает его на страницах «Отечественных записок» Краевского (в 1839 году критик переезжает из Москвы в Петербург), напроочь отказавшись от «примирительного» отношения к действительности и объявив бескомпромиссную войну официальной литературе. Высшим идеалом для него становится — социалистический, лучшей общественной системой — социализм, представляемый им как единое братство людей без богатых и бедных.

Но в «размораживании» русской свободолюбивой общественной мысли немалую роль продолжали играть и непосредственные «зачинщики» его — славянофилы, которые тоже выступали с резкой критикой существующей действительности в русском обществе и которых Герцен назвал смельчаками, «отважившимися отрицать цивилизующий режим немецкой империи в России», имея в виду их патриотизм и непримиримую борьбу с иностранным засильем в русском государстве, официально поощряемую царским правительством. Славянофилы конца 40—50-х годов XIX века как противники деспотизма и крепостного права были, подобно Герцену и Белинскому, тоже в своем роде продолжателями многих декабристских идей (отрицая лишь путь реализации этих идей, методы), и в этом отношении их позиция имела много точек соприкосновения с воззрениями русских социалистов (Белинского и Герцена) как в обоюдной убежденности тех и других в духовном возрождении России, народного самосознания, так и неприятия идеала буржуазности.

Однако славянофилы, выступая за самобытный путь развития России, категорически отвергая необходимость и полезность усвоения русским

обществом уроков Западной Европы, признавая только мирный путь переустройства социальной жизни, встретили и решительное несогласие со стороны первых русских социалистов.

Более того, именно в начале 40-х годов Белинский вступает в горячий спор с идеологами славянофилов А. С. Хомяковым, К. С. Аксаковым и их сторонниками. Признавая бесспорную заслугу славянофилов в деле пробуждения национального самосознания, разделяя их «народофильство», Белинский решительно восстал против «философского умозрения», идеализирующего национально-историческое прошлое России, яростно отстаивая мысль о прогрессивности исторического процесса.

Надо сказать, что, полемизируя со славянофилами по вопросам исторического развития России, о путях и методах переустройства русского общества и в особенности о задачах и целях литературы, «неславянофил» Белинский в то же время далеко не во всем был солидарен с людьми, взгляды которых в целом считал близкими и которые видели будущее развитие России в безоглядной ориентации на Западную Европу: так, категорически не принял Виссарион Григорьевич космополитизм, пренебрежительное отношение к народу некоторых из западников (В. П. Боткина, К. Д. Кавелина), их либерально-реформистскую апологетику буржуазности как идеала последующего движения русского государства и общества.

Споры о возможных путях и исходах разрешения «болевых» вопросов культуры, новых задачах, возникших перед ней, переносятся со страниц журналов в литературные салоны столичных городов. В Петербурге и Москве возникают кружки, организуются литературные вечера, куда тянутся молодые идеалисты-романтики вроде Плещеева — люди, пожалуй, еще не выработавшие пока твердых жизненных убеждений, но горячо и страстно жаждущие служить идеалам добра, справедливости. В Москве большой популярностью пользовались салоны А. П. Елагиной (возник еще в 20-е годы), племянницы В. А. Жуковского и матери И. В. и П. В. Киреевских, и графини Е. П. Ростопчиной, а в Петербурге громкую известность приобретают в 40-е годы званые вечера у А. А. Краевского — издателя влиятельнейшего журнала «Отечественные записки» и помощника редактора газеты «Русский инвалид»; возникает и много других кружков, известность которых распространялась только среди людей, хорошо знакомых друг с другом.

Значение этих кружков, званых вечеров и литературных салонов, пожалуй, ничуть не меньше, чем в конце 10-х — середине 20-х годов, в начальный период поэтического поприща Пушкина, когда основной тон в

«литературном свете» задавали «молодые якобинцы» — будущие декабристы. Именно здесь, на всевозможных «средах», «пятницах», «субботах», затрагивались нередко кардинальные вопросы, касающиеся настоящего и будущего России, велись бурные споры о судьбах русской культуры, зачастую рождались смелые идеи, получавшие огромный общественный резонанс: уничтожение крепостного права, ликвидация деспотизма в России, установление политической свободы в стране...

Правда, в первых петербургских кружках начала 40-х годов, то есть к тому времени, когда их стал посещать Плещеев (он, еще готовясь поступить в университет, несколько раз бывал на званых вечерах А. А. Краевского), собирались не только единомышленники, что было, скажем, характерно для московских кружков Герцена, Станкевича, а чуть позднее — Хомякова. Здесь можно было встретить довольно дружески настроенных друг к друг., людей, исповедующих вроде бы совершенно разные «религии», но это объяснялось не столько атмосферой примирения, царящей в том или ином кружке, а неопределенностью позиции у многих членов. Однако такое умиротворение продолжалось недолго и в Петербурге.

Кружки с их литературными спорами, страстное увлечение театром — это в свободное от занятий время. В первые же месяцы студенчества Алексей старается усердно посещать лекции, с головой окунается в университетскую жизнь — ведь тамошняя атмосфера по сравнению с той, что царила в школе подпрапорщиков, намного отрадней, хотя по новому уставу, принятому в 1835 году, автономия университета была фактически тоже уничтожена — ликвидирована выборность ректора и деканов, запрещены публичные лекции профессоров.

К моменту поступления Алексея Плещеева в Санкт-Петербургский университет тот существовал всего 24 года и по сравнению с Московским был еще совсем юн. Среди первых его профессоров были А. И. Галич и А. П. Куницын (автор «Общественного права») — любимые преподаватели Пушкина, Кюхельбекера, Пущина и их товарищей по Царскосельскому лицей. Но в 1821 году Куницын, Галич и некоторые другие профессора были уволены за пропаганду идей, «находящихся в противоречии с христианством». Демократическая структура (выборность ректора) в университете временно сохранилась, но увольнение ведущих профессоров имело серьезные последствия: в 20-е годы студенты группами покидали университет.

Истинное оформление официального лица Петербургского университета власти связывали с началом 30-х годов, когда один из

попечителей и основателей его граф Уваров занял пост министра просвещения страны. В 30-е годы значительно укрепился преподавательский состав университета, хотя, конечно, в его рядах не было столь блистательных фигур, как Н. Т. Грановский, читавший лекции по истории и философии, или С. П. Шевырев, ведущий курс русской словесности в Московском университете.

Плещеев слушал лекции по русской словесности П. А. Плетнева — ректора университета с 1840 года, — человека весьма образованного, проницательного, популярного в литературных кругах, но этот «мирный эстетик» одобрял далеко не всякую самобытность суждений своих питомцев.

Впрочем, к Плетневу студенты и особенно студенты-филологи относились с большим уважением, хорошо зная, что он был на «ты» и дружен с самим Пушкиным, что его даровитое критическое перо сыграло значительную роль в литературе 30-х годов, а редактируемый им ныне пушкинский «Современник» является одним из авторитетных литературных журналов^[9].

Курс всеобщей истории вел И. П. Шульгин, политической экономии — В. С. Порошин — восторженный поклонник Фурье, философии — А. Е. Фишер; Н. Г. Устрялов читал лекции по русской истории. Это были люди, добросовестные в профессиональном отношении к делу, но, за исключением Порошина, все предпочитали держаться официальной программы. И первоначальное благоговейное отношение Плещеева к университету резко пошло на убыль — настолько ординарными, бесцветными были многие лекции, которые доводилось ему слушать.

Аналогичную метаморфозу «восторг — разочарование» испытали и другие студенты университета, с которыми сошелся Алексей Плещеев в первый год своего студенчества: Андрей и Николай Бекетовы, Владимир Милютин, Дмитрий Ахшарумов, Николай Мордвинов. Но, в отличие от Плещеева, они не воспринимали это так болезненно, ибо раньше мечтателя Плещеева уяснили себе причину университетской казенщины. Алексей же сначала тяжело переживал неудовлетворенность от посещения лекций, так как жадно стремился наверстать упущенное за время юнкерской муштры. Кроме того, он склонен был считать, что «под знаменем науки» возможен союз единомышленников особого рода — союз бескорыстных подвижников, который он надеялся найти в университетских стенах. Его мечтательная поэтическая натура жаждала увидеть в этих стенах подлинное братство единомышленников, и в отсутствии такого крепкого единения он был склонен винить (и не без основания) прежде всего тех же

профессоров-догматиков, профессоров-схоластов, убивающих своими скучными лекциями живую душу любой науки.

Алексей начинает заметно охладевать к обязательному курсу наук, изучаемых в университете, явно замечая, что он, в сущности, перерос тот уровень овладения знаниями, что получают в университетских аудиториях. Постоянное же посещение литературных кружков, участие в вечерах Краевского и все более растущее желание поделиться своими мыслями, раздумьями о жизни посредством своего слова способствуют появлению его первых, исподволь зревших стихотворных опытов, ибо прежде всего с поэтическим словом связывал он свою способность донести до людей неповторимость видения мира, свое понимание правды жизни. Ощущал он теперь и готовность произнести такое слово во всеуслышание.

И вот первые серьезные попытки поэтического выражения чувств и идей, но Алексей еще никому их пока не показывает, опасаясь иронических насмешек товарищей, и до поры до времени «оберегает» свое юношеское честолюбие даже от самых близких друзей.

Пробует Алексей, как и в давнишнюю пору княгининского уединения, переводить Гёте, Гейне, немецких романтиков, находя в их стихах мотивы, созвучные своему душевному состоянию, но больше все-таки отдается сочинению оригинальных стихов. Они, правда, получались отвлеченно-романтическими, очень похожими на те, что в изобилии появлялись на страницах журналов. Это и тешило, с одной стороны, и в то же время очень тревожило, когда «тайно» сравнивал свои робкие опыты со стихами истинных, признанных поэтов — сравнение такое хотя и печаливало зачастую, но звало к поискам. Не случайно, читая статью Белинского «Русская литература в 1843 году», Плещеев с особой пристрастностью отнесся к словам критика: «После Пушкина и Лермонтова трудно быть не только замечательным, но и каким-нибудь поэтом!»

Да, трудно сказать сильное, самобытное слово после Пушкина и Лермонтова, но все же, наверное, можно. И не перевелись еще на Руси яркие поэтические таланты. Вот Николай Языков! Стихи этого поэта давно полюбились Алексею, он восхищался «Пловцом», часто его перечитывая:

«...Смело, братья! Туча грянет,
Закипит громада вод,
Выше вал сердитый встанет,
Глубже бездна упадет!
Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна:

Не темнеют неба своды,
Не проходит тишина.
Но туда выносят волны
Только сильного душой!..
Смело, братья, бурей полный,
Прям и крепок парус мой».

О, как хотелось и Алексею сказать такие же сильные слова, сказать именно стихами! Но пока из-под пера выходили вялые строчки, фиксирующие неопределенно-маетное состояние души («Грустно мне! Тоска на сердце безотчетная лежит! Вот луну сокрыли тучи — огоньков уж не видать... Стихли песни... Скоро ль, сердце, перестанешь ты страдать!»). Впрочем, было у Алексея ранее написанное стихотворение, которое он назвал «Дездемоне» и дорожил им — кажется, в нем ему все-таки удалось искренне передать неподдельность переживаний.

Стихотворение это Плещеев посвятил знаменитой французской певице Полине Виардо-Гарсии, исполнявшей во время гастролей в Петербурге осенью 1843 года партию Дездемоны в опере Россини «Отелло». Плещеев несколько раз слушал эту оперу, а также и «Севильского цирюльника» с участием Полины Виардо и был покорен необыкновенным голосом актрисы, но особенно — ее верным постижением характера героини в «Отелло» («Шекспира светлое созданье ты так глубоко поняла»). Однако Алексей хорошо сознавал, что и этот возникший в его душе в порыве неподдельного восторга гимн совершенству таланта певицы все-таки сам еще от совершенства далек.

К творчеству многих молодых поэтов-современников Плещеев относился пока тоже скептически. Ему был знаком сборник «Лирический пантеон», подписанный инициалами А. Ф. (автором сборника был тогда еще почти никому не известный Афанасий Фет), прочитал он и «Гаммы» только начинающего свой творческий путь Якова Полонского, в журналах встречал интересные стихи А. Григорьева, Ап. Майкова... Но Алексей не находил в опытах нового поэтического поколения ни страстных порывов Языкова, ни напряженной глубины мысли Баратынского, ни яростной устремленности броситься в пучину борьбы Полежаева, не говоря уже о мудрой гармоничности и неподражаемой красоте солнечной музыки Пушкина или пророческих откровениях Лермонтова. Не находил Плещеев в лирике своих современников и органической откровенности воронежского прасола Кольцова...^[10]

Видимо, явная неудовлетворенность современными ему стихотворными публикациями в немалой степени способствовала тому, что Плещеев все-таки решился вынести собственные сочинения на суд читателей. Нет, он не рассчитывал на безусловную публикацию своих стихов, но, вероятно, и не исключал такую возможность — недаром первым читателем он избрал своего ректора — литературного критика Петра Александровича Плетнева — редактора «Современника». Товарищам Алексей решил пока ничего не сообщать о своем намерении, ибо не был уверен в благоприятном исходе его.

Даже близкому тогдашнему другу — Петру Веревкину, которому посвятил стихотворение «Челнок», Алексей ничего не говорил о своих стихотворных пробах, хотя как раз именно с ним, Петром Владимировичем Веревкиным, прекрасным знатоком отечественной литературы и одним из первых наставников Алексея по части политического просвещения в духе социалистических учений утопистов, велись, пожалуй, самые заветные разговоры о поэзии, о музыке...

И вот в начале 1844 года Алексей Плещеев посылает П. А. Плетневу несколько своих стихотворений.

Плетневу плещеевские стихи пришлись по душе: он почитал себя «покровителем трудящейся молодежи», поэтому и тут не преминул взять на себя все заботы по воспитанию молодого, обещающего, как ему показалось, дарования. Конечно, Плетнев понимал, сколь далеки еще от совершенства присланные ему стихи, но на фоне публиковавшихся в те же годы они свидетельствовали о несомненном вкусе, искренности чувств их автора, и опытный журналист-редактор решает вынести их на суд читающей публики. Так, в февральском номере «Современника» за 1844 год в тридцать третьем по счету томе издания за подписью А. П.-въ были помещены три стихотворения («Дездемоне», «Безотчетная грусть» и «Дачи») под общим заголовком «Ночные думы» и маленькое переводное стихотворение немецкого поэта Фридриха Рюккерта «Тени гор высоких...», или «Песня странника».

Появление стихов в «Современнике» не явилось для Плещеева неожиданностью, так как Плетнев еще раньше пригласил Алексея к себе, тепло побеседовал с ним. Плещеев был тогда приятно удивлен, что почтенный академик, которого они, студенты, недолюбливали за некоторый педантизм и суховатость (хотя и уважали его обширные познания), вел с ним разговор как с равным, и это особенно располагало к откровенности.

Беседовали в кабинете ректорской квартиры. Рассматривая плетневскую библиотеку, Алексей, естественно, предположил, что в ней

должны быть и книги, подаренные хозяину и самим Пушкиным — не даром великий поэт посвятил Петру Александровичу своего «Онегина» — это же знак очень близкой дружбы.

Подробно расспросив Алексея о его увлечениях, о прошлой жизни, о семье, Плетнев непринужденно коснулся и самого важного для Плещеева — достоинств и недочетов его первых стихотворных опытов: похвалил за искренность поэтического мироощущения, за хороших учителей в поэзии, проницательно уловив в плещеевских стихах благотворное влияние Жуковского и Батюшкова, но покритиковал за неясность, расплывчатость отдельных образов, некоторую подражательность.

Слушая Плетнева, Алексей никак не мог избавиться от горделивого чувства: ведь он находится в комнате, где бывали почти все знаменитые русские писатели: Жуковский, Пушкин, Дельвиг, Баратынский, Гоголь... Алексей даже представил себе на миг, что он видит их всех и беседует с ними, но голос хозяина квартиры вернул юношу в мир реальности.

— Милостивый государь, Алексей Николаевич, когда в «Дездемоне» вы заявляете: «Я в ого чудное мгновенье людей и мир — все позабыл...», то мне, мой друг, вспоминается «чудное мгновенье», воспетое другим пиитом, — Плетнев переложил на столе несколько книг и взял в руки небольшой томик. «Пушкин! — тотчас же промелькнуло в голове Алексея. — И, возможно, с дарственной надписью».

— Эту книгу Александр Сергеевич Пушкин подарил мне в 1832 году, — как бы подтверждая догадку Алексея, тихо произнес Петр Александрович, передавая томик Плещееву. То был альманах «Северные цветы на 1832 года, на титульном листе которого Алексей прочитал: «Плетневу от Пушкина. В память Дельвига. 1832 15 февр. С.П.Б.».

— Так вот, милостивый государь, теперь вы, надо полагать, окончательно догадались, чье «чудное мгновенье» вспомнил я, читая вашу «Дездемону»? — Плетнев, доброжелательно улыбаясь, взглянул на Плещеева, с благоговением державшего в руках сборник с пушкинским автографом, и добавил мягко: — Должен сказать, что у вас есть свои краски в передаче неподдельности чувства — в «Дездемоне» они проявились лучше всего. И потому от души хочу поздравить вас с добрым началом на поэтическом поприще...

Позднее, после появления плещеевских стихов в журнале, Плетнев в письме от 16 марта 1844 года сообщал Я. К. Гроту, филологу, историку литературы, впоследствии академику: «Видел ли ты в «Современнике» стихи за подписью А. П-вь? Я узнал, что это наш студент еще 1-го курса Плещеев. У него виден талант. Я его призвал к себе и обласкал его. Он идет

по восточному отделению, живет с матерью, у которой он единственный сын, а в университет пришел из школы гвардейских подпрапорщиков, не чувствуя расположения к ратной жизни».

Но если первая публикация стихов в «Современнике» была для самого Плещеева свершением ожидаемого, то друзья и товарищи его немало удивились, узнав, что А. П-въ и мечтательный Алеша Плещеев — одно и то же лицо, искренне порадовались его литературному дебюту.

Успех всегда окрыляет, а первый успех — в особенности. Алексей, пережив радостный миг, все же не очень обольщался, понимая и свои пока что скромные возможности, и определенную снисходительность в тех поощрительных отзывах, которые ему приходилось выслушивать, поэтому поставил себе задачу завоевать признание основательное, надежное.

Он был молод, горяч, честолюбивые мечты его не чурались и некоторых моментов излишней самоуверенности. По крайней мере уж где-то к концу 1844 года Плещеев, испытывая разочарование от лекционных курсов, начинает подумывать об уходе из университета, не исключая возможности целиком отдаться творческой деятельности и в первую очередь литературной, а за университетский курс сдать экстерном. Мать, конечно, не совсем одобряла намерения сына, но сознавалась себе, что и воспротивиться этим намерениям у нее не хватит решимости — видела Елена Александровна, как сильно возмужал Алексей за последнее время, как окреп духом, как далеко ушел в своем умственном развитии, видела, радовалась, немного тревожилась за столь раннюю самостоятельность сына, но в то же время понимала неотвратимость происходящих перемен в образе жизни Алексея.

Но пока начинающий поэт продолжает оставаться студентом-словесником, ощущая явное покровительство со стороны Плетнева, который вводит Алексея в круг своих знакомых: узнав о материальных затруднениях Плещеева, не имевшего возможности вовремя внести плату за обучение, Плетнев и тут оказывает юноше поддержку, приказав казначею покрыть долг из его, плетневских, денег. Испытывая чувство благодарности к своему покровителю, Алексей все же не очень уютно чувствовал себя в профессорском доме, куда теперь довольно часто был приглашаем, — не было там той непринужденности, которая царила, например, в кружке братьев Бекетовых^[11], где все ощущали себя равными, независимыми и единомышленниками.

А совсем недавно Плещеев был введен еще в один замечательный дом: через Николая Бекетова познакомился с Валерианом Майковым, а затем и со всем семейством Майковых.

Приехавшие на постоянное жительство из Москвы в Петербург Майковы успели уже основательно обжиться в северной столице, завели в своем доме на Садовой художественный салон, выпускали в некотором роде уникальный «толстый» литературный журнал «Подснежник» — уникальный в том смысле, что это было рукописное семейное издание, но со всеми атрибутами настоящего полновесного журнала, с беллетристическим, поэтическим, философским, критическим и другими разделами, авторами которых состояли все члены необыкновенно даровитого семейства: глава семьи академик живописи Николай Аполлонович, его супруга Евгения Петровна, их сыновья Аполлон, Валериан, Владимир и Леонид. Принимал участие в журнале и домашний педагог Майковых Иван Александрович Гончаров, будущий знаменитый романист.

К моменту знакомства Плещеева с семейством Майковых старшие дети Николая Аполлоновича и Евгении Петровны уже зарекомендовали себя на литературном поприще: Аполлон снискал известность как автор интересных антологических стихов, Валериан опубликовал обратившие на себя читательское внимание социально-экономические и литературно-критические статьи^[12]. К этому времени салон Майковых становится одним из наиболее популярных в Петербурге, достойным продолжателем и одновременно «конкурентом» лучших литературных кружков, развивавших «семейно-династические» традиции в отечественной словесности (Елагиных-Киреевских, Аксаковых...).

Алексей Плещеев входит в круг людей, многие из которых станут со временем гордостью русской литературы. Он много рассказывает о своих знакомых матери, и та одобряет новые привязанности сына. Но материнское сердце — всегда в непрестанной тревоге, хотя Елена Александровна абсолютно уверена, что сын ее выходит на хорошую дорогу, что его чуткость, нежность и любовь к ней — отнюдь не пристойно-необходимые, а по-настоящему неподдельные, сердечные. И все-таки что-то не совсем спокойно на душе. Она не может найти объяснений неожиданному заявлению сына о намерении оставить занятия в университете. Впервые он заявил об этом еще в прошлом году, когда произошла неприятная история с неуплатой в срок за полугодие... Вроде бы после все утряслось, долг Плетневу, внесшему плату за Алексея, возвращен, но сын опять заговорил о нежелании оставаться в университете. Почему? Какие тому причины? Алексей часто толкует о скучных лекциях, о болезни глаз. С глазами у него действительно что-то неладно, давно жалуется, но Елена Александровна догадывалась, что сын задумал уйти из

университета не из-за болезни и не из-за возрастающей платы за обучение, чувствовала, что дело тут в чем-то серьезном, жизненно важном для него. В чем же? Обстоятельного ответа сын не дает, но Елена Александровна знает, что он не отступит от задуманного...

Плещеев по-прежнему регулярно посещает вечера у Краевского, Плетнева, но все чаще теперь бывает у Бекетовых и в доме Николая Аполлоновича Майкова, дружески сходится с его сыновьями, особенно с Валерианом, который, хотя и всего на два года старше Алексея, но уже закончил юридический факультет университета, редактирует журнал «Финский вестник», где публикует интересные статьи социально-экономического характера, успешно выступает и в качестве литературного критика, обнаруживая выдающийся ум и безупречный эстетический вкус.

Алексей много пишет, переводит. Стихи его после первой публикации появляются в других номерах «Современника» за 1844 год (№ 4–7, 9), а в следующем году — на страницах «Иллюстрации», «Репертуара и Пантеона». Большинство из них, пожалуй, мало чем отличались от тех, которые впервые благословил П. А. Плетнев: абстрактные романтические грезы еще дают о себе знать, вяловатость чувств, мотивы «разочарования», неопределенные томления — все эти атрибуты тогдашней лирической поэзии преодолевались молодым поэтом еще с трудом. Но он уже отчетливо сознавал иное предназначение поэта, его пророческую миссию и пытался сказать об этом, как, например, в стихотворении «Дума» («Как дети иль рабы, преданию послушны...»), опубликованном в пятой книжке «Современника» за 1844 год. Это стихотворение редактор журнала поместил не без внутреннего сопротивления, заподозрив у молодого автора увлеченность идеями, чуждыми его, плетневскому, образу мыслей, что особенно явствовало из двух эпитафий, которые Плещеев предпослал «Думе». Один из эпитафий: «Да помилуйте: наши предки так делали, а разве они были глупее нас?» — поэт сопроводил пояснением: подслушанная фраза. Второй эпитафий — из популярного стихотворения Беранже «Безумцы»: «Мы, старые оловянные солдатики, всех выстраиваем в ряды по шнурку. Если кто-нибудь выходит из рядов, мы кричим: «Долой безумцев!» Смысл эпитафий раскрывается в плещеевском стихотворении крещендо: молодой поэт с горечью признает снижение интереса в обществе к передовым идеям эпохи («Как часто в жизни мы бываем равнодушны к тому, что сердце нам должно бы разрывать»), сетует на необыкновенно тяжелую судьбу провозвестника истины.

Когда ж среди толпы является порою

Пророк с могучею, великою душою,
С глаголом истины священной на устах, —
Увы, отвержен он! Толпа в его словах
Учения любви и правды не находит...
Ей кажется стыдом речам его внимать,
И, вдохновенный, он когда начнет вещать, —
С насмешкой каждый прочь, махнув рукой, отходит.

Стихотворение явно перекликалось с лермонтовскими «Думой» и особенно «Пророком», которое и было впервые опубликовано в том же 1844 году, с той лишь разницей, что в отличие от Лермонтова Плещеев занимает скорее позицию наблюдателя, а не глацтатая. Но и наблюдения (весьма точные и конкретные) юного поэта свидетельствуют о его шаге из мира грез в мир действительной жизни. А обращение к стихотворению Беранже, в котором французский поэт прославляет великих «безумцев» — идеологов утопического социализма Фурье, Сен-Симона, говорит о социальной чуткости начинающего литератора, небезразличного и к политическим проблемам времени.

Интерес молодого поэта к социалистическим учениям и прежде всего к учениям социалистических утопистов Западной Европы шел в русле общих интересов передовой русской молодежи середины 40-х годов, когда лучшие представители общества начали энергично и горячо знакомиться и пропагандировать эти учения. Правда, еще в 30-е годы в московском кружке Герцена и его друзей основательно изучались труды великого французского социалиста-утописта Сен-Симона и его последователей, но очаг распространения социалистических идей в ту пору был скромнен. В 40-е же годы эти идеи охватывают разные слои населения, включая студенческую молодежь, молодых государственных служащих, проникают в среду армейских офицеров.

В Петербурге возникают кружки, в которых не просто знакомятся с отдельными положениями воззрений тех или иных социалистов-утопистов, но пытаются изучать их учения как систему, дающую обоснование практическому переустройству общественных отношений, ибо окружающая российская действительность, пропитанная деспотизмом и крепостничеством, взывала к необходимости коренных перемен.

Особенно популярными в среде петербургской молодежи 40-х годов становятся идеи французского утопического социалиста Шарля Фурье, по которому основной ячейкой гармонического общества должна стать

фаланга — трудовая община, созданная на принципах равноправия всех членов ее, общественной собственности и свободного труда, который должен стать потребностью, предметом наслаждения каждого члена общины.

Да и учения других утопистов (Кабо, Луи Блана), доказывающих право каждого члена общества участвовать в управлении этим обществом, резко критикующих политическую власть богатых над бедными, призывающих лишь к такому нормальному состоянию, когда «всякий из членов общества будет получать от него средства для удовлетворения нужд пропорционально потребностям», а «все люди в совокупности явятся полными властелинами живых и действующих сил земли»^[13], не могли не будоражить воображение молодого поэта, видящего у себя на родине произвол и угнетение человека человеком в закостенелой форме узаконенного полурабства — крепостного права.

Потому-то реально-тревожные проблемы, волновавшие русское общество, становятся постепенно главным источником духовных исканий Алексея Плещеева, в стихах которого, несмотря на отдельные романтические «придыхания» («утомлена бесплодною борьбою уже душа моя»), начинает звучать голос чуткого к окружающей действительности поэта, — тут главной опорой были для него прежде всего Пушкин и Лермонтов. Привлекали гражданственность запрещенных стихов Рылеева — под непосредственным влиянием их Плещеев пишет элегию «Странник», послание «На зов друзей», в которых социальный и политический пафос избавлен от ложно-романтической невнятицы... И была еще товарищеская поддержка единомышленников.

Единомышленники и товарищи... Их становится все больше и больше. Правда, это пока еще не тот круг людей, связанных общностью идейно-политических взглядов, что будут вскоре регулярно встречаться на квартире одного из посетителей бекетовских вечеров Буташевича-Петрашевского, хотя некоторые из теперешних приятелей Плещеева и станут деятельными членами кружка (Александр Ханьков, Владимир Милютин). С большинством же знакомых Алексей сближается по преимуществу на основе общности литературных, эстетических взглядов — в доме Майковых как раз и собирались беззаветно влюбленные в литературу и искусство люди, и общение с ними доставляло начинающему поэту истинное наслаждение. А если еще учесть, что «теплое участие и одобрение» (так скажет через много лет Плещеев в письме к А. Н. Майкову), которое молодой литератор встретил в этом доме, совпадало с периодом, когда Алексей окончательно решает оставить университет,

становится литератором-профессионалом, что именно здесь судьба сведет Плещеева с Гончаровым, Салтыковым, Григоровичем, Стасовым, то можно представить, сколь желанны были для него посещения гостеприимного майковского дома...

Но надо наконец окончательно решать университетские дела. На имя своего покровителя П. А. Плетнева (который, правда, после появления плещеевских стихов в «Репертуаре и Пантеоне» и других изданиях несколько охладел к своему «крестнику», видя в новых стихах молодого поэта «зараженность» идеями Белинского, а последнего Петр Александрович более чем недолюбливал) пишет Алексей Плещеев заявление с настоятельной просьбой отчислить его из университета, мотивируя свою просьбу материальными затруднениями, но прежде всего стремлением совместить учебу с живой действительностью. «Я бы поскорее желал разделаться с университетским курсом, во-первых, — для того, чтобы на свободе заняться науками, которым я решил посвятить себя, науками живыми и требующими умственной деятельности, а не механической, науками, близкими к жизни и к интересам нашего времени. История и политическая экономия — вот предметы, которыми я исключительно решился заниматься» — так пояснил Плещеев причину своего намерения оставить университет в письме от 8 июня 1845 года к Плетневу.

То есть первоначальные намерения преследовали цель получить освобождение от обязательного посещения скучных, неинтересных лекций, а о переходе на профессиональную литературную работу, которая скоро станет единственным родом его деятельности, Плещеев, если судить по его письму Плетневу, вроде бы еще не помышлял, хотя отдавался литературным занятиям с возрастающим воодушевлением, самозабвенно сочиняя стихи, увлеченно переводя произведения европейских поэтов.

В сущности, он уже вставал на профессиональную дорогу литератора, пробуя свои силы в разных жанрах, и не совсем безуспешно: прочитал как-то на одном из вечеров у Бекетовых (случилось это тем же летом 45-го) небольшую прозаическую пьеску, из которой он хотел сделать нечто вроде небольшой повести или рассказа, и слушатели отметили ее непринужденный юмор, живость характеров, чистоту языка, она послужила впоследствии основой рассказа «Енотовая шуба». Похвалил эти прозаические наброски и Валериан Майков...

Ну а Плетневу, от которого Плещеев все больше отдалялся, вовсе не хотелось сообщать о намерении всецело посвятить себя литературной работе. «Вряд ли почтенный Петр Александрович одобрит такой шаг,

скорее только поиронизирует над своим «крестником», да обяжет продолжать учебу на стационаре». Алексей полагал, что Плетнев, неодобрительно относящийся к «недоучившимся» литераторам (тут сказывалась опять же неприязнь к Белинскому), может и не дать положительного решения на заявление об уходе из университета, когда узнает о намерении Плещеева стать профессиональным литературным тружеником...

«ПО ЧУВСТВАМ БРАТЯ МЫ С ТОБОЙ...»

Да, много было горестных утрат и досадных разочарований.

А. И. Пальм-Альмиуский. Алексей Слободин

К Валериану Майкову Плещеев относился не просто дружески, он с молодым пылом полюбил этого человека за светлый ум, общительность, глубокие знания с первого знакомства на одном из весенних молодежных вечеров на квартире Бекетовых, в 1845 году. И Валериан, со своей стороны, выказывал очень дружеские и теплые чувства к Алексею, поэтому молодые люди довольно быстро и близко сошлись, стали встречаться и у Бекетовых, и в доме Майковых. Пожалуй, только младший из Бекетовых, Николай, с которым Алексей крепко подружился еще в первую пору студенчества, располагал Плещеева к таким же откровенно-исповедальным разговорам, какие теперь зачастую велись между ним и Валерианом Майковым...

Человек выдающихся способностей, вступивший на поприще общественной деятельности очень рано («в то время, когда другие еще сидят на школьной скамье», как заметил И. А. Гончаров), Валериан Майков был образованнейшим человеком; отличное владение французским, немецким и английским языками давало ему возможность знакомиться со всеми лучшими произведениями мировой литературы; с не меньшей степенью он интересовался естественными науками, сложнейшими философскими и политическими вопросами, прекрасно зная важнейшие сочинения социалистов, политэкономов, философов и в первую очередь работы Гегеля и О. Конта. Майков побывал за границей, слушал лекции в Сорбонне. Словом, это был человек, у которого всегда можно и полезно поучиться.

Валериан был к тому же исключительно чутким слушателем, никогда не демонстрирующим своего превосходства над собеседником, что особенно пленяло Алексея, хотя, как он знал, многие из его знакомых, ощущая громадную интеллектуальную силу Майкова, часто не решались вступать в открытый спор-дуэль, предпочитая, так сказать, коллективную полемику с молодым редактором «Финского вестника».

Но в один из вечеров у Бекетовых Плещеева заинтересовал бородатый человек, который, казалось, напротив, все время стремится вызвать Майкова на поединок, а Валериан почему-то не принимал вызова. Этот громкоголосый и чернобородый спорщик назвался Михаилом Васильевичем Буташевичем-Петрашевским.

Вскоре Алексей узнает, что Петрашевский и Майков почти одновременно учились на юридическом факультете, там, видимо, хорошо изучили характеры друг друга, выяснили симпатии и антипатии. Там же, вероятно, Петрашевский и в силу своего возрастного старшинства (он на два года был старше Майкова), но более всего из-за «врожденной» склонности повелевать, настойчиво навязывать свои убеждения другим, не считаясь с самолюбием собеседника, вызвал некоторое чувство отчуждения у Валериана, не терпевшего не только «диктаторства», но и малейшего покровительства. Впрочем, это не помешало двум сильным натурам объединиться ради общего дела: оба к моменту знакомства с ними Плещеева увлеченно занимались подготовкой «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка». В нем весьма своеобразно истолковывались важнейшие социально-философские учения — идеи западноевропейского утопического социализма, борьбы с тиранством, с деспотизмом; в словаре были литературно-критические, философские материалы, и не случайно на обложке его первого выпуска указывалось, что он «из простого словотолкователя превратился в краткую энциклопедию искусств и наук...»^[14].

В тот вечер Петрашевский, оставив всякую надежду вызвать Майкова на единоборство, решил, видимо, «отыграться» на своем новом знакомом: с первой же минуты он засыпал Алексея вопросами о его теперешних занятиях, увлечениях, благосклонно отозвался о стихотворении «Дума» с эпиграфом из Беранже, заметив при этом, что он, Петрашевский, вообще-то скептически относится к нынешней поэзии. Плещеев с юношеским задором не замедлил вступить в спор, пытаясь доказать собеседнику, что хотя после Лермонтова сильных талантов появилось не так уж много, но они все-таки есть.

— Да кто ж конкретно? — задумчиво спросил Михаил Васильевич.

Плещеев все с тою же запальчивостью стал называть имена, вероятно, малознакомые собеседнику, потому как на лице Михаила Васильевича отразилось некоторое недоумение. Но когда Алексей упомянул книгу Я. Полонского «Гаммы», стихи Аполлона Майкова, Петрашевский, нахмурившись, сказал:

— Я недавно имел возможность прочитать обоих этих пиитов и скажу

вам, что это лишь второй род поэзии.

— Вы хотели сказать, Михаил Васильевич, второй сорт?

— Нет, я не оговорился, именно второй род. Впдите ли, Алексей Николаевич, я считаю, что существует три рода поэзии: поэзия мысли, чувства и слова. Часто встречал последнюю, реже вторую в соединении с последней и весьма редко первую с двумя последними в стройном гармоническом сочетании. Вот стихи Беранже, по-моему, самый впечатляющий пример такого сочетания.

Алексей почувствовал в словах Петрашевского о Беранже как бы похвалу и в свой адрес (ведь эпиграфом к «Думе» он как раз и поставил строки из стихов знаменитого француза), хотя и понимал прекрасно: прочитай Михаил Васильевич все написанные им, Плещеевым, стихи, — вряд ли он поставит их выше второго рода, да и дотянут ли они до второго? Не являются ли его стихи всего лишь «поэзией слов»? Соблазн почитать стихи Петрашевскому и прямо спросить его мнение был велик, но какая-то внутренняя пружина сдерживала неуместные при первом знакомстве исповедальные желания.

Петрашевский спросил между прочим, как находит Плещеев лекции нынешних профессоров университета, например, лекции В. С. Порошина, заметив, что этот человек раскрыл ему глаза на великого Фурье. И сразу же устроил Алексею нечто вроде экзамена по фурьеризму. Плещеев читал и Фурье, и Кабе, и Луи Блана, потому с пафосом начал развивать свои представления о социализме, но Петрашевский чуть грубовато прервал пылкого юношу, заявив, что тот толкует идеи Фурье как Барбье, а это несколько разные мыслители^[15].

Алексея задела столь высокомерная реплика Петрашевского, он уже было собрался ответить дерзостью, но в это время его подхватил под руку Николай Бекетов и со словами: «Не лучше ль слепо им во всем повиноваться» — повел в другую комнату, шутливо пригрозив Петрашевскому кулаком.

— Мой поэт, вы слишком возбуждены, и я боюсь, как бы ваша словесная дуэль с Михаилом Васильевичем не закончилась дуэлью всамделишной.

— Но, Николая, он все время стремился дать мне понять, что я просто невежественный мальчишка.

— Нет, Алексей, это тебе показалось. Михаил Васильевич очень расположен к тебе, но его неприятная манера поучать всегда воспринимается первоначально в штыки. А потом к ней привыкаешь. Сколько я знаю, пожалуй, все, за исключением Валериана Майкова,

привыкли. Но у Валериана какие-то особые счеты с Петрашевским, тянущиеся еще с университетских лет.

— Может быть, ты и прав, Николая, но, честное слово, мне бы не хотелось выслушивать сентенции... Кстати, об университете. Я ведь уже говорил тебе, что подал на имя Плетнева прошение об отчислении?

— А может быть, все-таки не стоит спешить, Алексей, не окажется ли твой шаг чересчур опрометчивым?

— Нет, Николая, я все крепко обдумал и раскаиваться не буду. Потом, ведь я все равно сдам за университетский курс. Позанимаюсь дома и сдам экстерном. Слава богу, нам — гуманитарам, все-таки не надо биться над разными органическими и неорганическими соединениями, возиться с разными колбочками, пробирками, спиртовками.

— Ну что ж, Алексей, коль твердо решил, то не буду тебя раздражать назойливыми отговорами. А что — служить пойдешь куда или...?

— Еще не решил, но первое время думаю целиком заняться самообразованием, чтобы не давать повод тому же Михаилу Васильевичу подтрунивать над моими познаниями в философии... Да и на литературную фортуна надеюсь: хочу собрать свои стихи и переводы в отдельную книжечку; как ты считаешь, Николая, не будет это выглядеть самонадеянностью?

— Отчего же самонадеянностью, Алексей. Мы все, твои друзья, верим в твой поэтический талант.

— Спасибо, Николая, спасибо, друг. — Плещеев братски обнял Бекетова.

В это время в их комнату вошла группа возбужденных юношей, среди которых были и Петрашевский с Майковым.

— Да они, кажется, объясняются в любви! — воскликнул Майков.

Валериан познакомился с братьями Бекетовыми раньше Плещеева и в общении с Андреем и Николаем по праву старшего взял на себя несколько покровительственную роль, не допуская, конечно же, ничего подобного в отношениях со старшим из Бекетовых — Алексеем. С Плещеевым Майков старался тоже поддерживать равноправные отношения, почувствовав, что начинающий поэт ранимо воспринимает всякое покровительство.

— Алексей Николаевич, молю бога, чтобы Николая не задохнулся в ваших объятиях — ведь тогда некому будет читать наставления, а лишь самому выслушивать их от Михаила Васильевича. — Майков говорил громко, хитровато поглядывая то на Петрашевского, то на Плещеева.

— Довольно, Валериан, иронизировать, а то я, право, обижусь. — Петрашевский произнес это с какой-то горьковатой усталостью, как

показалось Алексею, и это почему-то сразу же притупило чувство обиды, которое еще недавно бурлило в душе. «А ведь Михаилу Васильевичу тут, пожалуй, не совсем хорошо. Он, кажется, чувствует себя неудобно». Мечтатель и романтик Плещеев всякую неординарную личность считал обязательно чуть несчастной. А Николай Бекетов еще в преддверии знакомства Плещеева с Петрашевским рассказывал Алексею о действительно не очень удачливой жизни Михаила Васильевича. Оказывается, и лицей тот закончил по самому последнему разряду (снизили балл за «вольномудство»), и в университет поступил только вольным слушателем, хотя, правда, закончил университетский курс блестяще; и в личной жизни что-то не сложилось, и по службе не все благополучно: совсем недавно пытался занять место преподавателя юридических наук в Александровском лицее, но неудачно и вынужден тянуть лямку в департаменте министерства иностранных дел... Чувство недавней неприязни сменилось любопытством и сочувствием: Алексей даже ощутил в душе неожиданный прилив нежности к этому мрачноватому и резкому человеку.

А Петрашевский между тем стал прощаться со всеми, несмотря на то, что остальные гости Бекетовых вроде бы еще не собирались расходиться. Подойдя к Плещееву, Михаил Васильевич широко улыбнулся, и в его больших карих глазах опять сверкнул огонек иронии.

— Алексей Николаевич, рад был познакомиться с вами, простите меня, если мое замечание относительно ваших суждений о Фурье могло показаться вам обидным, но я был бы рад продолжить с вами разговор о великом Франсуа... скажем, в моем доме в одну из пятниц. Между прочим, там вы можете встретить некоторых из своих университетских приятелей, которые у Бекетовы, не бывают, а также и из числа присутствующих здесь.

Алексей искренне обрадовался такому приглашению, однако заговорил торопливо о занятости, и своем намерении оставить университет и о связанных с этим хлопотах, но тут его прервал подошедший к ним Валериан Майков:

— Михаил, ты опять вразумляешь Алексея, что будущее России — в фалангах и фаланстерах?

— Нет, Валериан, я приглашаю Алексея Николаевича навестить как-нибудь старого холостяка Петрашевского, если, конечно, он не посчитает для себя зазорным мое общество. — Петрашевский произнес эти слова глухо, и Алексею почудилась в голосе Михаила Васильевича скрытая горечь.

— Только не пугай, пожалуйста, Михаил, нашего поэта холостяцким

затворничеством своим, не то он может подумать, что у тебя собираются одни только помешанные на Фурье аскеты, для которых самые красивые женщины — это фаланги. — Майков с иронической усмешкой отошел от Плещеева и Петрашевского.

«Однако Валериан и Михаил Васильевич не столь, видимо, дружны, как рассказывал Бекетов», — подумал Алексей.

Петрашевский стал прощаться с Плещеевым, еще раз напомнив, что он будет рад видеть Алексея Николаевича в своем доме, в Коломне, что у собора Покрова. При этом Алексею показалось, что Петрашевский что-то недоговаривает.

«Да ведь он знает, что я проживаю недалеко от него, наверное, Николая или Валериан сказали ему». Догадка эта сразу подсказала Алексею незамедлительный ответ:

— Если я буду возвращаться из университета дорогой, проходящей мимо вашего дома, то непременно воспользуюсь вашим приглашением.

Домой Алексей добирался долго (Бекетовы жили на Васильевском острове), кружным путем: от моста через Неву на Невский проспект, потом вдоль Екатерининского канала — и по многочисленным переулкам. Ехал и думал о новом своем знакомом, с которым непременно захотел свести Владимира Милютина с юридического факультета — с ним Плещеев в последнее время подружился, восторгаясь аналитическим умом Владимпра, его большой начитанностью, особенно по части политической экономии. И вообще Владимир, хотя и был на несколько месяцев моложе Алексея, производил впечатление старшего, если товарищи появлялись вместе.

«Петрашевский и Майков кончили университетский курс по юридическому отделению, у них с Владимиром найдется много общих тем для разговора». Плещеев уже твердо решил, что если и пойдет к Петрашевскому, то только с Милютиным.

Владимир Милютин принял предложение Плещеева весьма охотно, однако засомневался: удобно ли явиться незванным гостем к совершенно незнакомому человеку, на что Алексей стал горячо возражать, убеждая приятеля, что для себя он, Плещеев, ничего предосудительного не видит, если зайвится в гости не один, а с падежным другом, и вряд ли Петрашевский сочтет такой поступок бестактным.

— Хорошо, я согласен с твоими доводами, Алексей, однако, когда будешь меня знакомить с Петрашевским, отрекомендуешь меня надежным своим другом или?.. — Милютин, увидев в глазах Плещеева недоумение, добавил: — Аполлон Григорьев называет меня неустойчивым юношей.

— Ты знаком с Григорьевым? — Алексей всегда с большим интересом читал в «Репертуаре и Пантеоне» острые театральные заметки, рассказы Григорьева, его стихи, знал, что Григорьев в настоящее время живет в Петербурге, бывает у Бекетовых, но Плещееву все еще не довелось встретиться с Аполлоном лично, хотя он не раз просил Николая Бекетова познакомить их при первой возможности. — Когда ты с ним сошелся?

— Совсем недавно. Меня познакомил с ним Н., он служил вместе с Григорьевым в какой-то управе благочиния...

К Петрашевскому Плещеев и Милютин пошли-таки вместе, и хозяин дома, к удивлению и радости Алексея, отнесся вполне благосклонно, увидев, что Плещеев пришел не одни, а с товарищем. Получилось так, что доводы Алексея реально подтвердились, — с первой минуты встречи (Петрашевский на звонок вышел к гостям сам) Михаил Васильевич дал понять, что появление Плещеева с приятелем вполне, так сказать, нормальное. А когда Алексей, представляя Владимира хозяину дома, заметил, что знакомящиеся по всем статьям должны быть сподвижниками (оба юристы и пристрастны к политической экономии), то Петрашевский удовлетворенно хмыкнул, а потом сказал, что и Алексей Николаевич не будет нынче скучать, и повел приятелей по лестнице вверх, в просторную комнату, где за большим столом, уставленным вином и закусками, сидело человек восемь незнакомых Алексею молодых мужчин, оживленно спорящих. Когда Плещеев и Милютин, перешагнув порог комнаты, вопрошающе посмотрели на Петрашевского, тот оставил их и резко подошел к спорящим, которые словно бы и не замечали вошедших.

— Господа! Разрешите прервать вашу увлекательную дискуссию и представить вам еще двух молодых поклонников великого Фурье, — произнес Петрашевский громко и даже несколько торжественно.

Сидящие за столом неторопливо поднялись, а один из них воскликнул:

— Ба! Владимир Милютин! Как ты попал в дом, где царствует метафизика, где смеются над сводами законов, которые ты столь прилежно штудируешь в стенах университета?! — С этими словами говоривший быстро шагнул к стоящим все еще у порога Плещееву и Милютину, порывисто пожал руку Владимиру и, не дав возможности произнести Милютину и слова, столь же порывисто протянул руку Плещееву, произнеся скороговоркой:

— Аполлон Григорьев, временный житель Санкт-Петербурга.

Алексей назвал себя, хотел было спросить про причину «временности», но тут подошли и остальные участники беседы, стали шумно знакомиться, называя себя и толкуя, что рады появлению

представителей студенческой молодежи (как будто сами были невесть какими почтенными старцами!), что Михаил Васильевич привел их «сюрпризно», без предварительного предупреждения...

За столом Алексей оказался возле смуглого, возбужденного Александра Пантелеймоновича Баласогло, который сразу же покори́л сердце юноши, с пафосом прочитав:

Земле я отдал дань земную
Любви, надежд, добра и зла;
Начать готов я жизнь другую,
Молчу и жду: пора пришла...

Плещеев знал эти строки из недавно опубликованного стихотворения Лермонтова «Гляжу на будущность с боязнью...», которое, как и большинство стихов любимого поэта, Алексей сразу же после публикации заучил и находил как нельзя больше созвучным времени. Алексею даже показалось, что Баласогло прочитал стихотворение с определенным намеком, и, как вскоре подтвердилось, не ошибся: Александр Пантелеймонович явно стремился в этот вечер обратить внимание всех присутствующих на значение поэтического слова в жизни общества, а такую тему разговора, видимо, не очень~то жаловали многие собиравшиеся здесь. Приход Плещеева и Милютина непроизвольно прервал возникший между собеседниками спор, и Баласогло не преминул этим воспользоваться, взяв инициативу беседы в свои руки.

Александр Пантелеймонович возбужденно заговорил о робости современных поэтов, ставил им в пример свободолюбивые стихи Барбье, гражданственность Беранже, обращался к поэзии Пушкина и Лермонтова. Но когда Баласогло с неподдельным вдохновением стал читать стихи и строфы из сборника «Стихотворения Веронова», то это очень удивило Плещеева, так как он находил прочитанные стихи во всех отношениях слабыми и не подозревал, что многие из них... принадлежали перу самого Александра Пантелеймоновича. Однако одно из его стихотворений вызвало восторг сидевшего напротив Аполлона Григорьева, когда Александр Пантелеймонович на реплику Петрашевского, что в России философская мысль еще не пробудилась, запальчиво прочитал:

Родина, матушка! Бог с тобой, ты ли?
Здравствуй, кормилица Русь!

Что же мне дядьки да няньки твердили,
Будто я немцем вернусь?
Много гостинцев привез я, родимая!
Сказок-то, сказок-то!.. век не прочесть.
Русская мысль моя та ж, невредимая:
Дядьки же — немцы, так немцы и есть!..

— Именно так, именно так: «Русская мысль моя та ж, невредимая» — это вы превосходно заметили, Александр Пантелеймонович! — Григорьев взволнованно заговорил о том, что с недавнего времени он пришел к решительному убеждению в превосходстве самобытной русской мысли перед всеми европейскими теориями, что вопрос развития идеального миросозерцания неотделим от нравственной самостоятельности нации, и этот вопрос, может быть, намного важнее и первостепеннее тех заимствованных у западных теоретиков политических доктрин, которые мы хотим бездумно перенести на русскую почву.

Страстная речь Аполлона, хотя и не отличалась логической убедительностью — он часто апеллировал то к Ломоносову, то к Ивану Давыдову, то к Алексею Хомякову, ссылаясь на работу последнего «О старом и новом», цитировал Крылова, Пушкина, Гоголя, — произвела на слушателей сильное впечатление. Со многими положениями Григорьева Алексей не был согласен, а большинству из присутствующих григорьевский монолог и вовсе показался диковатым, так как все тут были убежденные «западники» и поклонники как раз немецкой философии и концепций французских философов-утопистов. Но Плещеев не мог не восхититься пламенностью, одержимостью, которые пульсировали в словах Аполлона.

«Какое у него вдохновенное лицо!» — Плещеев глядел на Григорьева уже влюбленно, даже порывался что-то сказать, но не находил подходящих слов. Да и остальные гости Петрашевского, как, впрочем, и сам хозяин, видимо, не ожидали от Аполлона такой бурной вспышки, они больше — привыкли к его язвительным репликам, а речи чаще произносил сам Михаил Васильевич, причем речи его при всей убедительности их все-таки больше походили на сжатые рефераты по тому или иному конкретному вопросу в свете фурьеристских положений о социальном переустройстве общества. Григорьевскую же речь почти все восприняли как защиту славянофильских идей.

А к славянофилам петербургские романтики относились свысока,

считали их фанатичными «шеллингианцами в зипунах», решительно не принимали их доктрину о «спасительной роли» России, их резкую критику Запада (усматривали, видимо, тут «покушение» на своих французских учителей), иронизировали над их религиозностью. Но особенно раздражала петербургских сторонников «западного» развития России позиция славянофилов по отношению к литературе, непрерывная полемика «московских славян» с Белинским, которого многие из посетителей Петрашевского считали своим духовным наставником и целиком разделяли точку зрения критика, что центральная задача литературы — обличение пороков социальной действительности. Славянофилы же ратовали за необходимость утверждения светлых, положительных сторон жизни русского народа. Сближение славянофилов с издателями «Москвитянина» — московскими профессорами Погодиным и Шевыревым, слывшими защитниками так называемой «официальной народности» (которых петербургские «западники» считали чуть ли не самыми первыми врагами своими), и вовсе позволяло посетителям дома Петрашевского скептически относиться к любым суждениям московских поборников самобытного развития России.

Поэтому здесь, в доме на Покровской, почти никогда не встречало сочувствия то, что печаталось на страницах «Москвитянина». Многие, конечно, не были столь наивными, чтобы не видеть существенной разницы между взглядами руководителей «Москвитянина» и его активными авторами из группы славянофилов, однако полагали, что сей союз далеко не случайный. Но здесь, в кругу убежденных «западников», услышать славянофильские проповеди?!

Хотя, пожалуй, и сейчас большинство (за исключением разве Александра Пантелеймоновича Баласогло и увлекающегося, импульсивного Алексея Плещеева) восприняло монолог Григорьева как некий выпад в адрес хозяина дома и ничуть не больше. Ждали, что ответит Петрашевский, но тот, по-видимому, не собирался вступать в полемику. Наполнив бокал вином, Михаил Васильевич оглядел всех присутствующих и, приветливо кивнув Аполлону, произнес:

— Сегодня у нас властвуют поэты, а потому, как сказал наш соотечественник: «Да здравствуют музы!..»

— И да здравствует разум! — торопливо воскликнул Владимир Милютин, которого речь Григорьева тоже, вероятно, задела за живое, и он явно был настроен вступить в спор.

— Но все-таки прежде музы, а о разуме потолкуем в следующий раз — принимается такое предложение? — Петрашевский широко улыбнулся и

выпил свой бокал.

Все поняли: спора не произойдет, и громко, перебивая друг друга, заговорили о Пушкине, Гоголе, о последних статьях Белинского в «Отечественных записках», и со стороны никак нельзя было предположить, что здесь собирались люди, вынашивающие планы коренного переустройства России (а некоторые из них, и прежде всего Петрашевский и Баласогло, например, уже давно дали себе клятву посвятить жизнь борьбе за утверждение «коммунистических», то есть фурьеристских, идеалов) — скорее они походили на группу студентов или лицеистов, встретившихся после каникулярных отпусков и торопящихся поделиться друг с другом новостями, впечатлениями...

Кто-то предложил почитать стихи, и Алексея, как «новобранца», попросили начать первым, причем потребовали читать сначала только свои «из недавно написанных». Плещееву и раньше — на вечерах у Краевского и у Бекетовых — приходилось читать свои стихотворные опыты, но сейчас он вдруг ощутил немалое волнение и даже робость, может быть, потому, что, кроме Владимира Милютина, нынешние слушатели были, в сущности, людьми почти незнакомыми, а возможно, еще и присутствие Аполлона Григорьева, стихи которого Плещеев находил гораздо искуснее и глубже своих, тоже в известной степени сковывали его непринужденность.

«Да и что прочитать из недавно написанного?» Было у Алексея стихотворение «Поэту», в котором он развивал идею предназначения поэта, затронутую еще в «Думе», но он считал это стихотворение пока не совсем законченным, было и другое, законченное, «Любовь певца», где он стремился высказать сокровенные мысли о судьбе служителя муз, но в нем очень силен субъективный мотив избранничества, что вряд ли встретит одобрение как Петрашевского, так и его гостей...»^[16]

Высокий стройный поэт стоял, смущенно глядя на сидевших за столом. «Однако что все-таки прочитать?» На него устремлены взоры собеседников, а он опустил очи долу. А может быть, вот это:

Полночь. Улицы Мадрида
И безлюдны и темны.
Не звучат шаги о плиты,
И балконы не облиты
Светом палевым луны.
Ароматом ветер дышит,
Зелень темную ветвей
Он едва-едва колышет...

И никто нас не услышит,
О, сестра души моей!

Алексей читал глуховато, на слушателей не глядел и потому не мог заметить, как те недоуменно переглянулись после первой прочитанной им строфы. Но он, так и не подняв взгляда, продолжал:

...Завернись в свой плащ атласный
И в аллею выходи.
Муж заснул... Боязнь напрасна.
Отдохнешь ты безопасно
У гидальго на груди...

И только дочитывая заключительную строфу («Выходи же на свиданье, Донья чудная моя! Ночь полна благоуханья. И давно твои лобзанья Жду под сенью миртов я!»), взглянул на Милютина. Владимир улыбался. Улыбались и другие, но не иронично, а весьма благосклонно, и это немного успокоило Плещеева. Стихотворение «Гидальго», которое он только что прочитал, было написано в каком-то игривом состоянии духа, он понимал легковесность его содержания, но в то же время не считал его совсем никудышным. Теперь вот ждал приговора.

— Очень мило, но почему вас так далеко занесло, Алексей Николаевич? А чем наш Петербург хуже Мадрида? — Это произнес милейший Александр Пантелеймонович Баласогло и, обернувшись, обратился к Григорьеву: — А что скажет поэт Аполлон Александрович?

Григорьев нервно улыбнулся и произнес:

— Господа, разрешите вернуть вас из солнечного Мадрида в нашу прекрасную столицу? — И, не дожидаясь ответа слушателей, начал читать:

Да, я люблю его, громадный, гордый град,
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозреваю в нем иное —
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.

Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненья радости и горя,
И пусть его река к стопам несет
И роскоши и неги дани, —
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.
И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки —
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно-страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной,
Иль в темном уголку, — везде его печать!
Страданья уровень единый!..

Весь облик Аполлона — большеголового красавца с магнетической энергией серых глаз — выражал ту же неукротимую уверенность, которая так заворожила Алексея час назад, когда Григорьев произносил свой монолог о необходимости идеального русского мирозерцания. «О, какая же в нем сила духа, какая глубина мысли и... какая поэзия!» — Плещеев в эти минуты боготворил Аполлона Александровича, а тот продолжал:

...И в те часы, когда на город гордый мой
Ложится ночь без тьмы и тени.
Когда прозрачно все, мелькает предо мной
Рой отвратительных видений...
Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все
вокруг,
Пусть все прозрачно и спокойно, —
В покое том затих на время злой недуг,
И то прозрачность язвы гнойной.

Закончив чтение, Григорьев попросил налить ему вина. Плещеев, опережая всех, наполнил два бокала, один подал Аполлону, а другой взял себе и со словами «И верь, что встретишь, как Спаситель, учеников ты на

пути» (это была строка из его незаконченного стихотворения «Поэту») первым выпил до дна.

— Чудесно, превосходно! Рукопожатие поэтов! Братство, а не завистливое соперничество — это ли не лучшее доказательство великой общности и содружества людей, к которому нас зовут Сен-Симон, Фурье! — воскликнул невысокий Петрашевский, обнимая рослых Плещеева и Григорьева. Михаил Васильевич и не предполагал, что к его декларации о всеобщем братстве Аполлон Григорьев относится весьма иронически, о чем поэт вскоре засвидетельствует публично, когда в двенадцатом номере журнала «Репертуар и Пантеон» за 1845 год опубликует свою драму «Два эгоизма», в которой выведет комическую фигуру «фурьериста из Петербурга» Петушевского, многими своими чертами напоминающего Буташевича-Петрашевского. В этом же номере журнала, кстати, будет опубликовано и стихотворение «Город», которое Аполлон Александрович прочитал на вечере у Петрашевского...

Расходились из дома на Покровской поздно. Но Плещеев и Милютин, казалось, забыли о времени. Обменивались впечатлениями, чувствовалось, что оба были наэлектризованы. Владимир выражал некоторое неудовольствие, что вечер оказался чересчур литературным, а о серьезных политических вопросах говорилось мало, отпускал колкости в адрес Аполлона Григорьева, завладевшего в этот вечер вниманием кружка. Алексей же, напротив, искренне восторгался колоритной фигурой Григорьева, «затмившего» самого Петрашевского, и особенно радовался как раз литературному направлению вечера, сожалел только об отсутствии Валериана Майкова — ему представлялось, что Валериан непременно бы поддержал именно такое направление. С некоторым простодушием Алексей склонялся даже к мысли, что Майков и Григорьев смогли бы сойтись и во взглядах на национальную самобытность русского народа, — в наивности такого предположения Плещеев, однако, вскоре убедится, познакомившись с майковскими статьями «Общественные науки в России» и чуть позже — «Стихотворения Кольцова», в которых будут развиты идеи, весьма далекие от тех, что провозглашал Григорьев в своем монологе...

Единственное, в чем не ошибся Алексей, — это в предположении, что подобные ситуации исключительны в доме Петрашевского, — в этом тоже он скоро убедится: разговоры на «пятницах» в большинстве случаев будут носить преимущественно философский и политический характер.

И еще Плещеев радовался тому, что в ближайшее время он станет независимым от университетской сутолоки человеком: несколько дней назад П. А. Плетнев сказал Алексею, что его заявление-просьба об

отчисления из университета будет удовлетворено.

Вскоре после ухода из университета Плещеев собирался вместе с матерью съездить в Москву навестить родственников (в Москве жила тетка, под Москвой — двоюродный брат), решить некоторые деловые вопросы, касающиеся плещеевских имений на Волге.

Материальные затруднения Плещеевых натолкнули Елену Александровну на мысль продать имение своей родной сестры, живущей в Москве, Алексей поддерживал идею матери. Но обстоятельства сложились так, что Елена Александровна поехала в Москву одна, Алексей же остался в Петербурге: возможно, это объяснялось сложностью его отношений с любимой девушкой.

К сожалению, мы ничего не знаем об этой девушке, кроме того, что еще в 1844 году Плещеев посвятил ей стихотворение «Люблю стремиться я мечтою...», озаглавив его загадочными (по крайней мере, для нас) инициалами М. П. Я-й. Вероятно, и стихотворение «Встреча» тоже посвящено ей (здесь адресат зашифрован под инициалами «А. П. Я-вой»), В стихах воплотилось сильное и серьезное чувство поэта:

Я встретил вас, и пробудилось
Вспоминанье прошлых дней
В душе безрадостной моей.
И сердце сильно так забилося,
И вновь огнем зажегся взор.
О! верьте, верьте мне — с тех пор,
Как с вами разлучился я,
Тянулась глупо жизнь моя,
Однообразна, без волнений;
Мой ровный путь меня томил,
Искал я всюду наслаждений
И всюду скуку находил.
Но вот явились вы — и снова
Любить и веровать готова
Душа воскресшая моя!—

такими взволнованными заверениями начинается стихотворение «Встреча». Вполне возможно, что и некоторые другие стихотворения Плещеева, написанные и опубликованные в том же 1846 году, как и

«Встреча», зародились под впечатлением воскресшего чувства «любить и верить», например, такие стихи, как «Прости», «Бал», «Случайно мы сошлись с вами...».

Но, очевидно, не только любовные тревобления помешали поездке Алексея в Москву; не будем забывать, что, оставляя университет, Плещеев возлагал большие надежды на литературную деятельность, не чураясь и честолюбивого желания добиться поэтической славы. Кроме того, утопические социалистические идеи, с которыми молодой поэт стал знакомиться основательнее, посещая Петрашевского, вызывали теперь не только сочувствие, но становились в известной степени, как и для многих других посетителей «пятниц», высшим убеждением жизни, своего рода высшей религией. С торжеством идей социалистов-утопистов Запада их русские поклонники связывали радикальные политические реформы, свободу печати и, конечно же, в первую очередь ликвидацию всяческих форм угнетения. Для скорейшего утверждения преобразований в жизни на основе притягательных учений утопистов хотелось приступить к какой-то практической деятельности. И хотя реальные пути к такой деятельности представлялись смутно, желание «что-то делать» было велико. И Алексей договаривается со своим бывшим однокурсником по университету Николаем Мордвиновым взяться за перевод запрещенной книги французского социалиста-утописта Ф. Ламенне «Слова верующего»^[17], книги, многие идеи которой разделялись и высоко чтились в кружке Петрашевского. Так, например, сам Петрашевский очень ценил в сочинении французского публициста острую критику существующих буржуазных отношений, а Плещееву и Мордвинову особенно по душе была мысль Ламенне о нравственном самоусовершенствовании человека и о неизбежном торжестве социальной справедливости.

Николай Мордвинов, несмотря на свою родовую принадлежность к высшей административной знати, придерживался весьма радикальных взглядов и тоже был переполнен желанием делать что-нибудь практическое во имя утверждения идей социалистов-утопистов, тоже хотел посвятить свою жизнь защите свободы, служению той истине, что утверждает братство, равенство людей, уничтожение всякого угнетения; недаром Алексей Плещеев в стихотворном послании «Н. Мордвинову» выделял у своего друга такие качества (вместе с веселостью и беспечностью), как «к истине стремленье» и веру в то, что «придет минута искупленья, что смертный не рожден для скорби и оков»^[18].

Но перевод книги Ф. Ламенне приятели осуществят несколько позже, в

1848–1849 годах, а пока вся практическая деятельность Плещеева направлена главным образом на создание собственных стихов.

В петербургских журналах и газетах появляются новые произведения молодого поэта. Рядом со стихами, навеянными очень личными субъективными мотивами — неразделенная любовь, несовпадение, противоречие духовных запросов поэта и его возлюбленной, — Плещеев написал несколько стихотворений, которые свидетельствовали о том, что его волновали важные философские проблемы бытия; это прежде всего «На зов друзей», «Сон», «Поэту», «Страдал он в жизни много, много...». В этих стихах, несмотря на определенную зависимость от поэзии Пушкина, Лермонтова и даже Батюшкова (а кто из начинающих не испытывал их влияния?), голос Плещеева набирал силу, энергию, уверенность, молодой поэт стремится поставить и решить серьезные и злободневные философские, социальные вопросы.

Увлеченный пафосом проповедей Ф. Ламенне в памфлете «Слова верующего», воспринимая идею борьбы поработенных с поработителями, важнейшую идею времени, Плещеев пытается проводить ее и в своих поэтических сочинениях, в частности, в стихотворении «Сон» молодой поэт прямо заявляет о своем пробуждении, о готовности «возвещать... свободу и любовь» утесненным, убеждать своим искренним и правдивым словом, что «человеку той поры недолго ждать, Недолго будет он томиться и страдать». И за такой поэтической метафорности была уже и личная убежденность в необходимости изменения существующей действительности, и личная готовность к делу во имя избавления людей от страданий, «тины зла и праздности».

Вот только с публикацией новых произведений вопрос осложнился: редакторы газет и журналов, еще недавно столь гостеприимно приглашавшие молодого поэта к сотрудничеству, все чаще и чаще стали толковать о цензурном гнете, роптать на каких-то безымянных «гонителей» из высших сфер.

В «Репертуар и Пантеон» В. С. Межевича Плещеев отдал стихотворение «На зов друзей», снабдив его по цензурным соображениям подзаголовком «Из А. Барбье» и подписав его опять криптонимом А. Пльвь. В этом стихотворении поэт, преодолевая абстрактную неудовлетворенность и туманные грезы, идет к осознанию реальных бед и пороков окружающей его действительности в родном Отечестве.

Вхожу ли я в палаты золотые,
Где в наслажденьях жизнь проводит сибарит,

Гляжу ль я на дворцы, на храмы вековые, —
Все мне о вековых страданиях говорит.
Сижу ли окружен шумящею толпою
На пиршестве большом, — мне слышен звук цепей;
И предстает вдали, как призрак, предо мною
Распятый на кресте божественный плебей!..

«А может быть, опять он-впадает в рефлексию, опять не нашел сильных действенных слов?» Алексей и тут не был до конца уверен, что ему удалось высказаться точно и убедительно, хотя и знал, что друзья и особенно верные поклонники Фурье и Оуэна (Александр Ханыков, к примеру) одобряют такую «рефлексию». Не знал он только, что и фиктивный подзаголовок «Из Барбье» не спасет стихотворение от вмешательства цензуры — при публикации цензор Никитенко исключит строку: «Мне слышен звук цепей»^[19].

Да, друзья-то, конечно, поймут «тревожную тоску» молодого поэта, как и аллегорию «большого пиршества». Ну а реальные «малые пиршества», что оборачивались горячими спорами у Майковых, у Петрашевского, продолжались.

Особенное внимание уделялось, в этих спорах проблеме соотношения национального, народного и общечеловеческого в развитии общества, в литературе, — центральной проблеме в русской общественной мысли XIX века, над которой скрестили «шпаги» и славянофилы, и Белинский, и петрашевцы. Плещеев вместе с некоторыми из приятелей, посещавшими вечера у Петрашевского, сначала целиком разделял точку зрения Валериана Майкова, высказанную в статье «Общественные науки в России»: национальность есть условие развития человечества, по в то же время национальность — это только дух народа, а не форма его быта, что национальность не может развиваться независимо от влияния других народов.

«Прошедшее и настоящее человечества служат торжественным опровержением мнения тех, которые допускают возможность истинной цивилизации в народе, отделенном от других более образованных народов», — утверждал Майков, и Плещеев полностью был согласен с критиком.

Но вот с недавнего времени Алексей, беседуя с Валерианом, как говорится, с глазу на глаз, стал отмечать для себя, что Майков несколько отошел от выдвинутых прежде положений и склоняется к мысли, что

национальное... все же является препятствием для выражения общечеловеческого, — в этих суждениях содержался зародыш той теории «разумного космополитизма», которую критик попытается изложить в недалеком будущем в статье «Стихотворения Кольцова».

На первых порах Алексей под впечатлением казавшихся ему неотразимыми доводов Валериана готов был принять и такую точку зрения во имя любезной сердцу общечеловечности, но кое-что его смущало в категорических утверждениях Майкова, к примеру, то, что отдельно взятые национальные типы являют, как считает Валериан, чуть ли не искажение чистого человеческого типа, — с этим Алексей никак не мог согласиться со свойственным юности максимализмом, полагая, что национальное никогда и ни при каких обстоятельствах не может служить препятствием для выражения общечеловеческого. И уж совсем не мог Плещеев согласиться с Майковым, когда тот, полемизируя со славянофилами, предъявлял несправедливые претензии и к Белинскому, упрекая последнего в стремлении один и тот же предмет видеть «и белым и черным», — поэту и самому был присущ тот самый «дуализм», в котором Майков обвинил Белинского. Кроме того, Алексей всегда относился к Белинскому с благоговением, считал одним из своих идейных учителей («Я благоговел перед ним заочно, и это благоговение только усилилось от личного знакомства с Белинским», — скажет однажды Плещеев, вспоминая свою молодость).

Впрочем, молодой и талантливый Валериан Майков все же был ближе Плещееву по эстетическим пристрастиям. А Валериан, сам, кстати, боготворивший Белинского, тоже считавший знаменитого критика своим непосредственным учителем, все-таки часто вслух выражал неудовольствие некоторыми, казавшимися ему бездоказательными сентенциями Белинского и обещал высказаться об этом печатно. Алексей и тут не во всем соглашался с Майковым, но Валериан был «сокружковец», друг, единомышленник, родная душа, а Белинский — глубоко уважаемый и почитаемый литератор, сотрудник «Отечественных записок» — пускай и признанный учитель, но все же «диктатор», как называл его Валериан...

О Белинском, его статьях, пожалуй, говорилось больше всего и у Майковых, и у Бекетовых, говорилось горячо, азартно, может быть, и не всегда справедливо, но Алексей уже отчетливо сознавал, что в лице этого критика русская литература обрела преданнейшего ее пропагандиста, знатока и ценителя, что живая мысль, одушевляющая общество, в первую очередь обязана пламенным идеям, которые развивал Белинский в своих статьях. Недаром всякий раз, когда Алексей читал какое-нибудь свое новое

стихотворение друзьям, он почти всегда неосознанно, но страстно желал, чтобы среди слушателей вдруг случайно мог оказаться Белинский. Однако коротко сойтись с критиком возможности пока не представлялось, сам Плещеев особой настойчивости к такому знакомству не изъяслял: во-первых, попросту робел, а во-вторых, многие из друзей поэта, хотя и считали себя единомышленниками, а во многом и последователями Белинского, тоже к этому времени не были с ним знакомы.

Но существовало, так сказать, невидимое средство общения — это голос молвы. Плещееву и его друзьям было известно, что Белинский и его окружение крепко недовольны суждениями Валериана Майкова о космополитическом гуманизме и других абстрактных теоретизированиях о свободе и общечеловечности, и это было не совсем понятно. Как? Белинский, призывающий брать пример с революционного Запада, яростно боровшийся против национального (народного) фанатизма славянофилов, не принимает и не поддерживает стройной майковской теории об общечеловеческом идеале? Сказывают, что будто бы Белинский называет сторонников Майкова «беспачпортными бродягами в человечестве» и грозит дать публичный бой в печати этим самым «беспачпортным бродягам». Ужель знаменитый критик изменил своим прежним принципам? — такие вопросы тревожили молодых поклонников общечеловеческих идеалов, считавших вслед за Майковым, что главным препятствием осуществления этих идеалов является национальная односторонность. И было им как будто невдомек, что для Белинского, выстрадавшего патриотизм в борьбе с многоликими ряжеными псевдопатриотами болгаринского толка, в страстной полемике с поборниками официальной народности, горячо любящего свой народ и верящего в его великое предназначение («Нам, русским, нечего сомневаться в нашем политическом и государственном значении... Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово...» — утверждал он), теоретическая игра в абстрактную общечеловечность представлялась кощунственным надругательством над родным народом...

Какие-то сомнения в безупречности майковских теоретических построений у Плещеева и раньше возникали, еще до публичной полемики Валериана с Белинским, однако окончательно утвердился оп в этих сомнениях лишь после публикации на страницах «Современника» статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года». Он и сам выступил с небольшими статьями в «Русском инвалиде» в защиту национального как обязательного и неперемennого условия развития общечеловеческого.

А сотрудничать в петербургских газетах Плещеев начал активно после выхода из университета. В «Русском инвалиде», «Литературной газете» А. Краевского, а затем и в «Санкт-Петербургских ведомостях» он публикует рецензии, фельетоны, статьи; в середине 1846 года договаривается с газетой «Русский инвалид» вести в ней раздел «Петербургская хроника» и в течение почти полутора лет (с сентября 46-го по январь 48-го года) поместит в нем множество материалов на литературные, театральные и политические темы. Литературные привязанности Плещеева, в сущности, остаются неизменными: поэтическими маяками для него по-прежнему служат Пушкин и Лермонтов, в прозе он выше всех ставит гений Гоголя, направление, связанное с именем великого писателя: «...теперь только изредка слышится какой-нибудь охриплый голос, восставший против направления, данного Гоголем русской литературе, и этот охриплый голос тотчас же заглушается энергическими протестами молодого поколения, обратившего на гениального юмориста полные ожидания очи...» — отмечает он в одной из рецензий в 1846 году.

Помещая фельетоны в «Русском инвалиде», Плещеев, конечно, не претендовал на роль зрелого литературного критика, чаще всего выступая анонимно, и все же эти фельетоны и заметки молодого поэта — труд человека, наделенного тонким чувством слова и образа. Начиная критик, испытывавший большое влияние Валериана Майкова, придерживается в оценках художественных произведений, к некоторому удивлению его друзей, точки зрения, далеко не всегда совпадающей с теоретической концепцией «гуманистического космополизма», напротив, часто выступает как последователь того направления в критике, которое формировалось под непосредственным воздействием идей Белинского, стремится понять характеры, созданные литературой, исходя из их особенностей:

«...В Татьяне русская душа, русский характер, русская природа; в ней все так верно русской действительности — каждый шаг, каждое слово ее...» — рассуждает Плещеев в «Русском инвалиде» еще в 1846 году по поводу пушкинского романа «Евгений Онегин», отмечая, что именно эти качества героини романа являют непреходящее значение и для выражения общечеловеческого, а это ведь совсем не совпадало с тем, что развивал В. Майков в статье «Стихотворения Кольцова». И «Мертвые души» Гоголя дороги Плещееву прежде всего как произведение, в котором как «нигде русская жизнь раскинулась так широко...».

В то же время Алексей Плещеев в своих критических отзывах всегда обращает внимание и на социальную сторону произведений, в частности,

дает высокую оценку роману Искандера-Герцена «Кто виноват?».

Разделяя мнение Валериана Майкова, что бездоказательная, памфлетическая манера, якобы свойственная публицистическим статьям Белинского, «не может быть полезной долго», Плещеев-критик в своей творческой практике солидаризируется зачастую больше с Белинским, нежели с Майковым, в отличие от многих товарищей по кружку Петрашевского признавая «изменяемость человеческой природы под влиянием внешних обстоятельств». Только вот в собственном поэтическом творчестве Алексей Плещеев не избежал абстрактных деклараций об общечеловеческом гуманизме; к тому же и Валериан Майков, и многие из новых друзей, посещавших дом Петрашевского, расхваливали как раз те его стихи, в которых утверждалась идея всечеловечности:

...Ему твердили с укоризной,
Что не любил он край родной;
Он мир считал своей отчиной,
А человечество — семьей!

И ту семью любил он страстно
И для ее грядущих благ
Истратить был готов всечасно
Избыток юных сил в трудах... —

эти строки из недавно прочитанного в кругу друзей стихотворения «Страдал он в жизни много, много...» были приняты восторженным одобрением, помнится Алексею, что даже Петрашевский сказал тогда весьма лестные слова.

Что ж, добрые отзывы друзей, конечно, радуют, но хочется и более широкого признания, настоящей литературной известности, и Алексей намеревается издать свои стихи отдельной книгой. Нужны деньги для оплаты типографских расходов. Сумма не такая уж и великая, но где ее взять, когда мать еле сводит концы с концами? Да и просить мать о помощи Алексею неловко, даже стыдно — оставляя университет, он твердо решил обеспечивать себя и материально. Что же делать?.. А не решиться ли и в самом деле на такой шаг; попросить о помощи князя В. Ф. Одоевского, этого высоко почитаемого и уважаемого литератора, как посоветовали друзья?.. Многие, хотя и часто иронизировали над причудами «русского Фауста» (так нередко звали князя Владимира Федоровича Одоевского в

кругу русской интеллигенции), но всегда признавали, что среди писателей-аристократов В. Ф. Одоевский чуть ли не единственный, от кого действительно можно было получить поддержку и участие. И среди посещавших «пятницы» у Петрашевского имя князя Одоевского пользовалось большим уважением.

Алексой и сам, единожды побывавший в знаменитом аристократическом салоне Владимира Федоровича, проникся к нему глубочайшим уважением. Плещеев в отличие от большинства своих приятелей считал князя ничуть не чудаком, а умнейшим, благороднейшим и справедливейшим «рыцарем» искусства. И талантливейшим русским писателем, повести и рассказы которого — особенно «Последний квартет Бетховена», «Княжна Зизи», «Бал», «Живописец» — давно почитал, высоко ценил, как и новые произведения князя, изданные в трех томах в 1844 году, в том числе и роман «Русские ночи», который многие находили скучным...

Молодой поэт решает: пишет, как и советовали приятели, письмо В. Ф. Одоевскому, чистосердечно признавшись ему и в честолюбивых желаниях издать книжку стихов, и в материальных затруднениях своих, в неимении средств для полной оплаты типографских расходов. Особой уверенности в поддержке князя у Плещеева не было, по, вопреки его сомнениям, почтенный литератор без промедления отозвался на просьбу почти незнакомого молодого собрата по перу... ^[20]

А пока «известность» Алексея Плещеева ограничивается в основном узким кругом товарищей и знакомых, среди которых он вращается, посещая петербургские литературные салоны, квартиры Бекетовых, Майковых, а вот с недавнего времени и дом Петрашевского, куда после Владимира Милютина ввел еще и Александра Ханькова. Через посетителя «пятниц» А. П. Баласогло Алексеи познакомился и близко сошелся с прекрасным человеком и поэтом Сергеем Федоровичем Дуровым, стал посещать его квартиру в доме на Фонтанке между Лештуковым переулком и Семеновским мостом. Там же он познакомился еще с одним литератором — гвардейским поручиком Александром Паяемом и его младшим братом Иваном, начинающим художником, — братья Пальм жили в одной квартире с Дуровым.

Скрытный характер гвардейского поручика не располагал к тесному сближению, а вот с Сергеем Федоровичем, несмотря на солидную возрастную разницу — Дуров был старше Алексея почти на десять лет, — подружился, часто приглашая его к себе домой, где они много читали друг другу, делились литературными замыслами.

Задушевные беседы Дурова и Плещеева нередко затягивались на

целые ночи. Говорили о философии и политике, хотя и не приходили к таким решительным обобщениям о необходимости улучшения государственной структуры, как, например, у Петрашевского (Дуров еще не был знаком с Михаилом Васильевичем, Плещеев же пока тоже не говорил другу о своем посещении «пятниц» Петрашевского). С интересом обсуждали они статьи Белинского, дотошно анализировали эстетическую концепцию критика, целиком разделяя высокую оценку Белинским творчества Гоголя, перед которым оба благоговели. Дуров к этому времени сам писал повести в духе «гоголевского направления», Плещеев тоже намеревался попробовать свои силы в прозе.

Как раз в эту пору на горизонте литературы появился новый необыкновенно сильный талант — в «Петербургском сборнике», изданном Н. Некрасовым, напечатан роман «Бедные люди» Достоевского. И Дуров и Плещеев были в восторге от этого произведения и видели в его авторе достойнейшего продолжателя Гоголя. Рассказывая Сергею Федоровичу, с какой похвалой отзываются о «Бедных людях» в доме Бекетовых, как высоко ставит этот роман Валериан Майков, Алексей еще больше хотел укрепить и себя, и своего друга во мнении, что их оценка Достоевского ничуть не завышена.

В 1846 году Белинский напечатал в мартовском номере «Отечественных записок» большую рецензию на «Петербургский сборник», в котором был опубликован роман Достоевского, и со всею решительностью заявил, что хотя имя автора «Бедных людей» совершенно неизвестное и новое, но ему суждено играть значительную роль в нашей литературе, назвал талант Достоевского необыкновенным и самобытным.

Плещеев и Дуров читали статью Белинского в «Петербургском сборнике» вместе, и особенно порадовало совпавшее с их мнением замечание критика о том, что при всей самобытности и силе таланта автора «Бедных людей» тот многим обязан великому Гоголю и что «Гоголь навсегда останется, так сказать, его отцом по творчеству». Гоголь был для Плещеева и Дурова вождем определенного направления в русской литературе и олицетворением ее самой прогрессивной и самой молодой силы; оба к тому же считали художественную палитру Гоголя высшим достижением русской прозы.

С Федором Достоевским Алексей знакомится вскоре лично. Встреча произошла на квартире братьев Бекетовых. То был период, когда имя Достоевского приобрело громкую известность в литературных кругах не только Петербурга. Уже после публикации «Бедных людей», получивших

восторженную оценку Белинского, на молодого писателя смотрели как на большую надежду русской литературы. Поэт Н. М. Языков писал в феврале 1846 года Н. В. Гоголю: «В Питере, по мнению «Отечественных записок», явился новый гений — какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти ее и скажи мне твое о ней мнение...»

Следом за «Бедными людьми» на страницах второго номера «Отечественных записок» публикуется новое произведение Достоевского «Двойник», которое еще больше укрепило публику во мнении о необыкновенном таланте писателя. Белинский отмечал, что в «Двойнике» автор «обнаружил огромную силу творчества, характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература...», хотя одновременно критик предъявлял и серьезные претензии к автору этого произведения, отметив, что в «Двойнике» видно «страшное неумение владеть и распоряжаться экономически избытком собственных сил..., определять разумную меру и границы художественному развитию задуманной им идеи», относил к недостаткам и «фантастический колорит» повести...

Достоевский становится вделанным гостем на литературных званных вечерах, и если до второй половины 1845 года, то есть до знакомства с Белинским и его окружением он вел полузатворнический образ жизни («Литературных знакомств я не имел совершенно никаких, кроме разве Григоровича, но тот и сам еще тогда ничего не писал...» — говорил Достоевский в «Дневнике писателя» о поре, предшествующей знакомству с Белинским), то с появлением в печати «Бедных людей» и «Двойника» связи его с литераторами столицы значительно расширяются. Он начинает посещать дом Майковых, часто бывает у Бекетовых, куда его ввел Григорович; с Бекетовыми очень крепко подружится и одно время — с ноября 1846 года по февраль 1847 года — будет снимать с ними общую квартиру.

А встреча Плещеева с Достоевским произошла на первой квартире Бекетовых, которую они снимали тоже на Васильевском острове, и в первую же минуту знакомства Плещеев с жаром заговорил о том, какое сильное впечатление на него произвели и «Бедные люди», и «Двойник». В словах Алексея было столько неподдельной искренности, что замкнутый и самолюбивый Достоевский тоже почувствовал к новому знакомому доброе расположение.

Вскоре Достоевский и Плещеев по-настоящему сблизились, нередко вместе прогуливались по городу, живо обсуждая со свойственными молодости пылом и задором все тревожащие их вопросы. Оба восторженно

верили в неизбежное торжество новых социалистических учений — Плещеев основательно познакомился с этими учениями у Бекетовых и Петрашевского, Достоевский — в кружке Белинского. «Я уже в 46-м году был посвящен во всю правду этого грядущего «обновления мира» и во всю святость будущего коммунистического общества еще Белинским», — отмечал Достоевский в «Дневнике писателя».

В кондитерской Вольфа и Беранже у Полицейского моста, куда зашли Плещеев с Достоевским, гуляя по Петербургу, и произошло знакомство Федора Михайловича с Петрашевским. Плещеев заговорил со своим знакомым — коренастым чернобородым человеком, которого Достоевский, как он писал впоследствии, толком не разглядел, так как читал газету. Этот бородач уже на улице неожиданно догнал Достоевского, «спросил об идее его будущей повести (видимо, Плещеев назвал бородачу его имя) и назвался Петрашевским. Обменявшись незначительными фразами, они разошлись. Плещеев при их разговоре не присутствовал, он несколько отстал и шел поодаль. Достоевский, дождав друга, поинтересовался, давно ли он знаком с этим странным бородачом. Алексей стал рассказывать о своем знакомстве, начавшемся несколько месяцев назад. В доме Петрашевского, по его словам, по пятницам собираются весьма интересные люди и ведут содержательные и злободневные беседы, по преимуществу, правда, на политические и философские темы, много толкуют об учении Шарля Фурье, которого Петрашевский прямо-таки обожествляет. Достоевский заметил, что фурьеризм и в самом деле прекрасная система, что о ней с большим уважением отзывается Белинский.

Молодые люди с увлечением заговорили о том влиянии, которое оказывают на общество страстные проповеди неистового Виссариона, о своих желаниях посвятить себя такому делу, чтобы оно оказалось нужным и полезным России, народу. Незаметно перешли они к воспоминаниям о прошлом, и тут выяснилось, что у них есть некоторые совпадения в судьбах: оба готовились к военной карьере и оба разочаровались в ней — один еще на заре туманной юности, а другой, хотя и закончил военное инженерное училище и даже дослужился до чина инженера-поручика, сохранил к своей бывшей армейской службе только глухую неприязнь, граничащую с ненавистью.

Алексей рассказал Федору Михайловичу о скором выходе из печати своего первого сборника стихотворений, о помощи в этом деле князя В. Ф. Одоевского, которого, как выяснилось, Достоевский тоже очень глубоко уважал. Федор Михайлович попросил тут же Плещеева что-нибудь прочитать. Плещеев, смущенно оглядываясь на прохожих, прочитал,

понижая голос, хотя душа и жаждала восклицаний:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я!
Смелей дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед.
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет...

Достоевский слушал вроде бы отрешенно, весь уйдя в себя, и на Плещеева не глядел, по когдa тот звонко продекламировал:

Пусть нам звездою путеводном
Святая истина горит,
И верьте, голос благородный
Не даром в мире прозвучит!
Внемлите ж, братья, слову брата,
Пока мы полны юных сил:
Вперед, вперед, и без возврата,
Что б рок вдали нам ни сулил! —

Федор Михайлович взволнованно заметил, что плещеевские стихи написаны сердцем, в них много неподдельного чувства и глубоких мыслей. Слова Достоевского несказанно обрадовали Алексея Плещеева, он тут же объяснился Федору Михайловичу в искренней любви, получив и от друга взаимные признания.

...Разгоряченные стихийно вспыхнувшим объяснением, молодые люди отправились на набережную Невы, к Троицкому мосту, и там еще долго продолжали задушевный разговор, словно предчувствуя, что не скоро встретятся.

И действительно, после этого они виделись всего раз у Майковых, а потом — только через несколько месяцев, когда Федор Михайлович вернулся в Питер из Ревеля, куда он ездил к брату Михаилу, а вскоре вместе с Бекетовыми вступил в «ассоциацию», то есть поселился на общую с ними квартиру.

Ну вот и вышел благодаря помощи В. Ф. Одоевского сборник «Стихотворения А. Плещеева», на который Алексей возлагал немалые надежды. И они, пожалуй, оправдывались: друзья и знакомые поздравляют, предрекают успех, да Алексей и сам замечает, что имя его становится известным не только в среде окружавших единомышленников. Конечно, эта известность не могла равняться с громкой популярностью его нового друга Федора Достоевского (да ведь и таланты-то их несоизмеримы), но — слаб человек на славу — Алексей тоже надеялся, что на сборник его обратят внимание в критике.

И он не ошибся: сборник стихов был замечен и вызвал довольно спорные мнения на страницах разных изданий. В спорах приняли участие литераторы, далеко не безразличные Плещееву, люди, к которым он относился с большим уважением.

Один из наиболее лестных и наиболее полных отзывов на сборник дал Валериан Майков в октябрьском номере «Отечественных записок» за 1846 год. Майков, приглашенный заведовать отделом критики в журнале Краевского на смену ушедшему в «Современник» Белинскому, был как раз увлечен теорией «наднациональной» всечеловечности, поэтому и сборник Плещеева расценивал прежде всего с позиций этой теории...

«Стихи к деве и луне кончились навсегда. Настает другая эпоха: в ходу сомнение и бесконечные муки сомнения, страдание общечеловеческими вопросами, горький плач на недостатки и бедствия человечества» — такими решительными словами начал критик свою рецензию на книгу Плещеева. И не менее решительно продолжал:

«...В том жалком положении, в котором находится наша поэзия со смерти Лермонтова, г. Плещеев — бесспорно первый наш поэт в настоящее время... Он, как видно из его стихотворений, взялся за дело поэта по призванию; сильно сочувствует вопросам своего времени, страдает всеми недугами века, болезненно мучится несовершенствами общества и сгорает нетщето жаждою споспешествовать его совершенствованию и торжеству на земле истины, любви и братства». Алексей прочитал эти слова в майковской рецензии с чувством благодарности, но и не без смущения, ощутив в словах Валериана явный переხвал. Первый поэт после смерти Лермонтова — это, конечно, преувеличение, как будто Валериан считает его, Плещеева, талантливее и Аполлона Майкова, и Аполлона Григорьева, и Афанасия Фета, и Якова Полонского, и Николая Некрасова... Нет, тут Валериан, наверное, исходил все из той же идеи «совершенствования человечности» — Алексей хорошо помнит, с какой восторженностью

принял Майков стихотворение «Страдал он в жизни много, много...», в котором прославлялся герой, который «мир считал своей отчизной и человечество семьей», помнит, как и другие товарищи, за исключением, пожалуй, Достоевского, хвалили это стихотворение...

«Да, Валериан очень верно подметил главный, определяющий пафос моих стихов и сказал об этом страстно и более чем пронизательно». Алексей взволнованно перечитывал в рецензии следующие рассуждения Майкова:

«...Плещеев вообще нередко говорит в своих стихах о самом себе, но это не плаксивые жалобы на судьбу, не стоны разочарования, не тоска по утраченном личном счастье — нет, это вопли души, раздираемой сомнением, глухая и упорная битва с действительностью, безобразие которой глубоко постигнуто поэтом и среди которой ему душно и тесно, как в смрадной темнице. Он хотел бы выломить железные решетки, отворить двери и окна, чтобы, пропустив в это жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха, дать отогреться и вздохнуть вольною грудью своим страдающим, изнеможенным и бессильным братьям...»

Как это верно и как радостно, что именно Валериан первым сказал об этом...

Читая майковскую рецензию, Алексей испытывал не просто чувство благодарности к другу и единомышленнику, он понимал, что Валериан, давая столь высокую оценку стихам, тоже переполнен желанием «выломать железные решетки, отворить двери и окна...»

Вспомнилось, как тот же Майков посоветовал Алексею открыть сборник стихотворением «Сон», что очень обрадовало Плещеева, ибо он и сам считал его программным для себя. В сущности, это было не стихотворение, а отрывок из задуманной поэмы, которая так и не была закончена. Отрывок Алексей несколько раз читал у Майковых и Бекетовых, его хвалили; мысль о поэтическом пророчестве, о гражданском долге поэта обвинять «рабов греха, рабов постыдной суеты», возвещать «мщенья грозный час тому, кто в тине зла и праздности погряз», была близка друзьям поэта, как близки им были и развиваемые в стихотворении идеи революционного преобразования мира, идеи социалистов-утопистов. Аллегию (явление богини поэту во сне) все прекрасно понимали, а эпиграф из памфлета «Слова верующего» Ф. Ламенне прямо говорил: «Земля печальна и иссушена зноем; но она зазеленеет вновь. Дыханье зла не вечно будет веять над нею палящим дуновеньем».

Отзыв Валериана о сборнике — это ведь еще и страстное пожелание и

дальше идти по избранной дороге:

«...Голос его не слабеет, изнемогая в борьбе, но, далекий от того, чтобы уступить, бесславно бежать с поля битвы, он восклицает к своим друзьям:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!..

...Вот что восклицает г. Плещеев к друзьям своим. Самая история личных страданий поэта (а судьба щедро наделила г. Плещеева страданиями) тесно связана с его произведениями. Он любил — и любовь не принесла ему тех радостей, которые таятся в душевном сближении с любимым существом сокровеннейших и заветнейших тайн сердца. Увы! Он обогнал в развитии своем ту, которая владела его сердцем, и, как другой не менее замечательный поэт, постигнутый тою же участью и оплакавший эту мрачную катастрофу в жизни своей этими многозначительными стихами:

Мне стыдно женщину любить
И не назвать ее сестрой, —

г. Плещеев восклицает:

Мы близки друг другу... я знаю,
Но чужды по духу...» —

эти слова из майковской рецензии были особенно дороги Алексею. Отрадно, что Валериан обратил внимание на стихотворение «Вперед...», которое так нравится Федору Достоевскому, — Алексей и теперь с волнением вспомнил ту долгую прогулку с Федором по Питеру, когда впервые прочитал ему свои призывные строки. Отрадно, что в майковской рецензии стихи Плещеева о любви сравниваются со стихами «не менее замечательного поэта», как выразился Валериан, Аполлона Григорьева...

Но помнил Алексей и то, что Достоевскому почему-то совсем не понравилось стихотворение «Страдал он в жизни много, много...», вернее, те самые строчки в нем, где прославлялась идея считать «мир... своей отчизной, и человечество семьей» — Федор называл эти строчки

безнравственными, говорил, что человек, утрачивающий корневую связь с Отечеством, народом своим, скорее заслуживает порицания, в лучшем случае сожаления, но никак не похвалы — Плещеев еще не знал, что Достоевский, посещая кружок Белинского, горячо разделял убеждения критика о высоком предназначении России и, несмотря на «западничество», был решительным противником космополитического гуманизма В. Майкова, хотя очень ценил и уважал Валериана как умного и даровитейшего критика.

Ну, с Достоевским-то, когда он вернется из Ревеля от брата, Алексей сможет объясниться до конца, тем более что и сам стал сомневаться в бесспорности теоретических воззрений Валериана, а вот с Аполлоном Григорьевым, высказавшим в «Московском городском листке» неудовлетворенность плещеевским сборником, объясниться не придется — Григорьев переселился в Москву и сделался, сказывают, чуть ли не славянофилом^[21]. И какие обидные слова сказал этот человек, с которым Алексей, кажется, совсем еще недавно «побратался» у Петрашевского и которого искренне любил: «Недостаточно нескольких громких фраз о любви, нескольких удачных стихов... да начитанности Барбье и Гервега» для... служения человечеству.

Человечность, человечество... Плещеев боготворил эти слова — он и эпиграфом к своей книге поставил латинское изречение из комедии древнеримского писателя Теренция: «Я человек, ничто человеческое мне не чуждо», но ему будто не верят, вернее, не хотят признать за ним права говорить о всечеловечности. Ведь это, пожалуй, и его, Плещеева, имел в виду Белинский, иронически отозвавшись о «маленьких талантах», ставящих к книгам «латинские эпиграфы» и считающих, что их поэзия отличается современным направлением... Да, сам Белинский — один из любимейших учителей — тоже упрекнул за апеллирование к абстракции человечности и не захотел, видимо, заметить того главного в стихах, что выделил Майков: огромного желания «пропустить в жилище мрака и зловония живительный луч солнца, благоуханную струю свежего воздуха», звонкого призыва «на подвиг доблестный» — это сильно огорчало...

А еще, предполагал Алексей. Белинский мог осерчать на его стихи и за их романтическую окраску, отвлеченность — ведь он бранил за это. помнится, и Жуковского, и других поэтов-романтиков. «Маленький талант»... Что ж, Белинский, возможно, прав в определении степени дарования — Алексей и сам ничуть не считал свои способности выдающимися, сознавал их скромные возможности. Тем приятнее было ему прочитать в том же «Современнике», где теперь сотрудничал

Белинский, весьма благосклонный отзыв о сборнике — Плещеева выделил и среди прочих стихотворцев, найдя в его стихах много искренности чувства, мягкости, естественности образов, безыскусственности и точности выражений. Как бесспорное достоинство книги Алексея оценил рецензент и включенные в нее переводы и в первую очередь немецкого поэта Гейне, которые совсем не понравились Валериану Майкову, отмечавшему, что «претензия на глубину мысли и чувства в легкой и часто шутливой форме — вот определение этого рода стихотворений Гейне», отобранных Плещеевым в сборник. С такой характеристикой стихов Гейне Алексей не был согласен, и вот рецензент «Современника» поддержал его, заметив, что в плещеевском предисловии к переводам (Алексей сопровождал свои переводы небольшим предисловием, в котором дал свою оценку стихам немецкого поэта) «больше такта, ума и вкуса, нежели в иной длинной критике». Не без полемического запала написал рецензент «Современника» и такие слова: «г. Плещеев понял свое назначение, как поэт, лучше многих его собратьев по ремеслу, пользующихся даже некоторой знаменитостью...», но здесь он уже как бы солидаризировался с В. Майковым.

По правде говоря, Алексей и не ожидал, что его сборник привлечет такое солидное внимание. И надо теперь как-то оправдывать «титул» первого поэта, которым его удостоил категоричный, дружески щедрый Валериан...

Осенью 1846 года на одной из «пятниц» у Петрашевского возник жаркий спор о значении литературы в общественной жизни страны и о том, какой из родов словесности играет большую роль — поэзия или проза. А. П. Баласогло, как всегда, темпераментно высказывался в пользу поэзии, ссылаясь опять же на имена Державина, Пушкина, Лермонтова в России, Барбье, Беранже, Гюго — во Франции, Шекспира и Байрона — в Англии.

Александр Ханьков возражал Александру Пантелеймоновичу и делал упор на современность, утверждая, что в нынешней поэзии нет равных по таланту не только Гоголю, но даже молодому Достоевскому, что поэзия нынче захирела, стала уделом прихотливых и беспринципных бар. Ханькова пытался урезонить сам Петрашевский и прежде всего, пожалуй, потому, что в комнате присутствовал Плещеев — автор недавно вышедшего поэтического сборника, с горячим одобрением встреченного всеми, кто приходил по «пятницам» в дом на Покровской площади.

И тут, к удивлению всех, Плещеев произнес целую речь в защиту прозы, почти во всем поддержал Ханькова.

— Поверьте, друзья, я ничуть не намерен принижать работу наших поэтов, напротив, высоко ставлю стихи современников: и Майкова, и Полонского, и Григорьева; превосходны недавно опубликованные пьески Некрасова «Огородник», «В дороге», умны и благородны стихотворения Фета и Тургенева, но все это не то, что ждет от нас, стихотворцев, образованная публика, — решительно заявил Алексей и взволнованно заговорил о том, какое великое дело выпало на долю теперешней прозы, ибо только ей, по его мнению, под силу изобразить действительный мир во всей правдивости, показать все язвы и пороки общества, указать пути к избавлению от этих пороков. Он восторженно говорил о Гоголе и Достоевском, сказал, что знает необыкновенно даровитых людей, которые в скором времени подарят России замечательные картины нынешних нравов — от Майковых Плещеев знал, что близкий друг их дома, а ныне чиновник министерства финансов Иван Гончаров написал замечательный, по словам Валериана, роман; известно ему было, что его знакомые по майковскому и бекетовскому домам Дмитрий Григорович и Михаил Салтыков тоже написали интересные произведения.

Плещеев и сам решил теперь уже всерьез испробовать свои силы в прозе (вчерне были написаны первые беллетристические сочинения — рассказы «Енотовая шуба» и «Папироска»), но об этом знали только самые близкие друзья, вот почему его похвальное слово прозе показалось несколько странным многим присутствующим у Петрашевского.

— Алексей Николаевич, я, признаться, весьма удивлен, слушая вас, — Александр Пантелеймонович Баласогло никак не ожидал такой «измены» поэзии со стороны Плещеева. — В вашем сборнике есть прекрасный перевод из Гейне... Как там у вас сказано... нет, не в сборнике, а в той строфе, которую, вы говорили, не пропустила цензура: «...Сильнее стучи и тревогой ты спящих от сна пробуди. Вот смысл глубочайший искусства, а сам маршируй впереди...» А разве прозаик может маршировать впереди? Нет, он всегда предпочитает находиться в арьергарде.

— Помилуй, Александр Пантелеймонович, ты наговариваешь на наших беллетристов. Что же, по-твоему, и Гоголь идет в арьергарде? — Это теперь вмешался Петрашевский, который еще несколько минут назад защищал поэзию от «нападок» Ханыкова. — Я полагаю, что восхваление прозы в ущерб поэзии и наоборот есть непростительное заблуждение наше, потому как та и другая — родные сестры, и задача у них одинаковая: будить от сна спящих, сеять благородные мысли о равенстве и братстве людей, о счастливом будущем человечества, способствовать усовершенствованию общества...

Разговор незаметно стал снова входить в русло социально-экономических доктрин, в которых хозяин дома чувствовал себя как рыба в воде. Познания Петрашевского в экономических и политических вопросах были немалые, хотя и несколько эклектичные. обстоятельно изучив работы Сен-Симона, Фурье, Ламенне, Оуэна, Прудона, Фейербаха, Штирнера и других западноевропейских философов, Михаил Васильевич отдавал явное предпочтение учению французского утопического социалиста Шарля Фурье. В духе идей Фурье Петрашевский даже в собственном имении под Петербургом намеревался устроить нечто вроде фаланги-фаланстера.

Другие же посетители «пятниц» далеко не во всем и не всегда разделяли фанатическую преданность Петрашевского фурьеризму и, знакомясь с учениями других социалистов-утопистов (сочинения которых брали в основном тоже у Михаила Васильевича), часто вступали с хозяином дома на Покровской в серьезные споры.

Вот и сегодня, когда Петрашевский вновь заговорил о необходимости решительного освобождения крестьян и объединения их в фаланстеры, ему стал возражать Владимир Милютин.

Милютин, начав вместе с Плещеевым регулярно посещать дом Петрашевского, продолжал учебу в университете, готовился нешуточно посвятить себя специальному изучению политической экономии. В эти дни он увлеченно писал работу «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции», и в споре с Петрашевским ему представилась возможность проверить убедительность своих тезисов о сближении экономических учений с социализмом. В частности, Милютин в отличие от Петрашевского совсем не обожествлял Фурье, считал учение французского утописта недостаточно «научным». У Милютина был свой «бог» — французский философ-позитивист Огюст Конт, социологическая концепция которого представлялась молодому русскому ученому высшим достижением экономической мысли.

Именно идеи Конта позволяют открыть новые законы развития человека и общества, утверждал Милютин, бросая явный вызов Петрашевскому, который называл Конта примиренцем по отношению к существующим порядкам, отступником от идей своего учителя Сен-Симона (Конт приходил к выводам о бесполезности революционного изменения буржуазного общества).

Спор разгорался, ни один из спорящих не хотел уступить, да и другие участники встречи незаметно втягивались в полемику, попеременно защищая то Петрашевского, то Милютина — в зависимости от того, чьи доводы казались убедительными. Даже Плещеев принял на этот раз

живейшее участие в обсуждении политических вопросов, которые прежде казались ему чересчур скучными и утомительными.

Алексей, правда, не считал себя достаточно подготовленным для таких серьезных споров, хотя со многими произведениями из библиотеки Петрашевского был хорошо знаком. Его тоже привлекали идеи Фурье, Конта он тоже пробовал читать, но без интереса. Однако сегодня, зараженный возбужденной задиристостью своего друга, он готов был признать немалую правоту в суждениях Милютина — ведь Владимир, несмотря на преклонение перед Контом, ратовал за необходимость общественных преобразований на тех же социалистических началах, которые пропагандировали и Сен-Симон, и Фурье, и Кабе — так, по крайней мере, казалось в этот вечер Плещееву...

А когда стали расходиться от Петрашевского, Алексей пригласил Владимира Милютина в свою квартиру. Владимир охотно согласился, заметив, что ему нынче и совсем не хочется быть дома, встречаться с «вельможными» родственниками (он происходил из богатой, близко стоящей к правительственным кругам семьи). В тот же вечер Плещеев и подарил Милютину сборник «Стихотворения А. Плещеева». Этот экземпляр сборника не был похож на все остальные. В присутствии Владимира Алексей вложил в книгу лист бумаги, на котором убористым почерком в правом углу стояла надпись «Посвящается Владимиру Милютину», а ниже — стихотворные строфы:

По чувствам братья мы с тобой,
Мы в искупленье верим оба,
И будем мы питать до гроба
Вражду к бичам страны родной.
Когда ж пробьет желанный час
И встанут спящие народы —
Святое воинство свободы
В своих рядах увидит нас.
Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верно^[22], отзыв в нем найдется
На неподкупный голос мой.

Алексей сказал, что стихотворение это было предназначено для сборника, но оказалось «за бортом» его. Владимир, еще не совсем

остывший после спора у Петрашевского, растроганно обнял Алексея и со словами: «И будем мы питать до гроба вражду к бичам страны родной» — закружил друга по кабинету; друзья засиделись до утра, несмотря на увещевания заглянувшей в комнату матери Алексея Елены Александровны. Но какой может быть сон, когда тебе всего двадцать один год и у тебя в гостях дорогой тебе «брат по чувству»?

А братский круг все расширяется и расширяется. Крепнет дружба с Федором Достоевским, возвратившимся из Ревеля. Федор Михайлович, взявшийся с весны 1847 года вести воскресный фельетон в газете «С.-Петербургские ведомости», привлек к сотрудничеству в газете и Плещеева. Здесь вслед за первым фельетоном Достоевского «Петербургская летопись» (27 апреля) была опубликована 30 апреля статья Плещеева о книге «Очерки Рима» Аполлона Майкова, старшего брата Валериана. Достоевский, правда, пока не очень жаловал собрания у Петрашевского, приходил на «пятницы» редко — разговоры, которые велись в доме на Покровской, казались Федору Михайловичу малоинтересными в сравнении с теми, какие ему доводилось слышать в кружке Белинского.

Зато другой из новых друзей Плещеева, поэт Сергей Дуров, как и Алексей, старается при каждой возможности заглядывать на Покровскую, принимает живейшее участие в обсуждении и литературных, и политических вопросов. Теплые отношения поддерживает Плещеев и еще с одним активным посетителем дома Петрашевского — поэтом и прозаиком Александром Пальмом, хотя друзьями они так и не стали: по-прежнему Алексей дружит с Николаем Мордвиновым, Владимиром Милютиным, Дмитрием Ахшарумовым, тоже писавшим стихи; в 1847 году станет заходить к Петрашевскому один из первых политических наставников Плещеева П. В. Веревкин, который, правда, вскоре уедет на лечение за границу. Знакомится и довольно близко сходится Плещеев с некоторыми из молодых людей, начавших с недавнего времени посещать «пятницы» на Покровской: студентом Павлом Филипповым, человеком решительным, жаждущим практического дела в борьбе с «бичами страны родной», молодым правоведам Василием Головинским...

А с начала 1847 года дом в Коломне на Покровской площади посещает еще более решительный сторонник активных методов борьбы с правительством — лицейский приятель Петрашевского Николай Александрович Спешнев, с появлением которого деятельность кружка резко оживилась.

Н. А. Спешнев вернулся недавно из-за границы, где прожил без малого

четыре года. В Европе он изучал немецкую классическую философию, социалистические и коммунистические доктрины, исследовал работу тайных обществ, а в Швейцарии ему пришлось даже повоевать на стороне кантонов против Зондербунда^[23]. Умный, волевой, целеустремленный Спешнев отстаивал самые радикальные методы пропаганды социалистических идей вплоть до вооруженного восстания, конечной целью которого должно стать уничтожение крепостного права и установление демократической республики, но подготовку к вооруженному перевороту предлагал начать с действий террористических групп («пятерок»), которые, по его мнению, будут способствовать зарождению у народа мыслей о необходимости насильственного взлома существующего строя.

«Я, нижеподписавшийся... поступаю в русское общество и беру на себя следующие обязанности: когда распорядительный комитет общества... решит, что настало время бунта, то я обязуюсь, не щадя себя, принять полное открытое участие в восстании и драке... вооружившись огнестрельным или холодным оружием... борю на себя обязанность увеличивать силы общества приобретением обществу новых членов...» — вот на какой обязательной подписке для членов тайного общества настаивал Николай Спешнев.

Личная обаятельность Спешнева, его убежденная уверенность в отстаивании принципов, полуполюгендарные слухи о его бурных приключениях в Европе — участие в военных операциях, знакомства с революционными деятелями Запада, любовные романтические истории — способствовали тому, что в скором времени Николай Александрович станет центральной фигурой в кружке Петрашевского. Даже Достоевский после знакомства со Спешневым почувствует в «барине», как он окрестит Николая Александровича, личность незаурядную, действительно способную на серьезное практическое дело, и станет с этого времени регулярно посещать «пятницы», с любопытством приглядываясь к лицейскому другу Петрашевского.

Плещев, который тоже был «полонен» Спешневым, становится последователем воззрений последнего на современное общество, хотя практическую программу, предлагаемую Николаем Александровичем, не разделял, а создание террористических «пятерок» отвергал вовсе. Однако влияние Спешнева на Плещева и других членов кружка Петрашевского было велико, и не случайно уже через много лет Алексей Николаевич в письме Добролюбову от 12 февраля 1860 года так охарактеризует личность Николая Александровича: «Рекомендую вам этого человека, который,

кроме большого ума, обладает еще качеством — к несчастью, слишком редким у нас: у него всегда слово шло об руку с делом. Убеждения свои он постоянно вносил в жизнь. Это в высшей степени честный характер и сильная воля. Можно сказать положительно, что из всех наших — это самая замечательная личность».

И все же молодые люди, посещавшие «пятницы», мечтавшие о практическом деле и видевшие в Спешневе несомненного лидера на этом практическом пути, оставались во многом еще мечтателями-романтиками, склонными больше к отвлеченному теоретизированию, нежели к революционной практике. Кроме того, многие из них всерьез увлекались литературным творчеством, любили музыку, искусство, поэтому бурные споры на политические темы, усилившиеся с приходом Спешнева, не всех удовлетворяли, некоторые стали приходить на «пятницы» реже, а другие и совсем перестали появляться в доме на Покровской. Но кружок не распался, пополнялся новыми посетителями.

Плещеев продолжал приходить на «пятницы» часто — там была возможность общения с людьми, к которым он искренне привязался и которых полюбил, — Федором Достоевским, Сергеем Дуровым, людьми, которые, как и он, страстно мечтали видеть свой народ вольным, радостным, хотели творить для этого народа...

Установились у Плещеева более тесные отношения и с другими участниками «пятниц», некоторые из них, в том числе и сам Петрашевский, бывали на квартире поэта. И все же Плещеев, как и Достоевский, Дуров, Ахшарумов, Пальм и некоторые другие, держался в кружке несколько особняком — их сближали прежде всего литературные интересы, а к общественно-политическим вопросам они были меньше пристрастны, чем, скажем, Петрашевский, Спешнев, братья Дебу, Ханьков, поручик Момболли или давнишний приятель Плещеева по детским годам, ныне поручик лейб-гвардии конно-гренадерского полка Николай Григорьев, ставший приходить в дом Петрашевского с начала 1848 года, для которых на первом плане стояли философия, социология, конкретные социально-экономические преобразования России.

Но литераторы (впоследствии они образуют «дуровский» кружок и будут собираться на квартире Сергея Дурова на Гороховой, недалеко от Семеновского моста, где проживала неразлучная троица Дуров — Пальм — Щелков) отнюдь не были безучастными к проблемам, касающимся непосредственной российской действительности. Более того, именно от литераторов можно было услышать речи, обличительный пафос которых против существующего строя в России отличался смелостью и

конкретностью, включая требования об освобождении крестьян от крепостной зависимости, замены деспотического монархического правления республиканским или хотя бы ограничение его конституцией, которая дала бы «свободу книгопечатания, открытое судопроизводство, устроило бы особое министерство для рассмотрения новых проектов и улучшенной общественной жизни и чтобы не было никаких стеснений, никаких вмешательств в дела частных людей, в каком бы числе они ни сходились вместе», — как считал Д. Д. Ахшарумов.

Разногласия на «пятницах» случались больше по кардинальному вопросу действительности — освобождению крестьян. Николай Спешнев настойчиво проводил идею неизбежности восстания. Его поддерживали офицеры Николай Григорьев и Николай Момбелли, Федор Достоевский же, вступая в политические споры, со свойственной ему страстностью, с вдохновенной убежденностью отстаивал свои принципы, свою позицию и, в частности, по крестьянскому вопросу неотступно придерживался мнения, что освобождение крестьян в России возможно только легальным путем — здесь для Достоевского высшим авторитетом был боготворимый им великий русский поэт с его призывом-мечтой:

Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?..

Но из литературной группы тоже нередко раздавались голоса с решительным требованием «начать мести лестницу сверху» и, как призывал А. П. Баласогло, «представлять в разоблаченном виде все несправедливости законов». Алексей во многом разделял идеи близких друзей Достоевского и Дурова, но иногда на вечерах у Петрашевского с юношеским максимализмом поддерживал и наиболее радикальные меры, предлагаемые чаще Спешневым, Момбелли, Баласогло.

Споры шли жаркие, но до острых размолвок дело пока не доходило...

Круг друзей расширялся, спорилась литературная работа, но были и потери и самая тяжелая среди них — трагическая гибель Валериана Майкова, утонувшего 15 июля 1847 года во время купания в Петергофе.

Гибель двадцатичетырехлетнего В. Майкова воспринималась как тяжелая утрата и всей русской литературой, а Плещееву эта утрата казалась невозполнимой — ведь Валериан был первым его критиком, первым

другом и советчиком, единомышленником, наконец, тоже «братом по чувствам». В последнее время Плещеев и Майков виделись не очень часто: Валериан вместе с Владимиром Милютиным стали все реже и реже ходить к Петрашевскому, а потом и вовсе перестали посещать «пятницы», но отношения их оставались неизменно дружескими. Плещеев с радостью следил за развитием критического дарования друга, с упоением читал его блестящие статьи в «Отечественных записках» и в «Современнике». Особенно сильное впечатление произвели на Плещеева две майковские статьи, увидевшие свет в журнале Краевского: «Стихотворения Кольцова» и «Нечто о русской литературе в 1846 году». В первой из них Валериан с логической безупречностью развивал свои мысли о критике, вступив в полемику с... Белинским. Спор, который Майков затеял с Белинским, сначала озадачил Плещеева, несмотря на то, что ему было известно давнишнее намерение Валериана высказаться по адресу «бездоказательной» критики Белинского. Не разделяя в целом космополитическую теорию Майкова, изложенную в статье о Кольцове, Плещеев полностью принял весьма аргументированные в майковских статьях положения о научной критике, о чем и высказался в некрологе, посвященном памяти друга и опубликованном в «Русском инвалиде» 15 августа 1847 года:

«Майков... обещал именно такого критика, какого ждет теперь наше общество и в котором бы соединялись основательность, эрудиция и художественный такт... Разборы стихотворений Кольцова, «История литературы Аскоченского и романов Вальтера Скотта»^[24] отличаются необыкновенною доказательностью, логичностью выводов, отсутствием парадоксов и значительною эрудицией — качествами, которыми не могла до него похвалиться критика».

Нелепейшая смерть своего второго «крестного» (первым он считал П. А. Плетнева) сильно потрясла Плещеева. А ведь он собирался показать Валериану новые прозаические опыты свои, памятуя одобрительное мнение покойного о черновом варианте рассказа «Енотовая шуба»... С кем теперь поделиться замыслами, на чей суд представить начинающему прозаику свои пробы?

Встретил недавно на Невском Ивана Александровича Гончарова — тот прямо-таки подавлен смертью Валериана, которого любил как сына. Разговор получился печальным.

А рассказ «Енотовая шуба» обещают напечатать в «Отечественных записках», но Краевский стал за последнее время очень раздражительным и капризным, перессорился со многими молодыми литераторами — вот и

покойный Валериан, сменивший в «Отечественных записках» ушедшего в «Современник» Белинского, тоже говорил о натянутых отношениях с издателем, а Достоевский так прямо называл Краевского «литературным Чичиковым», ростовщиком. Алексей и сам, посещавший в студенческую пору званые вечера у Краевского, знал, что любезность, обаятельность Андрея Александровича всегда сразу сменялась презрительной холодностью, когда какой-нибудь из «благодетельствованных» им сотрудников имел смелость высказать о «благодетеле» нелицеприятную правду, то есть назвать его литературным дельцом, коммерсантом. В главе Краевскому, разумеется, никто не осмеливался говорить такую резкость, но у Андрея Александровича в разных местах были осведомляющие его «уши», и он прекрасно знал, что многие обласканные им литераторы не любили и даже... презирали его...

Нет, с Краевским, пожалуй, теперь, после смерти Валериана, не договориться о публикации новых прозаических вещей, хотя Андрей Александрович как будто по-прежнему расположен к Плещееву, ценит фельетоны и обзоры, которые Алексой продолжает писать для «Русского инвалида». Но газетная работа Плещеева Краевскому очень нужна, а печатание на страницах «Отечественных записок» прозаических опытов молодого поэта вряд ли повысит престижность журнала — только так может считать любезный Андрей Александрович.

Так куда же предложить рассказы?.. Федор Достоевский, которому Алексей читал новый рассказ «Папироска», высказал свое одобрение, отметив простоту вымысла и хороший язык рассказа, и посоветовал отдать его в «Современник», издание которого с начала 1847 года перешло от П. А. Плетнева к И. А. Некрасову и И. И. Папаеву, а номинальным редактором журнала стал профессор университета А. В. Никитенко. С Некрасовым Плещеев знаком, но... ведь в «Современнике», по сути, властвует теперь Белинский, не принявший всерьез стихотворный сборник Плещеева. Как-то он высмеет теперь беллетристические опыты его?!

Все-таки Алексей отнес «Папироску» в «Современник», а вскоре имел беседу и с Белинским, который, к его удивлению, был настроен весьма добродушно, поощрительно отозвался о рассказе и посоветовал Плещееву продолжать писать прозу. Поддержка маститого критика окрылила, и Плещеев с энтузиазмом отдается беллетристике. К тому же пробиваться через цензурные заслоны со стихами стало все труднее: не смог Алексей опубликовать свой «Новый год» — стихотворный отклик на французские революционные события 1848 года, не опубликовал и некоторые другие стихи. Проза же, как ни странно, по-видимому, подвергалась меньшему

цензурному гнету.

И вообще вторая половина 40-х годов оказалась необыкновенно «урожайной» для русской прозы: чуть ли не друг за другом выходят «Бедные люди», «Двойник», «Хозяйка» Достоевского, «Обыкновенная история» Гончарова, «Антон Горемыка» Григоровича, «Записки охотника» Тургенева, «Кто виноват?» Герцена, «Запутанное дело» и «Противоречия» Салтыкова; в Москве, на литературных вечерах, читает свою пьесу «Банкрот» А. Н. Островский — будущий «отец русской драмы», как назовет его Л. Н. Толстой.

Это был поистине взлет и неоспоримое торжество «натуральной школы» (как впервые охарактеризовал редактор газеты «Северная пчела» Фаддей Булгарин гоголевское направление в русской литературе). Белинский уже в обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» со всею категоричностью утверждал, что «натуральная школа стоит теперь на первом плане русской литературы», объясняя причину успеха произведений этого направления «воспроизведением действительности во всей ее истине», с убежденностью заявляя: «В лице писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась к самобытным источникам вдохновения и идеалов и через это сделалась и современной и русскою» — и предсказывал, что «с этого пути она, кажется, уже не сойдет», хотя и осталась временно без главы (критик имел в виду Гоголя, который после выхода первого тома «Мертвых душ» долго ничего не публиковал).

Из нового созвездия молодых талантов, заявивших о себе в 40-е годы, наибольшее внимание привлекал Достоевский, работавший к тому же необыкновенно много, чуть ли не на износ, на что и сам сетовал в одно, м из писем к брату в апреле 1847 года:

«Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невремяем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную (Белинский и его кружок. — Н. К.), и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа, — кабы покой!!»

В эти годы Достоевский публикует произведения («Хозяйка», «Двойник», «Господин Прохарчин»), вокруг которых кипят страсти, разгораются литературные споры.

Алексей Плещеев радуется успехам друга и сам работает увлеченно и интенсивно, пишет рассказы, повести, публикует на страницах петербургских газет критические статьи, рецензии...

Духовная и идейная связь Плещеева и Достоевского крепнет еще

больше. Молодые люди встречаются теперь чуть ли не каждый день: на «пятницах» у Петрашевского, на вечерах у Дурова, в газете «С.-Петербургские ведомости», заглядывают друг к другу в гости, часто вместе гуляют по Петербургу, делясь замыслами, мечтая о счастливой поре человечества, в которую оба свято верили. И не случайно свой первый рассказ «Енотовая шуба», отданный еще с благословения Валериана Майкова в «Отечественные записки» Краевского, Плещеев посвящает Федору Михайловичу Достоевскому. Рассказ этот увидел свет в октябрьской книжке журнала в 1847 году, когда Майкова уже не было в живых. Достоевский, тоже горячо любивший Валериана и знавший, какую заинтересованность проявлял Майков к прозаическим опытам Плещеева, был чрезвычайно растроган посвящением.

Вспоминая Майкова, друзья все еще никак не могли освободиться от чувства невосполнимой утраты. Достоевский сетовал, что Белинский стал относиться к нему холодно, ругая в статьях за увлечение фантастическим, за абстрактный гуманизм, нанося чувствительные щелчки по честолюбию его. Однако Федор Михайлович никак не мог согласиться с утверждениями Белинского, что в серьезной литературе не должно быть места фантастическому, и Плещеев был солидарен с другом: разве, например, мечта не имеет права быть воплощенной в литературе?

А мечта всегда фантастична, и передавать ее прихотливое течение способен только художник-психолог, говорил своему другу Плещеев, хорошо помня майковскую характеристику таланта Достоевского в статье «Нечто о русской литературе в 1846 году»: «Гоголь — поэт по преимуществу социальный, а г. Достоевский — по преимуществу психологический»... Федор Михайлович не только соглашался с такими рассуждениями Плещеева, он испытывал громадную радость, что рядом есть родная душа, столь сходно воспринимающая мир, — ведь как раз в эти дни совместных прогулок по Петербургу, в эту неповторимую пору белых ночей у него родился замысел новой повести, которую так и задумал назвать — «Белые ночи»...

Повесть «Белые ночи» Достоевский и посвятит своему другу-мечтателю Алексею Плещееву в знак благодарности и в память о незабываемой поре, освещенной возвышенными и чистыми помыслами. К тому же Федор Михайлович находил много родственного в характерах своего молодого друга и героя повести.

К этому времени и Плещеев опубликует свои новые прозаические произведения — рассказы «Папироска» в журнале «Современник», «Протекция» — в «С.-Петербургских ведомостях» и повесть «Шалость» —

в «Отечественных записках». Молодой беллетрист понимает, что на фоне ярких и сильных произведений Достоевского, Тургенева, Гончарова, Григоровича его вещи выглядели более чем скромно. Вот и брат Федора Достоевского Михаил Михайлович, посвятив рецензию Плещееву-прозаику в пятой книжке «Пантеона...» за 1848 год, тоже сдержанно оценил его первые беллетристические пробы.

«Прежде всего нам нравятся в этих рассказах легкость и непринужденность рассказа, простота вымысла и несколько насмешливый, вскользь брошенный, но не злобивый взгляд на солидную жизнь, которую видим мы с вами, почтенный читатель», — писал М. М. Достоевский. И тут же резюмировал: «Правда, его взгляд не проникает в самую глубь этой жизни в разрозненных ее явлениях, не стремится отыскать одной полной, потрясающей своим пафосом картины, но тем легче для нас с вами, читатель. Потому-то. может быть, нам так и правится этот насмешливый взгляд на нашу солидность и наши слабости... Мы рады появлению в нашей литературе такого легкого дарования, до того рады, что нам было бы жаль, если бы автор, изменив своему невзыскательному роду, захотел попробовать свои силы в более серьезном роде. После такого прекрасного начала и солидные и несолидные читатели вправе ожидать от г. Плещеева труда более обширного, но в такой же легкой и занимательной форме».

Алексей соглашался с оценкой М. Достоевского, но его несколько смутила ироническая рекомендация рецензента не пробовать силы «в серьезном жанре». Неужели его участь — изображать занимательные истории и только? Однако в той же «Шалости» читатель найдет, пожалуй, и нечто серьезное — и в судьбе героини повести, и в судьбе ее брата — мечтателя Ивельева. Или вся серьезность поглощена занимательностью, и читатель не улавливает той неподдельной любви к простому человеку, которую автор стремился показать?..

«Нет, Михаил Михайлович, я все-таки постараюсь в новом «обширном труде» попробовать свои силы и в «серьезном роде», — мысленно возражал Плещеев своему доброжелательному критику.

Он и действительно в скором времени напишет новую новость «Дружеские советы», в которой при всей занимательности сюжета поставит весьма тревожные социальные проблемы. Повесть эта явилась в какой-то мере ответом Плещеева на посвящение ему Ф. М. Достоевским «Белых ночей», ответом с определенным намеком.

Когда Плещеев писал свою повесть, в мире произошло очень важное событие, заставившее несколько под другим углом взглянуть на утопические идеалы, романтические иллюзии даже самых неисправимых

мечтателей — то была французская революция 1848 года. Революция эта, взбудоражившая пол-Европы (следом за ней происходят революции в Германии, Австрии, Венгрии, Италии), поставила и перед русскими мечтателями и поборниками свободы, равенства и братства вопрос о решительной необходимости перемены в российской действительности, о практическом решении социально-экономических и политических проблем.

Может быть, под впечатлением возбужденных споров, что происходили на квартире у Петрашевского, Плещеев и взглянул на главного героя своей повести молодого романтика Ломтева более критически.

Да, Ломтев, безусловно, натура благородная, честная, бескорыстная. И страстная. Но куда расходятся эти прекрасные задатки?.. В практической деятельности Ломтев оказывается абсолютно беспомощным, и все его благородные порывы не идут дальше мечтаний, вызывая у автора не только сочувствие, но и определенную иронию...

Но как же все-таки перейти от мечтаний к делу? Вот Алексей Плещеев вместе с Николаем Мордвиновым взялись наконец за перевод «Слова верующего» Ф. Ламенне — это дело? Пожалуй, по все же не основное в столь важное время. Завести типографский станок, чтобы печатать на нем запрещенные сочинения? Это, конечно, очень важно...

И вместе с тем Алексея не покидают, увы, совсем несерьезные мечты и планы: на одной из «пятниц» у Петрашевского он высказывает идею о создании книги типа антологии анекдотов об ученых мира сего (сам он, еще на вечерах у Бекетовых и Майковых, любил рассказывать занимательные сюжеты о петербургских профессорах, и рассказы его всегда пользовались успехом), чем вызвал явное неудовольствие хозяина дома.

Впрочем, к Петрашевскому он стал приходить в последнее время реже. И не только он один. Споры на «пятницах» у Михаила Васильевича обрели нервный характер после февральских событий 1848 года во Франции.

Разнеслись слухи, что одно очень высокое (если не самое высокое) лицо, узнав о революции в Париже, объявило на офицерском балу о возможном приказе для господ офицеров седлать лошадей... А в середине марта государь император в своем манифесте строго заявил: «Мы готовы встретить врагов наших, где бы, они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашею Русью, защищать честь имени русского и неприкосновенность предков наших». Это было предупреждение, за которым незамедлительно приступили к действиям те, кому особенно претила «лжеименная мудрость иноземная», как говорилось

в манифесте.

Правда, первыми жертвами ретивых слуг монарха должны стать не непосредственные «пропагаторы» иноземных учений (того же фурьеризма), а свои «доморощенные» социалисты во главе с Белинским, которому еще задолго до революционного взрыва 1848 года комендант Петропавловской крепости вежливо намекал о приготовленном «тепленьком казематике».

Но «русский Робеспьер» тяжело заболел и уехал в заграничное путешествие. Из Европы Белинский вернулся, увы, ничуть не окрепшим, и жизнь его неумолимо шла к закату, хотя сильный и страстный голос его, раздававшийся со страниц «Современника», по-прежнему волновал умы и сердца думающих русских людей, и казалось, что голос этот будет еще долго пробуждать дремлющих, звать «на подвиг доблестный» разбуженных... А случилось непоправимое: 24 мая 1848 года Белинский скончался...

Громадность утраты, особенно для молодого поколения русской интеллигенции, была невосполнимой: все ясно сознавали, что из жизни ушел не только один из вождей литературы, первый ее критик, но и беспощадный боец за великие идеалы равенства, братства и свободы, учитель, проповедник, горячий патриот, неутомимый искатель истины, великий гражданин.

«Свобода творчества легко согласуется с служением современности, для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазию; для этого нужно только быть гражданином, сыном своего общества и своей эпохи, усвоить себе его интересы, слить свои стремления с его стремлением; для этого нужна симпатия, любовь, здоровое практическое чувство истины, которое не отделяет убеждения от дела, сочинения от жизни», — провозглашал Виссарион Григорьевич, и многие из деятелей русской культуры не просто прислушивались к этому призыву, но и следовали ему в практической деятельности. «Мы все — молодежь сороковых годов — были под влиянием его статей, зачитывались ими, пропитывались их идеями, и уже за эти статьи горячо любили его», — вспомнит позднее Плещеев в беседе с Д. П. Сильчевским, известным библиофилом и журналистом, о роли Белинского в 40-е годы.

Смерть Белинского, по сути, «спасла» его от тюрьмы, а другие из окружения критика либо к тому времени идейно разошлись с ним (как Достоевский), либо не давали прямого повода для обвинения в крамоле, ибо Белинский, предупрежденный III Отделением, не только сам уничтожил, по словам одного из ближайших его друзей — Н. Некрасова, «перед смертью своею все, что казалось ему делом молодости», но и

настоятельно, видимо, посоветовал проделать то же самое друзьям...

Одной из первых жертв реакции на французский «гром» 1848 года стал молодой, мало кому известный литератор Салтыков, опубликовавший в мартовской книжке «Отечественных записок» повесть «Запутанное дело» за подписью М. С. Идею повести сочли неблагожелательной, и автора выслали из Петербурга в Вятку.

Салтыкова изредка встречали в доме Петрашевского, известие о его участии встревожило посетителей «пятниц», но не настолько, чтобы можно было сделать какие-то предостерегающие выводы. Салтыков особо близко ни с кем не сходил, держался особняком, на собраниях больше молчал.

Но Плещеева всегда привлекали острый ум, независимость суждений мрачноватого Салтыкова, и Алексей неоднократно пытался установить с ним дружеские отношения^[25].

Собирались в доме на Покровской площади, как и прежде, довольно регулярно, но что-то в поведении посетителей изменилось. Возникли не то отчужденность, не то даже недоверие друг к другу, что особенно проявилось после одного яростного спора хозяина дома с Федором Достоевским об И. А. Крылове. Достоевский темпераментно говорил о баснописце как о великом художнике, подлинно народном поэте, Петрашевский же пытался принизить значение Крылова, что вызвало резкий протест и со стороны других литераторов, присутствующих при этом споре, — Дурова, Пальма и некоторых других. Произошло негласное размежевание — одни: Львов, Момбелли, Николай Григорьев, Спешнев, Петрашевский — хотели уделять внимание исключительно политическим вопросам, а другие: Достоевский, Дуров, Пальм, Плещеев — склонялись к расширению тематического круга за счет культурных, литературных дискуссий.

Но и обсуждению политических вопросов собиравшиеся у Дурова, а иногда и у Плещеева «эстетика», как их однажды назвал Спешнев, уделяли много времени, хотя далеко не все из них отчетливо представляли практическую возможность осуществления своих политических программ^[26].

Сам Петрашевский ратовал за легальные формы преобразования общественного строя, что вызывало решительное несогласие Спешнева, который в связи с революцией иными событиями на Западе еще более укрепился в мысли о необходимости вооруженного восстания. Спешнева поддерживали Филиппов, Николай Григорьев, написавший «Солдатскую беседу», в которой призывал к обязательной борьбе крестьян за волю, и

отчасти Достоевский, который постепенно отходил от иллюзии, что освобождение крестьян может произойти только «по манию царя»; а с Достоевским во многом, если не сказать почти во всем, солидаризировались Дуров и Плещеев.

Плещеев и Достоевский предлагают Спешневу создать новый кружок и отмежеваться от Петрашевского, мотивируя тем, что в доме на Покровской часто собираются почти незнакомые люди и «ни о чем не говорят, как о предметах ученых». Спешнев соглашается, и несколько предварительных собраний члены будущего кружка проводят на квартире Плещеева. Эго были люди, довольно хорошо знавшие друг друга: Дуров, Пальм, Плещеев, братья Михаил и Федор Достоевские, Филиппов, Николай Григорьев, Спешнев. Заходил один раз и Петрашевский.

Однако и здесь полного единодушия, видимо, все-таки не было, что и дало повод Спешневу назвать многих членов нового кружка «робкими людьми»...

Регулярно собираться договорились у Дурова и Пальма, где, как говорил Достоевский, «было всего удобнее». Это был, по сути, литературный кружок, так как подавляющее большинство его членов занималось профессиональной литературной деятельностью. Сюда нередко заглядывали люди, имеющие самое отдаленное отношение к идеям «старых» петрашевцев, например, весной 1849 года дом на Гороховой посетил композитор Михаил Иванович Глинка, вернувшийся из-за границы, и сыграл молодым людям некоторые свои сочинения.

Литературные проблемы обсуждались на вечерах у Дурова куда более оживленно, чем у Петрашевского, это, конечно, удовлетворяло многих посетителей, но несколько угнетал сам факт «раскола» центрального кружка — от него вслед за первой группой, что собиралась на квартире Дурова и Пальма, отделилась еще одна, проводившая свои заседания на квартире у Н. С. Кашкина, служащего министерства иностранных дел. Здесь наиболее видную роль играли старые приятели Плещеева по университету Александр Ханыков и Дмитрий Ахшарумов.

Первые четыре вечера у Дурова и Пальма были в основном посвящены проблемам искусства, литературы, но затем Николай Филиппов предложил заняться, помимо литературных тем, «общими силами изучением современного состояния России в юридическом и административном отношении» с распределением между членами кружка определенных функций. В частности, Дуров взял на себя часть законодательную, Достоевский — изучение социализма. Плещеев, по всей вероятности, никаких конкретных поручений в плане предложений Филиппова не

получил, так как собирался выехать в Москву по домашним делам. Однако не исключена возможность, что члены кружка дали ему на время поездки определенные задания — ведь именно из Москвы Плещеев прислал на имя Достоевского «Переписку Белинского с Гоголем», обещал он также прислать петербургским друзьям и комедию Тургенева «Нахлебник», но явилось ли это исполнением задания или принадлежало собственной инициативе — судить трудно.

Н. А. Спешнев настойчиво добивался создания подпольной типографии, чтобы издавать запрещенные книги. Тут его поддерживали все, литераторы-кружковцы намеревались даже выпускать литературный сборник, в который можно было бы включать и собственные сочинения, и сочинения, запрещенные цензурой.

К созданию сборника Достоевский стремился привлечь даже Аполлона Майкова, поэта, автора известной книги «Очерки Рима», о которой Алексей Плещеев писал в «С.-Петербургских ведомостях». Аполлон Майков, одно время тоже посещавший дом Петрашевского, на этот раз категорически отказался сотрудничать с литературными фурьеристами. «А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я доказывал легкомыслие, беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель... И помню я, Достоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти Отечество, и пр...», — вспоминал впоследствии Ап. Майков в письме П. А. Висковатову...

В начале марта 1849 года Плещеев выезжает в Москву, которую не видел много лет — с тех самых пор, когда вместе с матерью останавливались у тетки по дороге из Нижнего в Питер. Тогда он, совсем еще мальчик, все дни, проведенные в Москве, не переставал дивиться необычной красоте московских улиц и площадей, ее калейдоскопической соборности... Как-то покажется ему древняя столица нынче? Но еще до приезда в Москву молодой поэт целиком поглощен дорожными впечатлениями, которыми делится с Ф. М. Достоевским в письме:

«Любезный мой Федор Михайлович!.. Я уже давно никуда не ездил из Петербурга, и поэтому дорога показалась мне менее скучной, чем я ожидал. Дни все стояли хорошие, и мне даже было весело смотреть на снежные пустыни, говоря пиитическим слогом, на деревушки и уездные городки. Впечатления были все для меня новы. Только однажды почувствовал я несказанную тоску, проезжая через Валдай. Утро было серое, пасмурное, холодное, метель страшная... На беду еще карета завязла в ухабе, и я

несколько минут созерцал в мутное стекло при свисте и завывании ветра этот отвратительный, пустынный, грязный городишко. Ни одного здания нет, которое бы не покривилось, не занесено было бы снегом до половины. Невольную грусть наводит этот вид разрушения, особенно как подумаешь, что за люди живут тут...

В Новгороде напрасно старался я рассмотреть хоть одно здание, которого архитектура напоминала бы древность, — всюду форма казарм и никакой другой. Только стены городские, почерневшие от веков, да две[^]три церкви несколько пахнут прошедшим. Красивее всех городов, лежащих на этой дороге, — Тверь... Узнал я, что в Твери очень весело живут, что там есть театр, и большая часть актеров все коллежские асессоры, которые только по страсти к искусству этим занимаются...»

После столь иронических «восторгов» русскими городами Плещеев сообщает о дорожных попутчиках, от коих узнает о «состоянии крестьян», делится первыми впечатлениями о встрече в Москве с литератором и историком словесности Галаховым и знаменитым артистом Щепкиным. И тут же с определенной горделивостью мимоходом сообщает Достоевскому, что отказался от знакомства с одним из виднейших славянофилов — Хомяковым, полагая, видимо, что такой «жест» получит полное одобрение друга — ведь петербургские «западники» по-прежнему относились к славянофилам враждебно, считали единственными защитниками народа только тех, кто разделял западноевропейские идеалы.

В отрицательном отношении петербургских «западников» к московским славянофилам было много предвзятого, предубежденного, возникающего от незнания, что со всей определенностью проявилось и в плещеевских письмах к друзьям. В письме к С. Ф. Дурову от 26 марта 1849 года Алексей язвительно отзывается о фанатизме Константина Аксакова («...носит зипун, штаны в сапоги и ходит в церковь едва ли не всякий день... Отца он тоже обратил, и отец в таком же платье ходит»); пишут, что и другие славянофилы (Хомяков, Ю. Самарин) тоже якобы недалеко ушли от Аксакова в своих странностях и причудах. В этих иронических отзывах Плещеева о славянофильских деятелях все-таки нет явной неприязни, видимо, сам поэт не испытывал личной враждебности к этим людям — недаром же впоследствии, после ссылки, он подружится и с Константином и с Иваном Аксаковыми. Но верность «кружковской» позиции в данный момент «обязывала» его видеть в них противников, достойных иронического восприятия.

Зато к редакторам-издателям журнала «Москвитянин» М. П. Погдину и С. П. Шевыреву, консерватизм которых петербургские «западники»

считали чуть ли не последней степенью ретроградства, Плещеев, если судить по тому же письму к Дурову, относится с открытой враждебностью: «Но так же любим всеми Грановский, так презираем профессор Шевырев — педант и низкопоклонник, друг всех генерал-губернаторов... Даже всем обществом московским Шевырев и Погодин презираемы, как у нас Булгарин и Греч, да и невелика между ними разница», — возмущается он, называет группу Погодина — Шевырева «подлой» — это уже не ироническая насмешка.

И самое странное, что знакомство с москвичами, которых молодой представитель петербургской партии так категорически обругивает, было либо «шапочное», либо заочное: «А Погодина я, к счастью, не видел», — сообщает Плещеев Дурову.

А вот те, кто придерживается взглядов более или менее приемлемых для плещеевских петербургских сподвижников, — те же московские «западники», профессора истории Н. Т. Грановский и Н. С. Кудрявцев — удостоены высоких похвал, противопоставлены Погодину и Шевыреву как любимцы общества... Да, что не скажешь в порыве «благородного негодования», хотя и признаешь потом пристрастность этого порыва — известно же было петербуржцам, несмотря на их действительно ограниченную осведомленность, что разница между Булгариным и Гречем, с одной стороны, и Погодиным и Шевыревым, с другой, весьма существенная, что издатели «Москвитянина» при всем их консерватизме были принципиальными, честными, даровитыми литераторами, неоднократно выступавшими против «торговой» булгаринской журналистики. что авторитет их в литературных кругах Москвы был высок, и уже поэтому вряд ли они могли быть «всем обществом московским... презираемы». Но ведь они яростно выступают против «западного влияния» на русское общество и литературу, толкуют о неразрывном единстве царя и народа, а потому и — «подлые»...

О церемонии встречи царской семьи в Москве тоже подробно информирует петербургских друзей Плещеев, сообщает Достоевскому, что «царь и двор встречают здесь очень мало симпатии...». И добавляет: «Даже народ как-то не изъявляет особенной симпатии. В первый день приезда царицы я видел ее на гулянье. «Ура!» кричали одни мальчишки. Это без преувеличения». То есть и здесь Плещеев стремится опровергнуть утверждения Погодина и Шевырева о единстве царя и народа, хотя говорит об этом уже не так категорично, зная, что его друг тоже не сторонник противопоставления царя народу...

Впрочем, и сам Плещеев, видимо, не был «законченным»

республиканцем: в письме неизвестному лицу от 25 апреля Алексей, делаясь впечатлениями от просмотренного спектакля «Горе от ума», неожиданно поет дифирамбы царю, приписывая ему даже идею освобождения крестьян... Возможно, убеждения поэта... зависели еще и от настроения, хотя все эти славословия в адрес царя сделаны, вероятнее всего, в конспиративных целях.

А настроения менялись часто. Вот в письме Дурову Плещеев жалуется на вялость проводимого в Москве времени, а потому и город ему кажется не совсем приглядным. Однако в другом письме Достоевскому — в письме, к которому была приложена тетрадь, озаглавленная «Корреспонденция Г... ля с Б...м», то есть «Письмо Белинского к Гоголю», написанное в июле 1847 года из Зальцбрунна, и ответ Гоголя Белинскому из Остенде от 10 августа того же года, — Плещеев замечает: «...что сказать о первопрестольном граде? С виду он очень красив, беспрестанно открываются взору живописные местности, перспективы, возвышенности. На улицах жизни больше, чем в Петербурге».

Поселился Алексей в Москве у тетки, которая была обеспокоена, что племянник не очень-то торопится исполнять то, ради чего, как она полагала, приехал в Москву: вместе с двоюродным братом, отставным генерал-майором Плещеевым, договориться о поездке в Одессу для лечения морскими ваннами болезни глаз. Но московские дела настолько захватили его, что ни о какой поездке в Одессу и не думалось. Надо успеть побывать и на церемонии встречи москвичей с царем, и на лекциях профессора С. М. Соловьева, посвященных «интересным разделам курса отечественной науки», встретиться с профессором Т. Н. Грановским, пригласившим молодого поэта в гости, со студентами университета, обещавшими Плещееву передать, помимо «Письма Белинского к Гоголю», еще некоторые запретные сочинения: «Нахлебник» Тургенева, «Перед грозой» Герцена. Надо нанести визиты М. С. Щепкину, Н. П. Кудрявцеву и поскорее переслать в Петербург друзьям полученную корреспонденцию...

А в это время в Петербурге многие из знакомых Алексея Плещеева продолжают регулярно собираться по вечерам как у Дурова, так и у Петрашевского. Более того: у кружковцев наступило нечто вроде примирения-перемирия, вызванного в первую очередь чтением переписки Белинского с Гоголем, которую Алексей Плещеев прислал в Петербург на имя Федора Достоевского. Когда Петрашевский, зайдя на квартиру Дурова и Пальма, узнал об этой плещеевской посылке, он попросил Федора Михайловича приехать к нему, Петрашевскому, на очередную «пятницу» и

прочитать эту переписку, то есть «Письмо Белинского к Гоголю». Достоевский с готовностью согласился и 15 апреля 1849 года в доме на Покровской площади при внимательном слушании двадцати собравшихся прочитал страстный призыв покойного критика к «пробуждению в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и неволе...»

Впечатление от чтения было огромным, все высказали живейшее желание принять самое активное участие в практической реализации заветов Виссариона. Кто-то внес предложение о размножении переписки, если не литографическим способом, то хотя бы переписыванием в нескольких экземплярах, и это предложение было горячо поддержано.

Однако дни их свободной жизни были сочтены, и все порывы останутся в памяти цепью «горестных утрат и досадных разочарований». За хозяином дома уже более трех лет — со времени выхода «Карманного словаря иностранных слов» — вел наблюдение один из видных сановников министерства внутренних дел Липранди, который еще с 1848 года приставил к Петрашевскому провокатора — агента № 1 большеносого блондина Антонелли. Этот Антонелли, устроенный на службу в тот же департамент, где служил Петрашевский, довольно скоро вошел в доверие к Михаилу Васильевичу, стал посещать его «пятницы», познакомился со многими наиболее видными кружковцами из тех, кто собирался у Петрашевского в последние годы, и уже вскоре после сближения с — Петрашевским доносил Липранди: «...известное лицо» (так конспиративно он именовал Михаила Васильевича) считает, что только «одно правительство республиканское представительное достойно человека», что «перемена правительства нужна, необходима для нас». Сам Петрашевский, если верить воспоминаниям Ахшарумова, будто бы заподозрил Антонелли, чересчур старательно рвущегося к приятельству со всеми, но дальше субъективного недоверия, видимо, не пошел, был даже незадолго до ареста на новоселье у Антонелли.

Наблюдение за Петрашевским и посетителями его дома держалось в большой тайне, о результатах наблюдения Липранди докладывал непосредственно шефу III Отделения графу Орлову, даже всемогущий генерал Дубельт ничего не знал о «деле» почти до самого ареста петрашевцев.

21 апреля 1849 года государь император «благословил» министра внутренних дел Перовского и шефа жандармов Орлова «приступить к арестованию», те, в свою очередь, дали соответствующие «благословения» Липранди и Дубельту, и ночью с 22 на 23 апреля 1849 года 43 человека из

посетителей кружков Петрашевского, Дурова, Пашкина были арестованы и доставлены к дому на Фонтанке у Цепного моста — в III Отделение.

Тогда же, 23 апреля, в Москву отправляется срочное и «весьма секретное» предписание «о немедленном и внезапном арестовании литератора Плещеева». 28 апреля Плещеев в сопровождении специального фельдъегеря был отправлен в Петербург, а 2 мая препровожден в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

«КРЕПОСТНОЕ» ДЕСЯТИЛЕТИЕ

*Души мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.*

Николай Некрасов. Последние элегии

Из сорока трех арестованных петрашевцев Алексей Плещеев был доставлен в Петропавловскую крепость одним из последних. В Алексеевском рavelине, куда он был определен в куртину № 1, уже находились Петрашевский, Достоевский, Дуров, Баласогло... Поселили Алексея среди главных «преступников» (даже Николай Спешнев первый месяц провел в Никольской куртине, куда определяли «второстепенных» вроде Пальма, Кузьмина и некоторых других), видимо, потому, что рассматривали его поездку в Москву как важное задание всей организации. Кроме того, еще в начале 1849 года Антонелли доносил Липранди, что Петрашевский очень дружен с Плещеевым и часто с ним видится — все это и определило место Алексея среди главных обитателей крепости.

Так началось для Алексея Плещеева удручающее «крепостное» десятилетие, если включить в него время, которое поэт проведет либо в крепостях — сначала в тюремных, потом в солдатских, — либо возле них, служа в Оренбургской пограничной комиссии вплоть до 1859 года.

Алексеевский ravelин, за стенами которого располагалось двадцать одиночных камер, уже имел свою более чем столетнюю историю (укрепление было заложено в 1733 году императрицей Анной Иоанновной в честь деда — царя Алексея Михайловича): в его камерах прежде «гостили» Радищев, декабристы, участники польского восстания 1830–1831 годов.

С начала мая начались вызовы в военно-следственную комиссию, созданную по делу арестованных. Комиссию возглавил сам комендант крепости генерал Набоков. Среди членов ее были генерал Дубельт, князь Гагарин, генерал Ростовцев — тот самый, что донес Николаю I о готовящемся восстании войск 14 декабря 1825 года (Ростовцев был деятельным членом Северного декабристского общества). Работала комиссия в комендантском доме. Чуть ли не каждодневные вызовы были в первый месяц, потом реже, а в последние недели до самого дня суда

Алексея не приводили в комиссию вовсе, и это особенно угнетало — уединение в камере казалось нескончаемой пыткой.

После первого же вызова в комиссию с Алексея потребовали подробных объяснений о его поездке в Москву и о петербургских знакомых. Плещеев догадывался, что, коль комиссию заинтересовало сразу же его московское путешествие, то именно где-то здесь лежит главная зацепка для его обвинения. Поэтому он обстоятельно мотивировал вынужденность поездки в первопрестольную, а именно: двоюродный брат его, постоянно живущий с матерью в своей деревне под Москвой и оказавшийся проездом в Петербурге, предложил Алексею совместную поездку в Крым, куда Плещеев собирался летом и сам, так как у него обострилась глазная болезнь, и врачи постоянно рекомендовали ему морские ванны. А помимо этого, Плещеев принял предложение двоюродного брата еще и потому, «что давно имел желание повидаться с теткой, живущей в Москве, с которой не виделся около девяти лет».

Что же касается его знакомств в Петербурге, то Плещеев назвал среди людей, с которыми находился в наиболее коротких отношениях, Николая Мордвинова, братьев Достоевских, Сергея Дурова, Александра Пальма, Петра Веревкина, находящегося в это время на лечении за границей. Остальных же, среди которых упомянуто имя Буташевича-Петрашевского, Плещеев назвал просто знакомыми. В объяснении поэт умышленно уменьшил срок своего знакомства с Петрашевским до трех лет, хотя знаком был с ним почти полных четыре года.

На вопрос следственной комиссии, с каких пор проявились у него «либеральные или социальные направления» мыслей, Плещеев отвечал: «В прошлом году случилось мне прочесть несколько книг подобного рода, действительно возбудивших во мне разные вопросы, но определенного, систематического направления я не имел, то есть не почитал себя последователем той или другой системы».

Давая такие ответы, Плещеев, естественно, не очень-то надеялся, что они убедят членов следственной комиссии, так как понимал, что комиссия достаточно хорошо осведомлена о политических убеждениях арестованных. И все-таки он продолжал настаивать на своих ответах. Отрицал политический характер собраний в своем доме, хотя и не предвидел, что в пользу этого утверждения дал показания Николай Спешнев, заявивший следственной комиссии, что «как салон Кашкина, так и Плещеева имели очень эфемерное существование: каких-нибудь месяца два».

Но некоторые из других обвиняемых признались, что и на квартире

Плещеева, как и в доме Петрашевского, велись философские и политические разговоры, излагалось учение Фурье, в частности Н. Я. Данилевским, а сам Данилевский (тот самый будущий знаменитый публицист, автор нашедшей работы «Россия и Европа») заявил, что на вечере у Плещеева однажды обсуждалось предложение Спешнева о печатании за границей работ петербургских литераторов, но практически из этого ничего не вышло.

А друг детства Плещеева поручик Николай Григорьев прямо сказал на следствии, что собрания у Плещеева носили «характер социально-политический» и что «социалисты завербовали Плещеева в ученики». Впрочем, у членов следственной комиссии и бее показаний Григорьева имелся факт, неоспоримо доказывающий противоправительственный поступок обвиняемого Плещеева — пересылка им в Петербург из Москвы «преступного письма» литератора Белинского к Гоголю.

В самом деле: мог ли преданный государю императору человек (если верить тому плещеевскому письму накануне ареста, в котором царю приписывалась идея освобождения крестьян) считать безобидным и достойным распространения возмутительное письмо, в котором чуть ли не в каждой строчке — прямой призыв к изменению существующего порядка: «...самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отмена телесного наказания, введение, по возможности, строгого выполнения хотя тех законов, которые уже есть... Нет, восторгаться таким письмом, в котором русские писатели именуются защитниками и спасителями «от мрака самодержавия, православия и народности», не только непозволительно, но и просто преступно, тут скорее дело вовсе не в особенностях психологического склада, юношеской экзальтированности, молодой горячности. Здесь уже проглядывается убеждение, в основе которого та самая французская социалистическая зараза, которую те же гг. Петрашевский и Достоевский пытаются представить чуть ли не благодетельницей человечества». Председатель комиссии по разбору бумаг арестованных князь Гагарин, вытирая платком свою лысину, искоса бросил взгляд на допрашиваемого Алексея Плещеева и резко спросил:

— Скажите, милостивый государь, как вы расцениваете деятельность покойного литератора Белинского? Вы, вероятно, считаете ее весьма полезной Отечеству?

Плещеев понимал, что от его ответа, может быть, будет зависеть и будущая судьба его, что скажи он сейчас... ну хотя бы о своей неприязни к Белинскому, подкрепив ее даже фактическими примерами (а был такой

косвенный, когда Алексей провозглашал в «Русском инвалиде» Валериана Майкова лучшим критиком России) «диктаторства», «бездоказательности» статей покойного Виссариона Григорьевича, наклонностями к «смутьянству» и т. д. — члены комиссии могут отнести к судьбе Алексея более благосклонно.

Плещеев оглядел членов комиссии: Гагарин улыбался, Набоков выглядел равнодушно-невозмутимым, Дубельт полувнимательно слушал что-то нашептывающего ему Ростовцева.

— Считаю себя в какой-то мере причастным к современной литературе, не могу отрицать благотворного воздействия Белинского на многих русских литераторов, вступивших на творческую дорогу в наше десятилетие. Прежде всего этим и должно мерить степень пользы или вреда Белинского для Отечества, — тихо произнес допрашиваемый.

— Что ж, по крайней мере в вашем ответе нет лукавства. — Князь Гагарин переглянулся с другими членами комиссии и не проронил больше ни слова.

После еще ряда вопросов, заданных Дубельтом и касающихся встреч с московскими литераторами и журналистами, офицер, приставленный к Плещееву, сопровождал Алексея Николаевича в Алексеевский рavelин...

Потекли дни, похожие один на другой: четыре стены камеры с единственным окном, почти целиком покрашенным, кроме небольшой полоски в верхней части (про эту полоску и писал Петрашевский в прошении следственной комиссии, требуя разрешения для арестованных «глядеть... на мимо летящих ворон в верхнюю частицу окна»), изнурительное лежание на деревянной кровати в арестантском платье — холщовая рубашка и штаны, халат из толстого шинельного сукна. Никаких прогулок, никаких книг, никаких свиданий. Книжки, к радости заключенных, вскоре все-таки разрешили, и чтение их главным образом и помогало скрашивать время.

Плещеев продолжал числиться в списке главных обвиняемых, оставаясь в камере Алексеевского рavelина, хотя ему и не вменялось в вину особо опасных деяний против правительства, как Петрашевскому, Сиешневу, Львову, Момбелли или Григорьеву. Но и виновность его считалась неоспоримой, в отличие от некоторых, освобожденных летом и осенью 1849 года «с высочайшего разрешения» по причине недоказанности их вины — Михаила Достоевского, Щелкова, Порфирия Ламанского и даже — Александра Баласогло, освобожденного в ноябре и высланного на службу в Олонецкую губернию «за дерзость против своих начальников».

Дни проходили за днями, недели за неделями. Теперь на допросы

почти не «приглашали», до самой глубокой осени, а когда снова доставили в белый комендантский дом, то Плещеев понял, что вызов этот не совсем обычный: в зале, куда его ввели, за внушительным длинным столом, покрытым бордовым сукном, сидели почти незнакомые ему по прежним допросам люди. В центре, на высоком кресле, сидел генерал в казачьей форме, белая папаха, лежащая перед ним, невольно останавливала на себе взор каждого входящего — то был председатель военно-судной комиссии генерал от кавалерии В. А. Перовский, брат министра внутренних дел, бывший оренбургский генерал-губернатор.

Перовский возглавил новую, учрежденную 24 сентября взамен военно-следственной (следствие фактически было завершено уже 17 сентября) военно-судную комиссию, надо сказать, без особой охоты: император повелел судить преступников по Полевому уголовному уложению, то есть по своду законов военного времени, составленному в войну двенадцатого года, и Перовскому, участнику Отечественной войны, трудно было понять «высочайший каприз». Вскоре, правда, военный министр князь Чернышев «разъяснил» Перовскому причину столь необычного суда в мирное время... Кроме того, среди подсудимых было много литераторов, и Перовскому не очень-то льстило положение верховного судьи над ними, ибо... он питал к отечественной словесности неподдельную любовь, прекрасно знал ее, дружил со многими виднейшими русскими писателями. Конечно, противоправительственные намерения арестованных литераторов Перовский глубоко осуждал. Но одно дело — осуждать в душе, и совсем другое — вершить судебный приговор...

Мог ли предполагать тогда Алексей Плещеев, что и в его будущем этот казачий генерал сыграет немалую роль?! Арестованного попросили подойти ближе к стене, где стоял другой небольшой столик, на котором лежала синяя папка, — то была часть многотомного дела о петрашевцах, посвященная ему, «неслужащему дворянину А. Н. Плещееву». Здесь же лежала стопка бумаги, перья возле чернильницы. Аудитор — секретарь военно-судной комиссии — зачитал Плещееву нечто вроде сообщения-приказания о том, что военно-судная комиссия (утвержденная для суда по полевым законам!) предлагает арестованному дать в оправдание своей вины какие-либо дополнительные сведения к ранее данным следственной комиссии. Плещеев никаких оправдательных сведений дать не мог, да и понимал, что фактически от него этого и не требуется, что это лишь формальная процедура. Перовский велел ему взять со столика верхний лист, прочитать и подписать. Нерешительно Алексей взял лист, прочитал: «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего не могу привести

в свое оправдание» и так же нерешительно обмакнул перо в чернильницу и подписался...

Морозным утром 22 декабря 1848 года Алексей Плещеев был разбужен, ему подали платье, в котором был арестован в Москве, и приказали поживее переодеться.

«Неужели свобода?» Сердце его учащенно забилося. Однако столь радостную мысль сразу же пришлось отбросить, как только его вывели во двор крепости. Он увидел возле комендантского дома множество крытых карет и отряд конных жандармов. Больше ничего разглядеть не успел, так как был почти насильно втолкнут в одну из карет, рядом с ним сел солдат, и карета тронулась вместе с другими, стоящими рядом. Отряд жандармов с саблями наголо тронулся следом. Плещеева с товарищами — он догадался, что в других каретах были они, — везли к Семеновскому плацу через Неву, Знаменскую и Лиговку. Часам к восьми утра двадцать одна карета в сопровождении конного отряда жандармов подъехала к заснеженной площади гвардейского Семеновского полка. На валу плаца толпился народ, а сама площадь была окружена войсками. В центре площади возвышался эшафот, а возле него — вкопанные в землю три грубоотесанных столба.

Когда Плещеев в сопровождении солдата вышел из кареты и огляделся, то раньше эшафота и столбов он заметил знакомых и близких людей, которых не видел целых десять месяцев — со дня его отъезда в Москву: Федор Достоевский, Дуров, Пальм, Ахшарумов... Не знал он, что Пальм и Ахшарумов, не выдержав одиночного заключения, издерганные допросами, принесли раскаяния «в необдуманых поступках». Ахшарумов даже обращался к Николаю I с просьбой о помиловании... Обросшие, исхудавшие, бросились они друг к другу, но появившийся генерал прервал их трогательную встречу, приказал построить всех в одну шеренгу. На эшафот повели вдоль рядов войск: первым поставили Петрашевского, последним — Пальма. Войскам дали команду «На караул!», а арестованным «Шапки долой!». Перед каждым арестованным в отдельности зачитали смертный приговор, затем под барабанный бой начался обряд приготовления к казни.

«Дали приложиться к кресту, переломили над головами шпаги и устроили наш предсмертный туалет (белые рубахи). Затем троих поставили к столбу для исполнения казни. Я стоял шестым, вызывали по трое, следовательно, я был во второй очереди, и жить мне оставалось не более минуты... Я успел... обнять Плещеева, Дурова, которые были возле, и проститься с ними. Наконец ударили отбой, привязанных к столбу провели

назад, и нам прочли, что его императорское величество дарует нам жизнь. Затем последовали настоящие приговоры...» — описал в тот же день жуткий маскарад с казнью на Семеновском плацу Ф. М. Достоевский в письме к брату Михаилу.

Плещев об этих минутах вспоминал позднее: «Сначала у меня, не скрою, упала душа, и я был близок к обморочному состоянию; продолжалось это очень недолго, а потом овладела мною невероятно болезненная апатия».

Обморочное состояние можно понять: жить оставалось считанные минуты, и вдруг... среди стоящих на валу плаца сотен людей Алексей узнал свою мать. «Или померещилось? Нет, пет, он ничуть не ошибся: да, это она, мама — самый родной, самый-самый близкий человек... Господи, как опа оказалась тут?.. Зачем?.. Неужели меня расстреляют на ее глазах?.. Нет, надо закричать, чтобы уходила... мама, родная!!» Кажется, не закричал, впал в забытие, а когда пришел в себя, то уже не мог разглядеть в толпе дорогое лицо... И все стало безразлично...

Первые трое из привязанных к столбам, о которых упоминает Достоевский, были Петрашевский, Момбелли и Григорьев. Рядом с Достоевским стояли Дуров и Плещев, ожидавшие второй очереди в числе наиболее «опасных» преступников.

А вот окончательный приговор оказался для Плевцова более мягким по сравнению с некоторыми другими: Петрашевский был приговорен к бессрочной каторге, Григорьев (тоже, как оказалось, покаявшийся во время следствия) — к 15 годам, Львов и Момбелли — к 12, Достоевский — к «четырёхлетней каторжной работе в крепости, а потом в рядовые...». Для Плевцова же окончательный приговор, утверждённый императором, гласил:

«По высочайшей конфирмации за участие в преступных замыслах, происходящих у Буташевича-Петрашевского, и другие противозаконные поступки, во внимание к молодым летам лишить всех прав состояния и отдать на службу в отдельный Оренбургский корпус рядовым».

После объявления осужденным приговора — из 21 человека был помилован один Пальм, которого переводили из гвардии в армию тем же чином, — Петрашевского заковали в кандалы сразу на эшафоте, разрешили попрощаться с товарищами и отправили прямым этапом в Сибирь. Остальных узников отвезли опять в Петропавловскую крепость. Отвезли точно так же, как привезли: в крытых каретах поодиночке.

В «Дневнике писателя» Ф. Достоевский, вспоминая ритуал казни 22

декабря 1849 года, писал:

«Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь сказать, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Приговор смертной казни расстреляньем, прочитанный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку: почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас... инстинктивно углублялись в себя и, проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайнике совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающими, мученичеством, за которое многое нам простится!»

Алексей Николаевич Плещеев целиком был солидарен с этими словами своего друга, о чем неоднократно говорил впоследствии и самому Достоевскому, и другим, хотя и не скрывал минутного апатичного «шока» после прочтения смертного приговора. Да, в те страшные минуты он ничуть не раскаивался в мыслях и делах своей молодой жизни. С очищенным чувством мученичества, «за которое многое... простится», отправляясь 24 декабря 1849 года он, закованный в кандалы, в Уральск, где ему предстояло отбывать службу рядовым Оренбургского линейного батальона № 1, и не просто рядовым, а еще и с кличкой «конфирмованный», то есть осужденный военным судом...

Почти две недели добирались до Уральска. Фельдъегерь, сопровождавший Плещеева, беспрестанно пил, а когда трезвел, то поглядывал на Алексея Николаевича сочувственно, отчего конфирмованному становилось совсем худо.

«Ведь этот пьяница жалеет меня... Сейчас жалеет... А что меня ждет впереди? Муштра, от которой я сбежал восемь лет назад, муштра да еще в унижительной форме?.. Где нынче все наши: Петрашевский, Достоевский, Дуров?.. В тот прощальный день, 22 декабря, Федор выглядел очень возбужденным, всем кричал: «Непременно свидимся!» — дай-то бог, чтобы слова его сбылись... А Пальма-то помиловали... Странно все получилось... Пальма помиловали, меня в солдаты, Федора — на каторгу, Сергея — тоже. А ведь вина-то у всех одинакова... Да какая вина, черт

побери?! Алексей Николаевич выглянул из кибитки — необъятный снежный простор на секунду ослепил глаза. Несколько часов назад им сменили лошадей в Самаре, где Плещеев, пожалуй, впервые за многодневную езду с интересом глядел на прохожих, рассматривал занесенные снегом улицы этого заштатного губернского города.

...А до Самары на всех пересадочных пунктах он был ко всему безразличен, не стараясь даже запомнить города, городки и селенья, которые проезжали. Если бы не крепкие морозы, он бы и на пересадочных станциях по возможности не выходил из кибитки — всякий раз, ловя на себе любопытствующие взгляды, испытывал нечто вроде удушья — хотелось сбежать куда-нибудь даже вот в этих позванивающих кандалах...

Ему вспомнилось весеннее путешествие из Петербурга до Москвы — тогда он с жадностью вглядывался в дорогу, хотя мартовская серость и не радовала взор. Теперь и подавно: снега, овраги, черные дома и белые церквушки деревень, голые, сиротливые лесные колки — что тут может остановить взгляд, вызвать душевный трепет...

Плещеев снова выглянул из кибитки и невольно удивился: белое безмолвие снегов сохраняло те же контурные очертания, что и полчаса назад, словно они и не ехали, только скрип санных полозьев да покрякивание ямщика заставляли верить в передвижение.

«Откуда мне знакомо это белоснежное раздолье? Как будто я уже проезжал здесь и как раз зимой... Наваждение какое-то, честное слово». И вдруг вспомнил:

«Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом... Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи», — ведь это Пушкин, его «Капитанская дочка»: юный Гринев, сопровождаемый Савельичем, едет на Службу в Оренбург и встречается по дороге с Пугачевым. Может быть, как раз где-то в этих местах — вот откуда и наваждение...» Алексей почувствовал в сердце щемящую боль и посмотрел на своего сопровождающего — подвыпившего фельдъегеря, тот блаженно дремал — ему-то, верно, не вспоминалась «Капитанская дочка»...

В Уральск приехали ночью: городок Плещеев даже не смог, разглядеть, только успел заметить, что улицы здесь широкие и прямые, дома по большей части каменные. Ныли ноги, нестерпимо клонило в сон. Фельдъегерь приказал ямщику остановиться возле длинного кирпичного дома с одиноким фонарем перед большими воротами — здесь размещался штаб 1-го линейного батальона. Фельдъегерь вышел из кибитки и

настойчиво стал стучать в ворота. Минуты через две в правой створке открылось небольшое оконце, в котором показалась заспанная фельдфебельская физиономия...

6 января 1850 года Алексей Плещеев был зачислен в Оренбургский линейный батальон № 1 рядовым и определен на постоянное местожительство в одной из казарм этого батальона, расположенного в крепости, на правом берегу реки Урал.

Начались однообразные солдатские будни в степном заснеженном городке, который и назывался более ста лет Яицким городком, а после усмирения в 1775 году Пугачевского восстания именованным указом в том же году переименован в Уральск «для предания всего случившегося полному забвению», ибо, основанный в год избрания на престол Михаила Романова, Уральск за всю свою историю знал и помнил только одного «государя Петра Федоровича» — Пугачева.

В первые месяцы новой своей жизни Плещеев почти и не бывал в городе: в увольнение новобранцев — а к ним причисляли всякого вновь прибывшего, — да еще подтвержденных, само собой, не пускали, поэтому все дни и ночи приходилось проводить внутри крепости. Днем — обучение шагистике, ружейным приемам на заснеженной площади или расчистка этой же площади и территории вокруг казарм от снежных сугробов после метелей. Под командованием новых «отцов-командиров» — самодовольных и бездушных унтер-офицеров — «восстанавливал» Плещеев все премудрости военной муштры, осточертевшей ему еще в те юные годы, когда по воле матери Елены Александровны он был зачислен в Петербургскую школу подпрапорщиков и юнкеров...

«Ах, мама, бедная мама. Сколько тебе пришлось пережить из-за своего единственного и непутевого сына. Увольнение из школы, оставление университета, первая крупная ссора... Потом опять помирились — ты простила, мама, все капризы, черствость, неблагодарность... Ты слишком любила... а я, тоже сильно любя тебя, все-таки не переставал приносить новые и новые огорчения».

Алексей часто вспоминал день обрядовой казни на Семеновском плацу и бесконечно дорогое, растерянное лицо матери в толпе, что стояла на валу плаца. «Господи, что пережил, когда узнал мать!.. Нет, лучше забыть, забыть тот страшный день... Буду вспоминать тебя, мама, только веселую, улыбающуюся и молодую — такую, какой ты водила меня по Нижнему, какой ветре-чала всякий раз, когда я приходил домой по увольнительной из школы юнкеров... Но чем ты занята теперь? Не печалься, родная моя, все будет хорошо», — обращался часто мысленно к самому родному человеку

рядовой Алексей Плещеев в свободные от муштры минуты, не подозревая даже, что хлопоты матери уже облегчили в какой-то мере его участь, и он оказался не на каторге, а здесь, в солдатской казарме; еще до суда над петрашевцами Елена Александровна подавала на имя государя прошение о помиловании сына.

Ночами Плещеев нередко вспоминал своих товарищей по Петербургу. Алексей знал, что некоторые из них тоже отбывают солдатчину в этих краях: Александр Ханыков — в Орской крепости, Головин — в Троицкой; в Оренбурге должен отбывать наказание в рабочем батальоне петербургский мещанин Петр Шапошников, с которым Плещеев познакомился тоже у Петрашевского. А как Федор Достоевский... ведь он томится в Омском остроге... он, столь близкий духовно человек... Выдержит ли — здоровье у него совсем не богатырское? Постарел, наверное? Да, все мы обречены, пожалуй, на преждевременную старость. Вот ему — Алексею Плещееву, не так давно только двадцать четыре исполнилось, и он, увы, чувствует себя далеко не юным, а Достоевскому уже двадцать восемь...

С наступлением весны жизнь в крепости вроде бы стала более сносной: шагистики и муштры не убавилось, но конфирмованный стал получать разрешение выходить за стены крепости, бывать в городе. Многому дивился Плещеев, прогуливаясь по этому степному городку, разбросанному по берегам реки Урал и его притока Чаган; на пыльных широких улицах, на которых, кроме редких кусточков крапивы и полыни, почти не было никакой растительности, можно было встретить караваны верблюдов, вереницы ослов, стада коз и отары овец. Коренные жители городка — казаки, но они терялись в толпах «инородцев» — хивинцев, киргизов, кокандцев, бухаров и других коренных жителей азиатских степей и полупустынь, кочующих в этих краях. Нередко можно было услышать в такой толпе украинскую речь, а то и вовсе незнакомые для слуха выкрики — среди пришельцев, движущихся на юг, были даже уроженцы далекой Индии. Часто ходил рядовой Плещеев вдоль берега Урала, где кустились небольшие рощицы, по преимуществу осиновые и тальниковые. В реке водилось много рыбы, Алексей часто встречал здесь казаков-рыболовов; рыболовством и хлебопашеством городок и жил.

Лето наступило жаркое, сухое, и Алексею Плещееву на первых порах было странно видеть «вечное» безоблачное небо — в Петербурге-то даже единственный безоблачный день — редкость. К жаре молодой организм его постепенно, к концу лета, привык.

Как раз в эту осень Плещеев встречается и знакомится с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который уже три года отбывал ссылку рядовым

Оренбургского отдельного корпуса «под строжайшим надзором с запрещением писать и рисовать».

Тарас Григорьевич, арестованный в Киеве в апреле 1847 года как член Кирилло-Мефодиевского братства и как автор «возмутительных, в высшей степени дерзких стихотворений», был доставлен 5 июня в Оренбург, а затем отправлен в Орскую крепость, где провел осень и зиму. Летом 1848 года он по распоряжению оренбургского генерал-губернатора Обручева был включен в качестве художника в состав экспедиции для обследования и описания берегов Аральского моря. Экспедицию возглавил капитан-лейтенант Алексей Иванович Бутаков, которого впоследствии назовут «Аральским Колумбом», открывший богатства Средней Азии. За описание Аральского моря по предложению самого Гумбольдта Бутаков в 1853 году был избран почетным членом Берлинского географического общества.

Собственно Бутакову и принадлежала идея включения Шевченко в экспедицию, так как исследователь, высоко ценя поэтический и художественный талант ссыльного, стремился хоть как-то облегчить его судьбу.

Шевченко сдружился с Бутаковым и благодаря этой дружбе получил определенные неофициальные льготы, мог ходить даже в партикулярном платье. То был для опального Кобзаря исключительно продуктивный период в творческом отношении: две «захаявных» (то есть потайных) тетрадки стихов, множество картин, запечатлевших своеобразную природу Кос-Арала, жизнь казахского народа. Но когда после окончания экспедиции на Аральском море и возвращения в Оренбург в ноябре 1848 года Шевченко вознамерился и далее воспользоваться этими льготами, то и он, и его покровитель Бутаков были примерно наказаны: Бутаков получил выговор, а Шевченко вновь был отослан в Орскую крепость в арестантскую роту, а затем по распоряжению из Петербурга поэта отправили на семилетнее заточение в Новопетровскую крепость на берегу Каспийского моря.

В крепости гарнизонную службу несли две роты 1-го линейного батальона, штаб которого находился в Уральске, поэтому по дороге в Новопетровск Шевченко и был сначала препровожден в степной городок, где к этому времени тянул солдатскую лямку другой литератор — Алексей Плещеев.

Но Алексей Плещеев, увы, «стихи писать давно отвык», как он признается чуть позднее. Казематы Петропавловской крепости, изнурительная дорога, солдатская муштра и... постоянная склонность к рефлексии отнюдь не вызывали желания что-либо сочинять в условиях

казарменного прозябания. И вот встреча с собратом по перу, не прекращающим энергичной творческой деятельности и в условиях солдатчины!.. Несказанно обрадовался Алексей Николаевич знакомству и общению с Тарасом Григорьевичем.

И для Шевченко встреча с начитанным, благородным, отзывчивым молодым русским поэтом стала подлинной отрадой. Дружеские, даже братские, как скажет Шевченко позднее в одном из писем к Плещееву, чувства, возникшие между русским и украинским поэтами, закрепляются перепиской после отправки Шевченко в Новопетровское укрепление, и шевченковские письма станут для Алексея одной из постоянных душевных поддержек в годы его «нравственных страданий». Когда же оба поэта окажутся на воле, их дружба еще более окрепнет, и Плещеев одним из первых познакомит русского читателя со стихами из «захалавных» тетрадей Кобзаря.

В эту же пору в Уральске отбывал солдатчину «конфирмованный» польский революционер Сигизмунд Сераковский, с которым Алексей Плещеев тоже сдружился, а через него познакомился потом и с другими польскими ссыльными — Брониславом Залесским, Яном Станевичем.

25 марта 1852 года Алексей Плещеев переводится в Оренбургский линейный батальон № 3, который дислоцировался в самом губернском городе. С 1851 года военным губернатором и командиром отдельного Оренбургского корпуса вновь был назначен Василий Алексеевич Перовский (до этого он губернаторствовал в Оренбурге в 1832–1842 годах, в 1839–1840 годах руководил неудачным походом русских войск на Хиву) — это *был тот* самый Перовский, который возглавлял военно-судную комиссию по делу петрашевцев.

Честолюбивый властелин — в управляемом им крае, Перовский обладал, можно сказать, неограниченными правами — капризный, вспыльчивый, властный генерал — колоритная и весьма самобытная фигура среди военных чинов своего времени. Это был человек широко образованный, блестящий знаток истории и литературы (при случае всегда любил подчеркивать свою действительную дружбу с Пушкиным, Гоголем, Жуковским и другими крупными писателями России), умный администратор и способный военачальник. Ценя других не столько по родовитости — сам Перовский был побочным сыном графа Разумовского, — сколько по личным достоинствам, он не терпел в своем окружении титулованных бездельников, но весьма благоволил энергичным и деловым труженикам. Еще в первый период своего правления в Оренбурге Василий

Алексеевич взял с собой в качестве чиновника особых поручений одного из таких тружеников — Владимира Ивановича Даля, литератора, фольклориста, лексикографа, этнографа, будущего создателя «Толкового словаря живого великорусского языка». И в это время в Оренбурге тоже проживали истинные подвижники своего дела, среди которых: Василий Васильевич Григорьев, крупный ориенталист, первый историк Средней Азии, Алексей Иванович Бутаков, неутомимый путешественник, исследователь среднеазиатских водных бассейнов. Этих людей Перовский всячески поддерживал.

Но, пожалуй, наибольшим расположением генерал-губернатора пользовались два молодых капитана русской армии: офицер по особым поручениям Виктор Дезидерьевич Дандевиль и Алексей Иванович Макшеев^[27] — уже теперь в них Перовский видел своих достойных преемников на военно-государственном поприще, истинных и верных сынов Отечества. Перовскому либо не было известно, что Макшеев в бытность службы в Петербурге посещал кружок Петрашевского, либо он просто решил не обращать на это внимания.

С В. В. Григорьевым, А. И. Бутаковым, В. Д. Дандевилем и А. И. Макшеевым устанавливает Алексей Плещеев близкие товарищеские отношения вскоре после приезда в Оренбург в июне 1852 года матери поэта Елены Александровны — радостного в жизни Алексея события, сыгравшего исключительную роль в его дальнейшей судьбе.

Елена Александровна приехала с решительным намерением облегчить сыну участь непосредственно через самого Перовского, с которым была немного знакома. Еще год назад, узнав, что Перовский вновь назначен военным губернатором Оренбургского края, она стала усиленно хлопотать за сына, добиваясь, чтобы Алексей Николаевич был переведен из Уральска в губернский город, где, как полагала, Перовский не позволит «обидеть» ее Алешу. Но в Оренбурге Алексею на первых порах пришлось тоже хлебнуть лиха — наряжали на трудные работы, часто посылали нести караульную службу, — и первые вести от Алексея пугали унылым тоном, равнодушием к жизни. И Елена Александровна, заручившись письмами к Перовскому от некоторых влиятельных лиц, отправилась в нелегкую дорогу.

Приехав в Оренбург, Елена Александровна проявила большую настойчивость — нанесла визит Перовскому, добилась от него твердого обещания содействовать улучшению положения ссыльного Алексея Плещеева, познакомилась с другими представителями общества — все это в значительной степени способствовало проявлению даже почтительного любопытства к личности ссыльного литератора в глазах его

непосредственных начальников, относящихся до этого к рядовому Плещееву весьма подозрительно и с пренебрежением.

Несказанно счастлив был Алексей приезду матери — целых четыре недели вблизи самого родного и близкого человека! Как коренной оренбуржец, хотя и жил в городе всего несколько месяцев, знакомит он свою мать со столицей степей, показывает немногие достопримечательные места города.

Город и вправду при всей внешней неказистости имел лицо довольно оригинальное: от крепости, расположенной на крутом правобережье Урала, строения уходили в низину, напоминающую огромный плац, разрезанный неширокими улицами, небольшими парками. Центральная улица этого «плаца» застраивалась довольно добротными административными учреждениями, дворянскими особняками, ничуть не уступающими по своей внушительности и некоторым столичным домам. Впечатляюще выглядело здание, именуемое Караван-Сараем — красивое сооружение с мечетью и минаретом, построенное в первый период губернаторства Перовского. Мимо замысловатого строения менового двора проходили порой целые толпы в азиатских халатах, караваны верблюдов. В Оренбурге еще свежа память о недавнем холерном потрясении — в 1848 году в городе в течение десяти дней вымерло более четверти всего населения, — однако центральные улицы почти всегда выглядели многолюдными, оживленными и пестрыми. На левом берегу Урала виднелась большая роща, но Алексею пока еще не пришлось побывать там, и он надеялся теперь, с приездом матери, получить увольнительную и съездить на другой берег.

А пока особенно часто ходили по правому берегу быстротечного Урала, вспоминали здесь давнишние прогулки в Нижнем, родную Волгу. Урал по сравнению с Волгой казался диковато-неприветливым — кроме редких рыбацких лодок и крикливых чаек, тут и увидеть-то больше нечего. И все же эта вольная горделивость водного потока тревожила сердце, ласкала взор, и совсем порой забывалось про неволю — ведь рядом мама, ее голос, ее укоряющая улыбка, ее наполненный любовью взгляд...

С приездом Елены Александровны в Оренбург положение Плещеева-солдата разительно изменилось: он стал получать увольнительные, был освобожден от несения караульной службы, а вскоре получил официальное приглашение в дом самого Перовского, весьма благосклонно был принят хозяином дома и стал частым посетителем губернаторского особняка. Здесь, в доме Перовского, у Плещеева завязались добрые отношения с некоторыми офицерами, представителями местной интеллигенции, а с капитаном Виктором Дезидерьевичем Дандевилем и его женой Любовью

Захаровной крепко сдружился.

Среди новых знакомых, бывших в доме Перовского, оказался и Василий Васильевич Григорьев — ученый-востоковед, в котором Алексей Николаевич всегда находил очень умного и приятного собеседника и от которого много узнал нового об истории Оренбуржья и Средней Азии. «Третий» Григорьев, встретившийся на жизненном пути Плещеева (после друга детства Николая и поэта-критика Аполлона), смотрел на Алексея Николаевича как на человека, случайно сбившегося с пути. Василий Васильевич придерживался концепции особого исторического предназначения России, поэтому всякое увлечение новомодными западными учениями считал не более чем временным заблуждением. В беседах с Григорьевым Алексей Плещеев нередко противился категорическим утверждениям ученого, но чувствовал в этих утверждениях и огромную убежденность, исходящую от веры Василия Васильевича в великую созидательную силу русского народа.

«Удивительное все-таки дело, — думал Плещеев. — Григорьев — важный чиновник, так сказать, верный слуга царю и Отечеству, но убеждения его никак не назовешь верноподданническими, напротив, в них проглядывает неприкрытая оппозиция к официальной политике правительства. Однако Григорьев отнюдь не теряет надежды добиться осуществления своих планов и в нынешних условиях. Вот и капитаны Бутаков, и Макшеев тоже переполнены идеями, замыслами во имя действительной реальной России, а не какой-то будущей, абстрактной, о которой он, Алексей, и его друзья так много толковали в Петербурге... Нет, положительно, они там о многом судили наивно и отвлеченно, если не сказать резко...»

Товарищеские отношения установились у Плещеева с Иваном Васильевичем Павловым, служившим по медицинской части при оренбургском губернаторстве. Человек острого ума, наделенный большой фантазией и зорким взглядом, Иван Васильевич, пробуящий к тому же кое-что сочинять «почти беллетристическое», с искренней симпатией относился к Плещееву, знал и ценил стихи опального поэта.

Впоследствии Плещеев возобновит дружбу с Павловым — оба станут соредакторами газеты «Московский вестник». В этот период знакомится Плещеев и с Алексеем Михайловичем Жемчужниковым — одним из авторов знаменитых «Сочинений Козьмы Пруtkова», служившим одно время в числе помощников Перовского. В обществе таких людей, как Павлов и Жемчужников, Алексей Николаевич поистине преображался, ощущая себя петербуржцем времен вольной жизни.

Но особенно близко сошелся Плещеев с Дандевилями, в доме которых чувствовал себя настолько раскованно, что порой забывал о своем положении ссыльного. Если бы только не его нелепый солдатский мундир!.. А так все, как на свободе, в знакомой петербургской квартире: увлекательные разговоры за ужином об искусстве, литературе, музыкальные вечера, нежный голос обворожительной и умнейшей Любови Захаровны Дандевиль; она всегда старалась уговорить Алексея Николаевича читать его собственные стихи, от которых Плещеев за два с половиной года мытарств как-то отошел, и они казались ему порой такими... беспомощными и неубедительными. Но Любовь Захаровна, если ей удавалось уговорить Плещеева что-нибудь прочесть, всегда так нежно смотрела на него, что Алексей испытывал действительную радость вдохновения. Он снова ощущал себя поэтом, человеком, способным восхищаться, восторженно любить... да, да и любить — тоже, любить Любовь Захаровну, конечно, любить в мечте, ибо он видел, что ее чувство к мужу — настоящее и глубокое.

В обществе Дандевилей Плещеев возрождался в полном смысле этого слова и чувствовал, что жизнь его стала наполняться внутренним смыслом, надеждой и верой в будущее. И самое радостное — возникла настоящая потребность передавать мысли и переживания свои бумаге, потребность исповедоваться стихами, которые, казалось, уже разучился писать.

Первым толчком, благодаря которому Алексей вернулся к стихам, послужил такой эпизод: однажды, на одном из вечеров у Дандевилей, Плещеев рассказал Любови Захаровне о гравюре с картины Рафаэля «Сикстинская мадонна», которую ему оставила мать, и Любовь Захаровна изъявила желание увидеть эту гравюру. Тогда Алексей Николаевич попросил разрешения подарить ее Любови Захаровне и вместе с гравюрой отправил на имя Л. З. Дандевиль письмо и стихи, которые так и назвал «При посылке Рафаэлевой Мадонны». Стихотворению Плещеев предпослал эпиграф из лермонтовской «Молитвы». Дата, стоящая под стихотворением — 17 февраля 1853 года, — стала для Алексея Николаевича своего рода днем возвращения в поэзию.

В ответ на подарок Плещеева Любовь Захаровна подарила поэту альбом для стихов, в который Алексей Николаевич стал заносить рождающиеся строки, строфы, целые стихотворения, многие из которых были посвящены Л. З. Дандевиль. Стихи по большей части имели ярко выраженную минорную окраску, и — что там говорить — чувствовалось, что написаны они человеком с надломленной судьбой, человеком, еще не совсем уверенным в том, что его ждет впереди.

Да и как можно быть уверенным, когда предстояли нешуточные испытания, связанные с военным походом и штурмом кокандской крепости Ак-Мечеть, расположенной за сотни километров от Оренбурга — в далекой среднеазиатской пустыне.

Новый поход на Ак-Мечеть был подготовлен Перовским и его помощниками Макшеевым и Дандевилем очень тщательно — ведь кокандская крепость считалась почти неприступной. Обстоятельно и детально были учтены и предстоящие трудности самого похода по голой песчаной пустыне. Зная все это от Макшеева и Дандевиля, Плещеев и решается принять участие в походе — в случае благополучного исхода и овладения кокандской крепостью всех участников похода ожидало вознаграждение, и Алексей Николаевич мог надеяться на производство в офицеры. Это была реальная возможность избавиться от опостылевшей участи конфирмованного, и Плещеев по совету оренбургских друзей, обещавших всяческую поддержку, подает на имя Перовского рапорт-прошение о своем добровольном желании принять участие в походе на Ак-Мечеть. Перовский решает вопрос положительно, и 2 марта 1853 года Плещеев переводится из 3-го в 4-й Оренбургский линейный батальон, участвующий в походе. Вместе с Плещеевым в поход были взяты и другие политические ссыльные: Залесский, Брежеровский, Мочульский.

В стихотворении «Перед отъездом», адресованном Л. З. Дандевиль, Плещеев писал:

Опять весна! Опять далекий путь!
В душе моей тревожное сомненье;
Невольный страх мою сжимает грудь:
Засветится ль заря освобожденья?
Велит ли бог от горя отдохнуть,
Иль роковой, губительный свинец
Положит всем стремлениям конец?
Грядущее ответа не дает...
И я иду, покорный воле рока,
Куда меня звезда моя ведет...
В пустынный край, под небеса Востока!

С надеждой и верой в торжество света «зари освобожденья» отправился рядовой Алексей Плещеев 25 апреля 1853 года в составе отряда

под командованием наказного атамана Оренбургского казачьего войска генерал-майора Падурова в изнурительно-длинный поход по степному и пустынному бездорожью.

Поход русского войска на Ак-Мечеть в 1853 году — один из эпизодов многолетних стычек России и Кокандского ханства, которое подчинило себе киргизские племена и стремилось утвердить свою власть над подчиненными России кочевниками — с этой целью кокандцы понастроили в степях массу укреплений. Ак-мечетскому беку подчинялись и платили налоги все кочевые племена, обитавшие в разливах реки Сырдарья и ее окрестностях, поэтому выступление русской армии против кокандцев преследовало две главные цели: обеспечение безопасности русским отрядам, ведущим обследование и съемку правобережья Сырдарьи, и защита кочевников, подданных России.

Рядовой Алексей Плещеев знал, конечно, от тех же Макшеева и Дандевилля причины и мотивы выступления русских войск на Ак-Мечеть, но не стремился вникать в них детально; помыслы его в тот момент были сосредоточены только вокруг успешного завершения похода, которое сулило ему изменение в судьбе.

Через сорок шесть дней с момента выхода из Оренбурга отряд, в котором был Плещеев, прибыл в Аральск, а 16 июня 1853 года двинулся на Ак-Мечеть. Русские отряды выступили в поход тремя колоннами: из Оренбурга, Орска и станицы Верхнеозерной. Поход был не из легких: почти полторы тысячи верст шли по сильной жаре, попадая в песчаные бури, испытывая недостаток воды. И рядовой Плещеев, пожалуй, именно в этом многосуточном походе в полной мере испытал невзгоды солдатчины. Но здесь же лучше узнал и превосходные качества русского солдата: его всегдашнюю готовность прийти на помощь товарищу, смелость, выносливость, преданность дружбе, неунывность...

В первых числах июля все отряды Перовского стянулись под стенами Ак-Мечети, и началась решительная осада крепости, длившаяся больше двадцати дней. Алексей Николаевич участвовал во всех боевых операциях, какие возлагались на его батальон и роту. В составе второй роты он штурмовал крепость и в день ее взятия, 28 июля, рота Плещеева после взрыва мины под стеной крепости одной из первых — вслед за штуцерной командой, полусотней уральских казаков и первой ротой — ворвалась в крепость, успешно отбила атаки оборонявших крепость кокандцев и была отмечена в приказе по Оренбургскому корпусу в числе лучших подразделений, штурмовавших Ак-Мечеть. Все офицеры и солдаты роты в числе прочих участников похода были представлены к наградам, и теперь

только оставалось терпеливо ждать высочайшего утверждения этих наград. Для некоторых они последовали незамедлительно: 26 августа, в «увековечение подвига» главного предводителя похода, крепость Ак-Мечеть была переименована в форт Перовский. Многие офицеры получили повышение в званиях и среди них в первую очередь капитан Дандевиль, произведенный в подполковники. В судьбе же Плещеева в первые месяцы ничего не изменилось, и он все тем же рядовым в составе части экспедиционного отряда возвращается сначала в Орск, а потом в Оренбург.

В Орске Алексей Николаевич намеревался было навестить своего петербургского товарища Александра Ханькова, отбывавшего солдатчину в крепости, но опоздал — Ханьков еще в июне 1853 года скончался от холеры, не дожив до конца срока ссылки всего несколько месяцев. Посещение могилы Ханькова вызвало в душе целый рой воспоминаний о недавнем прошлом: университет, знакомство с веселым, часто улыбающимся симпатичным юношей — вольнослушателем юридического факультета; вечера у Петрашевского, на один из которых Алексей и привел впервые Александра... И вот Саши нет в живых. А где другие, живы ли? Вот уже почти три года, как расстались на Семеновском плацу молодые «пропагаторы» социализма, расстались... неужели чтобы никогда не встретиться?.. Нет, нет, нет!.. Он, Плещеев, не утратил надежду обнять своих друзей, он еще... впрочем, — ничего еще не ясно, никаких обнадеживающих просветов...

К началу декабря 1853 года почти все участники похода на Ак-Мечеть получили награды, а Плещеев все еще оставался в неведении. Он пишет о своей тревоге покровителю и другу В. Д. Дандевиллю, который сопровождал Перовского в Петербург, настоятельно просит Дандевилля выяснить, удостоены ли он и другие участники похода из подтвержденных какими наградами или нет, толкует в этом же письме о планах в случае, если его обойдут поощрением. В этом письме он дает весьма резкую характеристику оренбургскому обществу, в котором продолжал вращаться, несмотря на грустные и неопределенные месяцы ожиданий.

Наконец 27 декабря 1853 года «высочайшим» указом за отличие под Ак-Мечетью Плещеев производится в унтер-офицеры — это воспринялось опальным поэтом как первый долгожданный просвет...

Но все-таки и унтер-офицерская служба в Оренбурге действовала угнетающе. И в свободное от службы время тоже нередко охватывало тоскливое чувство одиночества... Алексей Жемчужников и Иван Павлов, видимо, больше в Оренбург не вернутся... И потому уже не было отдушины в те часы, которые проводил Алексей Николаевич в

оренбургском обществе, — члены его в духовном развитии своем — воплощение убожества, интересы их были мелки и ничтожны, чтобы вызвать у Алексея Николаевича какое-то чувство родства. Да какое там родство? Сальные анекдоты офицеров, ужимки чиновников, рассказывающих сплетни о своих сослуживцах, полнейшее равнодушие ко всякой живой мысли, элементарное невежество и вопиющая бездуховность «деловых» людей из числа местных промышленников и купечества — нет, положительно, Алексей Николаевич выглядел среди них белой вороной... И еще эти «наивно-невинные» вопросы барышень... Вот недавно на вечере, организованном командиром батальона (приглашены были и штатские с женами и дочерьми на выданье), одна из таких барышень, ищущая, вероятно, «ценного» жениха, игриво спросила:

— Алексей Николаевич, почему вы только лишь унтер-офицер, а вот Виктор Дезидерьевич Дандевиль — подполковник, а он, кажется, даже моложе вас?

— Потому что подполковник Дандевиль давно женат, а я только собираюсь совершить такую ошибку, — так неуклюже отшутился тогда Алексей Николаевич. Да и что он мог сказать этой барышне? Исповедоваться перед ней в своей судьбе?.. Тупость, сплетни, духовное убожество...

А те, с кем Алексей Николаевич находил отдохновение (супруги Дандевиль, Григорьев, Макшеев, Бутаков), не скрывали сострадательного отношения к опальному поэту, и это нередко оставляло в душе болезненный осадок. Ощущение «неполноценности», однообразные утомительные «светские» развлечения в Оренбурге настолько опостытели, что Алексей Николаевич стал хлопотать о перемене места службы, о своем переводе в форт Перовский (Ак-Мечеть) — в крепость на берегу Сырдарьи, — в тех местах была возможность ускоренного продвижения по службе, надежда отличиться еще в какой-нибудь боевой операции и получить офицерский чин, суливший большую определенность в будущем.

Переводу Плещеева в Ак-Мечеть способствовал В. Д. Дандевиль, заведовавший к этому времени всеми «степными делами» — оборонительными укреплениями по Сырдарье; генерал Перовский тоже не забывал своего «заблудшего» подопечного: оба прекрасно понимали, что в крепости действительно «больше шансов отличиться, чем выказывая в Оренбурге гибкость и грацию своего носка», как позднее заметит Алексей Николаевич в одном из писем Дандевиллю.

Но Плещеев просился в крепость при определенных условиях. В письме к В. Д. Дандевиллю в Петербург от 18 января 1854 года есть такие

любопытные признания: «Боюсь, чтобы Вас. Алекс. (Перовский. — Н. К.) не приказал совсем перевести меня в 3-й батальон. Я лучше желаю быть прикомандированным, как теперь, чтоб при случае возвратиться в свой батальон. Не слыхать ли чего об новой экспедиции? Скажите хоть по секрету? Даю вам слово, что не разболтаю». То есть Алексей Николаевич отпрашивался в форт Перовский временно, с намерением поскорее принять участие в каком-нибудь походе, и только. Но обстоятельства распорядились с ним несколько по-другому...

Весной 1854 года Плещеев вновь прибыл в Ак-Мечеть. Служба в крепости поначалу складывалась чересчур нудно, и Алексей Николаевич обращается к В. Д. Дандевиллю: «И вот моя просьба к вам — похлопочите, голубчик Виктор Дезидерьевич, чтобы меня представили в 4-й батальон. Вероятно, это устроить нетрудно, как вы думаете? В штаб куда-нибудь прикомандироваться тоже пет особой приятности: сидеть целые дни, не разгибая спины, за бумагами, весьма мало меня интересующими. В степи же жизнь может быть деятельная и в то же время не утомительная. Да и двойное жалованье для меня имеет свое значение. Что касается до веселостей, до удовольствий — бог с ними. Мне всюду весело, где у меня есть книги и где есть два-три человека, которых я люблю и которые меня любят».

В крепости Алексей Николаевич поселился вместе со своим командиром роты. Офицеры гарнизона относились к Плещееву с большим уважением, хотя главный начальник Сырдарьинской линии генерал-майор барон Фитингоф, человек очень недалекий, взбалмошный и вздорный, явно не жаловал опального поэта и при каждом возможном случае стремился унижить его, намеревался даже выслать Алексея Николаевича из Ак-Мечети в отдельный форт № 2, в Кармакчи, но, вероятно, заступничество Дандевилля помешало Фитингофу осуществить такое намерение.

«Вы очень интересуетесь знать наше житье-бытье и хотите, чтобы я сообщил вам о всем, что здесь происходит. Но как однообразна эта жизнь, если б вы знали! Здесь все, как по рецепту...» — информирует Плещеев Дандевилля в одном из первых писем из крепости, рассказывая в шутливой форме о развлечениях с «неизбежной водкой, неизбежными разговорами о наших местных интересах», с картежными играми и песнями («Молодежь собирается в кружок и запекает хором русские или малороссийские песни, по большей части скромного^[28] содержания...»); иронизирует над вечерами у гарнизонных «аристократов», где «все обстоит необыкновенно чинно», рассказывает о бытовых условиях жизни: «Мы соорудили себе из

сырцового кирпича нечто вроде дома, но все-таки в нем лучше, чем в кибитке. У нас три комнаты, и в каждой по камину. От множества труб на крыше наше жилище походит на сахарный завод. Сожители мои — люди прекрасные...»

Близко сходится Плещеев с Сигизмундом Сераковским и другими польскими ссыльными, отбывавшими службу в Ак-Мечети, всерьез изучает польский язык, пробует переводить польских поэтов.

В крепости Плещеев много читает. «Я в последнее время многое перечитал: сделал значительные успехи в языке Шиллера, Гёте и барона Фитингофа и научился польскому языку, на котором есть тоже вещи бибьякши^[29] (Мицкевич — например). Кроме того, аккуратно читаю русские журналы и рекомендую вам в «Современнике» повесть Тургенева «Затишье» и рассказ Писемского «Фанфарон», — сообщает Алексей Николаевич Дандевиллю в том же письме, в котором рассказывал о гарнизонных «развлечениях». И не только читает «многое» в эту пору Алексей Николаевич, но и кое-что пробует творить — перевел на русский язык некоторые стихи знакомого по Оренбургу ссыльного польского поэта Эдварда Желиговского (Антония Совы), особенно удался перевод стихотворения «Два слова», удостоенный доброго отзыва Тараса Григорьевича Шевченко. А вот на просьбу самого Тараса Григорьевича поспособствовать публикации в «Современнике» его повести «Княгиня» Алексей Николаевич откликнуться бессилён — сам пока еще тоже ни с петербургскими, ни с московскими журналами связей никаких не имеет.

«Тарасу Григорьевичу, видимо, очень тяжело в Новопетровске. Жалуется он в письмах и мне, и Сигизмунду Сераковскому. Сигизмунд недавно спросил про шевченковское апрельское письмо, а сам показал адресованное ему, в котором Тарас Григорьевич писал Сераковскому. — «О моем настоящем горе сообщил я А. П.», то есть ему, Алексею Плещееву. Да, то письмо крепко расстроило. Тарас Григорьевич сетовал, что его совершенно замучили муштрой: «Теперь из пятидесятилетнего старика тянут жилы по восемь часов в сутки».

Кажется, Тарас Григорьевич, никогда еще не писал с таким надрывом, болью, и обидно в его-то лета, хотя он и несколько преувеличивает свой возраст, сносить солдатские невзгоды. Слава богу, что здесь, в Ак-Мечети, он, Плещеев, как и Сигизмунд, избавлены от муштры...»

Конечно, служба в крепости не отличалась особым разнообразием, не доставляла особых радостей, но все же не была горше монотонного прозябания в Оренбурге. По крайней мере, какую-то новизну поэт чувствовал, знакомясь с бытовым укладом кочевых племен, с их нелегкой

жизнью. За время службы в Ак-Мечети Плещеев принимал еще участие в походах против кокандцев, походы, правда, нередко оказывались безрезультатными.

«Мы совершили поход, но поход неудачный», — сообщает Плещеев Дандевилю в письме от 10 февраля 1855 года. — Нас захватил мороз, какой здесь никогда не бывает — до 28 градусов. Кибиток у нас не было, и уже на позиции киргизы^[30] привезли две кибитки, но без кошм. Судите же, каково нам было ночевать! Многие познобили себе ноги... Кокандцы спюхали и ушли. А говорят, был препорядочный отряд, при двух орудиях. Мы, грешные... обрадовались было: авось, думали себе, подеремся, где драка — там и отличие. Не тут-то было! Прогулялись верст за 60, да и вернулись назад с незаряженными ружьями после разных горестных приключений. В самом деле, эти две-три ночи, проведенные в степи, хуже всего ак-мечетского похода».

Не очень вдаваясь в официальные причины таких походов, царское правительство, безусловно, готовило ими плацдармы для присоединения к России Туркестана, Коканда, Бухары и Хивы. Плещеев находил иной — благородный смысл в борьбе с кокандскими племенами, смысл, объяснение которому дает в письме к Дандевилю летом 1855 года:

«Мы ходили в поход, о котором *подробную* реляцию вы получите этой почтой. Кокандцы подступили почти к самому Бирубайскому посту и произвели страшные неистовства: резали преданных нам киргизов, как баранов, разграбили множество аулов, и как мы ни старались догнать их, — не могли ничего сделать. Они ушли в безводную степь. Это нас ужасно взбесило. Никогда еще так сильно нам не хотелось побить этих подлецов. Все приходили в негодование при виде изувеченных трупов, валявшихся на дороге. *Цель похода была благородна — защита утесненных, а ничто такие воодушевляет, как благородная цель...*»

Алексей Николаевич и здесь, в безбрежных просторах Средней Азии, остается верен своим главным идеалам: защитить «утесненных». В письмах его нередко можно встретить восторженные характеристики простых казахов-киргизов, с которыми поэт много общался, сочувствие к их традициям, обычаям, уважение национальной самобытности казахского народа, трудолюбия. Стремясь внести посильный просветительный элемент в жизнь степного городка, Плещеев создает в форте общественную библиотеку — из своих личных книг и из той литературы, что выписывалась гарнизоном. «Кстати, на будущий год гарнизон выписывает почти все русские журналы и газеты, выписывает бильярд, военную игру, шахматы, эспадроны... Это может вам показать, что наклонности у

гарнизона более благородные и что не в пьянстве, буйстве и ночном шатании ищут развлечения от скуки», — пишет Плещеев Дандевилю.

Алексей Николаевич внимательно следит за всеми литературными новинками, в письмах его высокие оценки новых произведений Тургенева, Островского... Он рекомендует своему адресату (все тому же Дандевилю) непременно приобрести для библиотеки при канцелярии оренбургского генерал-губернатора «Русскую историю» С. М. Соловьева — «замечательный труд, осветивший нашу историю новым взглядом». Не прерывает он в этот период и собственного поэтического творчества: еще перед отъездом в Ак-Мечеть откликнулся на события Крымской войны 1854–1855 годов стихотворением «После чтения газет»^[31], об увиденном и пережитом во время службы в Ак-Мечети — стихотворение «В степи».

В эти же годы, вернее в 1855 году, Алексей Николаевич написал стихотворение «С.....у» («Перед тобой лежит широкий новый путь...»), в котором снова зазвучал призывный голос автора русской «Марсельезы» — так впоследствии назовут знаменитое плещеевское «Вперед!..».

Перед тобой лежит широкий новый путь.
Прими же мой привет, не громкий, но сердечный;
Да будет, как была, твоя согрета грудь
Любовью к ближнему, любовью к правде вечной.

...Подъяв чело, иди бестрепетной стопою;
Иди, храня в душе свой чистый идеал,
На слезы страждущих ответствуя слезою
И ободряя тех, в борьбе кто духом пал^[32].

Оторванный от культурной среды, Плещеев остается неисправимым поэтом-мечтателем, поэтом-пропагандистом, поэтом-бойцом, сохранившим в сердце не только способность сострадать «утесненным», но и неукротимое желание практической борьбы со злом.

Но к стихам Плещеев все же обращается редко. К тому же публиковать их возможности не было. Поэтому все свои думы, тревоги, жизненные впечатления Алексей Николаевич изливает в письмах к оренбургским приятелям и больше всего в письмах к В. Д. Дандевилю, в которых, размышляя о пережитом, рассказывая о своих духовных интересах, не забывает защищать от наветов и «утесненных» из своего племени, то есть простых русских солдат.

«...И признаюсь вам, что я никак не могу согласиться, чтобы необходимо было стеснять наших солдат, сажать их на гауптвахту за расстегнутый крючок, запрещать им носить шинели внакидку сверх мундира, когда холодно, и беспрестанно толковать им, что они мерзавцы, с которых нужно шкуру драть, что 4-й батальон — известные негодяи. Однако эти негодяи... умеют сносить нужду и лишения без ропота, с веселым лицом... В караул ходят через 2 дня: сменяются из караула — идут на работу; пришли с работы — идут в ночное; те едут за лесом, те идут плести маты, те — косить сено; одним словом — все постоянно трудятся и не жалуется на свое житье: посмотрите, какие славные построены конюшни, сколько наложено сена, и вы подивитесь, когда все успели сделать эти солдаты», — пишет в частном письме унтер-офицер Плещеев подполковнику Дандевиллю. А в другом письме, узнав о новых полномочиях своего высокопоставленного товарища, Алексей Николаевич говорит: «Так как Вы заведуете теперь стенной корреспонденцией и вообще все, что до степи касается, находится в вашем распоряжении, то пресекайте зло». Обращаться в таком тоне к одному из ближайших помощников генерал-губернатора Перовского поэт мог благодаря дружбе с Дандевилем, но такое свое привилегированное положение Алексей Николаевич никогда не использовал для личных целей. Нигде и никогда он не обращается с просьбами об улучшении собственного положения, зато множество раз ходатайствует за других, особенно за своих подтвержденных сослуживцев, а также за солдат, местных жителей — казахов.

«Вы не сердитесь на меня, что я вам нишу о всех и о каждом. Меня просят — и я делаю, предупреждая всех, что за успех не могу ручаться. Мое убеждение такое, что если представлялся случай сделать добро — нужно всегда попытаться... Если вы из десяти моих просьб исполните две, то и тогда я буду доволен, что через мое посредничество сделалось хоть два добрых дела» — это из письма Дандевиллю от 11 мая 1855 года. И всех других, кто делал добрые дела, Алексей Николаевич глубоко уважал. Так, в одном из писем к Дандевиллю Плещеев с теплым сочувствием отзывается о деятельности О. Я. Осмоловского, чиновника азиатского департамента министерства иностранных дел при Оренбургской пограничной комиссии, пользующегося большим уважением и даже любовью у казахов прежде всего за честность, демократизм, умение понять нужды местного населения и помочь ему.

Но те, кто насаждал политику притеснения коренного населения среднеазиатских земель, вызывали у поэта чувство негодования. Особенно возмущали Плещеева беспринципность, спекуляции отдельных

гарнизонных «аристократов на русской службе» на самых святых чувствах и идеалах, в частности, его до глубины души возмутили разглагольствования о «патриотизме» коменданта крепости Беринга. «Хороша тоже теория любви к Отечеству самого коменданта. Недавно, призвав одного конфирмованного, он стал ему читать мораль и, между прочим, сказал: что такое Отечество? Это вздор. Где хлеб дают, там и Отечество. Вот мы немцы, а служим, как русские», — пишет Алексей Николаевич Дандевиллю 21 февраля 1856 года.

«Да, такой потребительский «патриотизм», увы, был не редким среди приезжавших в Россию «на ловлю счастья и чинов», но ведь эта древняя «теория» корнями уходит еще к учению фарисеев. Она уместна в устах «гонимого» ростовщика-иудея, но не рьяного христианина, каким выставляет себя Беринг». Плещееву вспомнилась развеселившая всех в гарнизоне история обращения Берингом батарейного хорунжего Сибаяева в христианство: мусульманин Сибаяев явился к коменданту по службе, и Беринг несколько часов толковал о чудесах Христа, прибавляя беспрестанно вопрос: «Ну сделает ли это вам Магомет?», на что Сибаяев, не допуская мысли о возможности насытить пять тысяч человек пятью хлебами, шутливо отвечал: «Больно его мудрено гулял...»

За время службы в крепости Плещеев обрел немало друзей среди младшего офицерского состава. Молодые офицеры тянулись к Алексею Николаевичу, видя в нем человека редкой отзывчивости, ценя ум и широту духовных интересов ссыльного поэта, — об этом с глубокой признательностью писал Плещееву много лет спустя Владимир Алексеевич Бельцев, служивший инженер-под-поручиком в форте Перовском в 50-е годы.

А вот высший офицерский «ареопаг» крепости, зная о систематической переписке Плещеева и Дандевилля, распространил даже версию о том, что Плещеев якобы постоянно доносит подполковнику (а значит, и Перовскому) обо всем происходящем в крепости. Когда такие слухи стали известны Алексею Николаевичу, он, как сам признавался в одном из писем, «сначала расстроился, но потом, когда размыслил хорошенько, то увидел, что глупо было бы дорожить мнением таких господ, которые здесь даже сделались общим посмеянием и никем не терпимы». И потому «...доносить вам о том, что такой-то и такой-то нуждается в вашей помощи, и просить о вашем содействии тоже буду постоянно, потому что вы мне дали разрешение на это, и не раз уже по моим просьбам делали добро людям, находящимся в степи».

Долгожданное производство Алексея Николаевича в офицеры произошло весной 1856 года, 11 мая. Производству в прапорщики способствовали хлопоты матери, друзей, да и сам Плещеев, почувствовав ухудшение здоровья, стал с конца 1855 года энергично хлопотать о «высочайшем» помиловании, стремясь теперь уже вырваться из крепости в Оренбург. Потому и в письмах этого периода он часто сетует на скуку, дикость, ограниченность офицеров-сослуживцев, интриги, сплетни в командных кругах. «Ради бога, Виктор Дезидерьевич, вытащите меня из этого омута, называемого Сыр-Дарьин-ской линией», — просит он своего покровителя, которому с горечью признается, что жизнь «гибнет бесплодно, гибнет без пользы и счастья» и что «за два месяца, проведенных где-нибудь в большом городе, Петербурге, например, где общественная жизнь, науки, искусства — все в полном развитии, блеске, — я отдал бы охотно остальную жизнь». О тяжелом состоянии духа говорит поэт и в стихотворении «Раздумье».

Вместе с получением офицерского чина прапорщика Плещеев переводится из форта Перовский в 3-й Оренбургский линейный батальон, расположенный в самом губернском городе. Выехав из крепости 14 июня, Плещеев только через месяц с небольшим прибыл на место. Теперь уже на положении полноправного члена общества мог он посещать кружок местной интеллигенции, группировавшейся непосредственно вокруг самого В. А. Перовского, удостоенного не так давно графского титула. Для упавшего духом, истерзанного унижениями и оскорблениями за пять с лишним лет солдатчины поэта такая перемена в жизни значила очень много. Возобновились встречи с В. В. Григорьевым, налаживались новые знакомства; особенно близко сошелся Плещеев с начинающим литератором С. Н. Федоровым, которого опекал потом всю жизнь, посвятил ему ряд произведений.

Летом 1856 года в Оренбурге остановился М. Л. Михайлов — поэт, публицист, возглавлявший по заданию морского министерства литературно-этнографическую экспедицию по Оренбургскому краю, и Плещеев устанавливает дружеские отношения со столичным литератором — одним из активных сотрудников «Современника», другом и сподвижником Некрасова, Чернышевского, Добролюбова, Шелгунова и других революционно настроенных деятелей культуры...

Но Оренбург встретил Плещеева не без горестей: скоропостижно скончалась еще в 1855 году Любовь Захаровна Дандевиль, к которой Алексей Николаевич испытывал самые нежные чувства, а В. Д. Дандевиль в чине полковника уезжает вскоре на постоянное жительство в Петербург

— утрату этих друзей поэт переживал особенно тяжело. Здоровье самого Алексея Николаевича тоже оставляло желать лучшего, и он вскоре по возвращении в Оренбург стал хлопотать об увольнении с воинской службы, благо что заключение медицинской комиссии о нездоровье его было отправлено в высшие инстанции еще из форта Перовского. Осенью 1856 года Плещеев подает на имя императора прошение о дозволении ему по состоянию здоровья перейти на гражданскую службу. Генерал-губернатор Перовский это прошение поддерживает, и 17 ноября того же года Алексей Николаевич «увольняется из военной службы с переименованием в коллежские регистраторы и с дозволением перейти на гражданскую службу, кроме столиц».

Расставшись с опостылевшей казарменной обстановкой, Плещеев решил некоторое время отдохнуть в самом прямом смысле: он часто посещал званые вечера у «оренбургских аристократов», куда теперь его приглашают не без удовольствия (умен, образован, молод — прекрасный кандидат в мужья), а существование свое поддерживает уроками французского, русского языков в тех же домах. Атмосфера светского общества, конечно, не могла удовлетворить поэта.

...Все тех же увидал я чопорных педантов,
Нелепых острюгов, честолубивых франтов...
Все те же ссоры, сплетни и интриги;
В почете карты все, и все в опале книги! —

писал он в одном из стихотворений.

Но что делать, коль судьба «привязала» его к Оренбургу?..

На одном из вечеров в доме дворянского собрания Алексей Николаевич знакомится с семнадцатилетней Еликонидой Александровной Рудневой — дочерью титулярного советника Александра Михайловича Руднева, служившего надзирателем при илецком соляном промысле (крепость Илецкая Защита). Еликонида Александровна, наездами бывавшая с родителями в Оренбурге, считалась одной из самых видных красавиц края. Красота ее пленила сердце тридцатидвухлетнего поэта: Алексей Николаевич твердо решает связать свою судьбу с судьбой Еликониды Александровны — тем более что уже давно мечтал о семейном уюте.

Е. А. Руднева при красоте своей, природном уме и хорошем воспитании была еще и сравнительно «богатая» невеста — имела за собой 50 тысяч рублей приданого. Но Алексей Николаевич со всем пылом

влюбленного меньше всего рассчитывал на ее богатство, напротив, стал энергично подыскивать себе более или менее выгодную службу, которая могла бы обеспечить материальную независимость и ему, и его будущей супруге. В этом ему помог Василий Васильевич Григорьев, занимавший должность председателя Оренбургской пограничной комиссии. Благодаря содействию Григорьева Плещеев был зачислен в штат чиновником комиссии, а с 20 мая определен на должность столоначальника вновь открытого «временного стола по управлению Внутренней киргизской ордой». А чуть раньше — всемилостивейшим манифестом, обнародованным 17 апреля 1857 года, — Плещееву возвращается звание потомственного дворянина со всеми правами, этому званию принадлежащими.

Званые вечера, приемы, знакомства, переходящие в дружеские отношения даже с высокопоставленными чиновниками, как, например, с гражданским губернатором Е. И. Барановским, придерживавшимся в период подготовки крестьянской реформы весьма радикальных взглядов, — с этим «странным» губернатором Алексей Николаевич будет поддерживать дружескую переписку и когда переедет жить в Москву; балы в здании дворянского собрания, визиты в дома местной «знати» — все это на первых порах даже увлекало, давало большую пищу и для творческой фантазии. Наблюдения над жизнью оренбургского общества служат сюжетами для прозаических произведений, которые снова пробует сочинять Алексей Николаевич.

Заштатный город Бобров из «Житейских сцен» — копия «столицы степей» Оренбурга:

«Все в городе Боброве было основано на чистой любви, каждый почти знал за своим соседом грешки, но никому в голову не приходило обличать их даже намеком. Все граждане были пропитаны сознанием слабости человеческой природы и тою неопровержимой аксиомой, что «ведь свет не пересоздашь, а следовательно, и толковать об этом нечего». Физиономия города Боброва была тоже из самых обыкновенных. В ней, как и повсюду, можно было найти присутственные места, окрашенные охрой, губернаторский дом с венецианскими окнами и балконом, клуб, где по субботам играли в карты, а по четвергам танцевали...» — иронически характеризует Плещеев город, в котором зоркий глаз художника подмечает, увы, не только внешнюю претензию на благопристойность. За мишурой и светским бездельем «аристократов» писатель видит людей с благородными сердцами (казначей Агапов, его дочь Маша, Шатров), которым искренне сочувствует и рисует их с большой симпатией.

И в повести «Пашинцев», которая писалась, как признавался Алексей Николаевич, «в минуты глубочайшего омерзения к окружающему», нравы и быт города Ухабинска воспроизведены автором из того, что ему каждодневно приходилось наблюдать в реальной оренбургской жизни, за изображение которой позднее, когда повесть увидит свет, Плещеева предадут, по его же определению, «анафеме в Оренбурге».

И все-таки городская светская жизнь нынче ощутимо разнилась от солдатчины и от столь же постылой офицерской службы. Тут все же теплилась надежда не растратить порывы души...

Но прежде всего надо обзавестись семьей, получить согласие от Еликоницы Александровны стать его женой — ведь она тоже полюбила Алексея Николаевича и ничуть не скрывает этого... Однако что-то давно не приезжают Рудневы в Оренбург...

Алексей Николаевич тоскует, скучает, пишет Еликониде Александровне, что ему очень одиноко.

«Мне здесь невыносимо тяжело, грустно. Тоска непомерная давит и мучит меня. Зачем нет Вас подле меня: я бы позабыл этот глупый и душный город с его милыми жителями, угощавшими меня нынче все утро своим бессмысленным любопытством, своими непрошеными советами и непрошеным участием, гораздо более похожим на базарное любопытство, чем на истинное участие... Ваша любовь одна способна исцелить мою болезненную натуру, которая сделалась такой единственно потому, что много выпало мне разных невзгод», — признается Алексей Николаевич невесте, а через два месяца после этого письма едет с одним из приятелей свататься.

Поездка в Илецкую Защиту оказалась веселой: приятель, артиллерийский капитан, с которым Алексей Николаевич познакомился сравнительно недавно, был горазд на выдумки и предложил разыгрывать роль важных господ перед станционным смотрителем на промежуточной станции Донгуз, что в двадцати пяти верстах от Оренбурга. Плещеев согласился. Молодые люди так удачно сыграли придуманный спектакль, требуя от смотрителя лошадей, что наивный и доверчивый смотритель станции и вправду принял их чуть ли не за генералов. Каково же было удивление смотрителя, когда он, достав для «важных господ» лошадей, после отъезда Плещеева с приятелем заглянул в станционную книгу и прочитал там, что один из «генералов» — коллежский регистратор, столоначальник пограничной комиссии, а второй — капитан оренбургской артиллерийской роты...

Свадьба состоялась на родине Е. А. Рудневой в октябре 1857 года,

посаженым отцом Алексея Николаевича был его новый начальник — В. В. Григорьев, дружеские отношения с которым все более крепки.

А на обратном пути из Илецкой Защиты Алексей Николаевич, возвращаясь с молодой женой в Оренбург, снова вынужден был остановиться на станции Донгуз, где станционный смотритель, ничуть не обидевшись на недавний розыгрыш, встретил супружескую чету с истинно русским гостеприимством, и Плещеев приобрел в лице станционного смотрителя еще одного доброго знакомого.

Итак, рядом любимый человек, друзья, вполне сносная служба, а полного удовлетворения жизнью все-таки нет. Вырвавшись на свободу, Алексей Николаевич почувствовал неодолимую тягу к творчеству, потребность снова окунуться в бурную литературную жизнь, но атмосфера в Оренбурге, увы, далеко не способствовала этому. И Плещеев намеревается во что бы то ни стало переехать в одну из столиц, но на первые просьбы о разрешении жить в Москве или Петербурге получает отказ. Более того. За поэтом по высочайшему повелению за подписью министра внутренних дел 8 июля 1857 года устанавливается секретный надзор.

И все-таки Алексей Николаевич не отчаивается, полон творческих замыслов. Да и служба в Пограничной комиссии, хотя и мешала целиком отдаться литературе, все-таки благодаря прекрасному отношению к поэту В. В. Григорьева не казалась столь уж тягостной.

Через М. Л. Михайлова Плещеев стремится сблизиться с новой редакцией «Современника», еще раньше установил связь с «Русским вестником», опубликовав там еще в декабрьской книжке за 1856 год стихотворения «Раздумье», «Весна», «В степи», опять подписав их старым криптонимом «А. П-въ».

Восстанавливает Алексей Николаевич пока только письменную связь со старыми товарищами Достоевским, Спешневым, Дуровым, Милюковым, налаживает переписку с сотрудниками журналов. Достоевскому в Семипалатинск сообщает о своих литературных замыслах, спрашивает мнение о своих стихах, появившихся на страницах столичных изданий. И... непрестанно ходатайствует об отпуске, чтобы побывать с молодой женой в столице, повидаться с матерью, представить ей Еликониду Александровну.

В декабре 1857 года Плещеев подает на имя генерал-адъютанта Катенина, сменившего в апреле этого года графа Перовского на посту Оренбургского и Самарского генерал-губернатора, докладную записку с просьбой получить четырехмесячный отпуск для свидания с матерью и устройства домашних дел. В. В. Григорьев дал своему подчиненному

блестящую характеристику, и просьба Алексея Николаевича была удовлетворена — он получает 4-месячный отпуск с правом въезда в обе столицы. 29 мая 1858 года Плещеев с женой выехал из Оренбурга в Москву. В Москве Плещеевы пробыли недолго — спешили к матери в Петербург.

Зато в Петербурге Алексей Николаевич успевает повидаться со многими старыми знакомыми, основательно пообщаться с ними. Он с радостью навещает Тургенева, Салтыкова, Некрасова, Шевченко; знакомится с Чернышевским и Добролюбовым, к которым с первой же встречи почувствовал полное расположение и симпатию...

Встреча с Добролюбовым, а потом и с Чернышевским произошла в редакции «Современника», где по рекомендации М. Л. Михайлова уже были опубликованы новые плещеевские стихи.

С трепетом и волнением переступил Алексей Николаевич порог редакции на Литейном, куда нередко хаживал десятилетие назад, встречался с самим Белинским, светлое имя которого, слава богу, теперь справедливо произносится все чаще и чаще с чувством всеобщей благодарности. Милейший Николай Алексеевич Некрасов, друг и сподвижник Белинского, по-прежнему ведет журнал. И как ведет! Пожалуй, нигде еще ни один печатный орган не имел такого огромного влияния на общество, как нынешний «Современник». Лучшие русские прозаики и поэты отдают свои сочинения в этот журнал. А литературно-критические статьи «г. — бова», о которых слышал восторженные отзывы еще в Москве? А публицисты?..

Алексей Николаевич прошел сразу же в кабинет Некрасова, но того не оказалось на месте. Расстроенный Плещеев (о своем визите он предварительно извещал Некрасова запиской) собрался уже было покинуть редакцию, но в это время заметил, что к нему идет довольно высокого роста молодой человек в очках. Молодой человек ровным голосом осведомился:

— Вы хотели видеть Николая Алексеевича?

— Да, я писал ему, что очень желаю повидать его сегодня. — Плещеев внимательно взглянул на молодого человека, невольно поразившись бледности его лица.

— Так вы — Плещеев Алексей Николаевич? — столь же ровно спросил молодой человек, но в голосе его явно прозвучала заинтересованность.

Алексей Николаевич утвердительно кивнул.

— Николай Алексеевич просил меня в случае встречи с вами передать, чтобы вы, если располагаете временем, подождали его. Ну а я, пользуясь

возможностью, хотел бы с вами познакомиться. Я — Добролюбов, сотрудничаю в «Современнике», заведу критико-библиографическим отделом.

— Знаю, с превеликим интересом читаю ваши статьи и несказанно рад... встрече. — Плещеев даже несколько смутился от столь неожиданного знакомства с человеком, к творчеству которого давно проникся уважением. Алексей Николаевич был наслышан, что Добролюбов молод еще, но строг и суров, а стоявший перед ним и поправлявший правой рукой очки молодой человек показался застенчивым и добрым.

Добролюбов пригласил Плещеева к себе, их беседа в ожидании Некрасова затянулась и надолго запала в душу Алексея Николаевича. Удивила и восхитила Плещеева огромная начитанность Добролюбова («Как и незабвенного Валериана Майкова», — подумалось невольно Плещееву), его прекрасное знание иностранной литературы. И неумолимая логика в суждениях. Смущали только весьма категоричные и далеко не восторженные отзывы критика о тех литераторах-современниках, которые были признаны в некотором роде корифеями, — о Тургеневе, Писемском... Обратил тогда Алексей Николаевич внимание и на то, что Добролюбов никогда не смеялся вслух громко, а только улыбался — это оставляло немного странное ощущение у собеседника — может быть, потому и толковали о чрезмерной строгости Николая Александровича.

Зато другой ведущий сотрудник «Современника», Николай Гаврилович Чернышевский, с которым Плещеев через Добролюбова познакомился в свой следующий визит в редакцию журнала, напротив, произвел впечатление человека веселого, жизнерадостного, общительного; он непрестанно шутил, часто громко хохотал, остроумно подтрунивал над собой и своими знакомыми, азартно спорил, и в такие минуты сосредоточенный и уравновешенный Николай Александрович казался взрослее и солиднее Николая Гавриловича, хотя Плещеев знал, что Чернышевский был значительно старше Добролюбова. И все-таки, несмотря на общительный характер Чернышевского, его язвительность как-то не располагала к полной доверчивости. Глубоко уважая Чернышевского за ум, эрудицию, непоколебимую уверенность в правоте отстаиваемых им взглядов, видя в нем не просто литератора, а литератора-идеолога, политического трибуна, Плещееву по-человечески все-таки ближе был Добролюбов, с которым он станет поддерживать дружескую переписку и когда вернется в Оренбург, и затем из Москвы, передавая в своих письмах самые горячие приветы Чернышевскому^[33].

А как по-братски тепло встретил Алексея Николаевича Некрасов! Ведь

до плещеевского ареста особой близости между поэтами не было. С каким участием Николай Алексеевич расспрашивал о мытарствах за годы ссылки, какое глубокое понимание выказывал всем горестям опального собрата. Радушно приглашал к сотрудничеству в журнале, обещал всяческую поддержку. Да, общение с такими людьми, как Некрасов, Чернышевский и Добролюбов, — большая отрада.

Но время летит быстро, и близок конец отпуска. А Еликонида Александровна готовится к родам. 7 октября 1858 года у Плещеевых родился мальчик, нареченный Александром. Радость огромная. Особенно рада бабушка Елена Александровна... Вот только молодой матери после родов стало нездоровиться. Алексей Николаевич хлопочет с продлением отпуска, а заодно и о перемене места службы с переводом в город Уфу. На обе просьбы удовлетворение было дано, но обстоятельства сложатся так, что Плещеев уже и не поедет на новое место службы.

За время отпуска Алексей Николаевич предпринимает новые хлопоты о разрешении постоянно жить в Петербурге, и снова — неудача. Тогда он пишет в феврале 1859 года повторное прошение о продлении отпуска и получает разрешение остаться в Петербурге до весны.

На страницах «Русского вестника», «Современника», «Русского слова» публикуется много новых стихов поэта, которые затем составят отдельный томик «Стихотворения» (выходит весной 1858 года в Петербурге); возвращается Плещеев к переводческой деятельности, продолжает писать прозу: повесть «Наследство», рассказы «Житейские сцены», «Отец и дочь», «Буднев», «Ломбардный билет», «Неудавшаяся афера».

Современники Плещеева уже обратили внимание, что его новые произведения имеют много общего с его «пред-крепостным» творчеством, что не случайно сам поэт назвал стихи 50-х годов «старыми песнями на новый лад». Конечно, годы одиночества и изгнания наложили определенную печать усталости, уныния, некоторого разочарования в жизни, но и сквозь эти горестные ноты пробивались прежние горделивые звуки автора «Вперед!...».

...Душе была дана любовь от бога в дар,
И отличать дано добро от зла уменье;
На что же тратил я священный сердца жар,
Упорно ль к цели шел во имя убежденья?...
О, больно, больно мне!!! Скорбит душа моя,
Казнит меня палач неумолимый — совесть;
И в книге прошлого с стыдом читаю я

Погибшей без следа, бесплодной жизни повесть, —

с горечью говорит поэт в стихотворении «О, если б знали вы, друзья моей весны...».

Мотивов разочарований в его стихах действительно много, и это не могло не дать повода Н. А. Добролюбову сожалеть о том, что «сила обстоятельств не дала развиваться в г. Плещееве убеждениям вполне определенным и ровным, «цельным», как говорят». И когда Добролюбов посвятил выходу плещеевского сборника стихов обстоятельную рецензию в «Современнике», то Алексей Николаевич читал ее не совсем восторженно. «Со вниманием перечитав... стихотворения, нельзя в них не заметить следов какого-то раздумья, какой-то внутренней борьбы, следствие потрясенной и еще не успевшей снова установиться мысли», — писал критик. И далее, развивая свои умозаключения, решительно продолжал: «Поэт постоянно жалуется на то, что его надежды разбиты, мечты обмануты, что сам он немощен и хил. Но в то же время он не может уберечь себя от новых обольщений и все как будто предается мечте, что для него настанет вторая юность, а для человечества новый «золотой век». Читая о себе такие характеристики, Алексей Николаевич соглашался: да, он не теряет веры, что и для него «настанет вторая юность». Однако Добролюбов-то как раз и бранит его за такие мечты: «...эти странные мечты и надежды парализуют ту сторону таланта, которая у г. Плещеева наиболее сильна, потому что наиболее искренна», — вот так-то, любезный Алексей Николаевич, получайте приговор очень симпатичного вам нового приятеля...

И все же отзыв молодого критика «Современника», несмотря на несколько суховатый и даже снисходительный тон, радовал — ведь в одном из авторитетнейших литературных журналов признавалось возвращение поэта в строй. Особенно лестно было заявление критика, что плещеевские стихи, выразившие благородные чаяния лучших представителей общества, уже только поэтому имеют «право на упоминание в будущей истории русской литературы» — значит, и новое поколение литераторов по достоинству сумело оценить то лучшее, чему он посвятил порывы своей души.

Несколько смущала еще и категоричность утверждений Добролюбова о том, что он, поэт Плещеев, «стоит на распутье двух дорог и не знает, которая из них ведет к истине», и довольно прозрачный намек на несостоятельность «сладостных мечтаний», которыми, по мнению критика,

поэт «стремится утешить себя». Ужель только грусть по прошлому и «сладостные мечтания» преобладают в его новых стихах?

«Да, конечно, сомнения, неуверенность — очевидны, и тут вы, Николай Александрович, правы, но так ли уж моя растерянность велика, что дало вам повод сказать о моем незнании дороги, ведущей к истине?» — мысленно вопрошал поэт, перечитывая добролюбовскую статью.

Возможно, эта дорога, ведущая к истине, представлялась Плещееву и не столь отчетливо видимой и логично выстроенной, как Добролюбову, но направление ее поэт, безусловно, представлял — разве в таких стихах, как «Посвящение», «С. Ф. Дурову», «Ты хочешь песен, — не пою...», не слышится тот же горделивый голос, что звучал в годы молодости? И разве этот голос не готов отозваться в решительную минуту?!

...Когда ж пора твоя придет
И с жизнью выйдешь ты на бой,
Когда в тебе житейский гнет
Оставит след глубокий свой,
И будешь, горе затая,
Ты тщетно ждать участия слов, —
Тогда зови... и песнь моя
На грустный твой ответит зов.

Писались и наполненные праздничным ощущением полноты жизни стихи — «Зимнее катанье». Ведь Алексею Николаевичу было еще немногим больше тридцати, он любил, был любим, а значит, и счастлив... Но даже любимому, близкому человеку поэт признавался: «Молю, чтоб в сердце не погас огонь вражды к неправде черной; чтобы к борьбе со злом упорной готов был друг твой каждый час».

Стихи — это исповедь души, в них находили выражение минутные озарения и многодневные раздумья, прихотливость желаний и трезвый анализ событий, искрометность чувства и рефлексивная работа мысли...

Другое дело проза: здесь можно и «спрятаться» за фабулу, «прикрыться» иронией, уйти, наконец, в бытописательскую созерцательность. Но Алексей Николаевич и в прозе не мудрствовал лукаво, открыто и прямодушно высказывал свой взгляд на жизнь, свое отношение к миру. И прежде всего свои сомнения в способности молодого поколения дворян противостоять «среде», то есть тем общественным отношениям, непоколебимость которых стала подвергаться сомнению в

первую очередь разночинной молодежи.

Но вот беда; благородные порывы критиков «среды» тоже пока разбиваются о прочные стены этой самой «среды», а намерения критиков работать, служить, приносить пользу по мере сил и способностей тоже терпят крах — все это Алексею Николаевичу приходилось воочию наблюдать в Оренбурге. Да и за время затяжного отпуска в столице он имел возможность не раз убедиться в верности своих обобщений относительно того, что время дворянской революционности кончилось, что народился и энергично утверждает себя новый тип реформатора — разночинец; на него-то, сильного человека «с мозолистыми плебейскими руками», и пытался обратить читательское внимание Алексей Николаевич в повести «Пашинцев» на примере студента Мекешина.

А после личного знакомства в редакции «Современника» с Чернышевским и Добролюбовым Алексей Николаевич окончательно уверовал, что в лице разночинца обездоленное сословие русского народа обретает, пожалуй, самого надежного и верного защитника.

Отпуск, затянувшийся на целый год и проведенный в мире, от которого Алексей Николаевич был изолирован в течение почти десяти лет, оказался не только благотворным, но и окончательно укрепил решительность поэта во что бы то ни стало добиться разрешения на постоянное жительство в Москве, так как в проживании в Петербурге ему было окончательно отказано. На прошение, которое Плещеев подал перед отъездом из столицы весной 1859 года, ответа не было, и Алексей Николаевич, вернувшись в Оренбург, оказался в несколько неудобном положении: он был зачислен на службу в штат канцелярии оренбургского гражданского губернатора еще до возвращения из отпуска. Постоянная резиденция этой канцелярии находилась в Уфе, но Плещеев не спешил с выездом на новое местожительство, ожидая ответа на свое прошение императору о переводе в Москву.

И вот 30 августа 1859 года Алексей Николаевич получает свидетельство за № 556, в котором удостоверялось: «г. Плещееву по всеподданнейшей его просьбе высочайше разрешено постоянное жительство в Москве». Правда, не снимался секретный надзор за ним — это, конечно, и оскорбительно и унижительно. И терпеть такое придется, вероятно, еще долго. Но главное радовало — Москва. Старая, древняя Москва, где как раз и прервалась арестом 28 апреля 1849 года вольная жизнь литератора Плещеева. Как-то она, Москва, встретит возвращающегося поэта, как примет его новые песни?

ЛУЧШИЕ ГОДЫ В МОСКВЕ

*Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!*

Федор Глинка. Москва

Как все-таки меняет нас время!

То, к чему не так давно, казалось, был если не равнодушен, то, по крайней мере, спокоен, нынче волнует, тревожит, восхищает, удивляет с нарастающей силой.

Десять лет назад Алексей Николаевич в своих письмах из Москвы Достоевскому, Дурову и другим петербургским товарищам отзывался о древней столице довольно снисходительно, а вот теперь, поселившись в Москве, все больше и больше влюбляется в этот неповторимый по своему облику город. Да и можно ли оставаться равнодушным к Москве, где все дышит историей Отечества: Красная площадь, чудо русской архитектуры Покровский собор, величавый Кремль с часами на Спасской башне, краснокирпичные стены которого напоминали нижегородский, знакомый с далекого детства... А церкви и часовенки — их еще осталось в Москве, сказывают, больше полутысячи и панорамная златозвездность которых особенно впечатляла с высот Воробьевых гор: могучие монастырские башни, внушительные остатки Камер-коллежского земляного вала... Да и сами московские улицы — извилистые, дугообразные, ничуть не похожие на стрельчатые «фрунтовые» петербургские, ласкали взор, манили-звали на прогулку и не казались почему-то теперь неуклюжими, неприбранными, как десять лет назад.

Вот и Арбат с его многочисленными улочками и переулочками (в одном из таких переулков — Трубниковой, что выходил к церкви Спаса на Песках, и поселилось семейство Плещеевых), своим уютом и тишиной они влекли Алексея Николаевича.

В Москву приехал Плещеев, можно сказать, при деньгах, вернее, с перспективой быть при деньгах: еще в 1857 году он получил наследство в пятьдесят тысяч рублей от одного из умерших родственников. Но деньги эти как-то быстро растратились, ибо «банкир» из Алексея Николаевича вышел никудышный. Большая часть денег из полученного наследства была

израсходована для выплаты долгов на имение в Княгининском уезде — это имение, принадлежащее Плещееву и его матери, приносило давно одни убытки, а почему — Алексей Николаевич понять не мог, испытывая и всегда-то удивлявшую всех знакомых беспомощность, когда дело касалось практической стороны житейских предприятий.

Вот и теперь оставшейся части денег наследник не находил применения. В письмах к Е. И. Барановскому в Оренбург Плещеев неоднократно говорит о намерении «пристроить свой капиталец, который лежит без употребления». но не знает, как это сделать толково. Наконец, «определив кое-как свой капитал, купил дом, но сам в нем жить не буду пока...», — сообщает он тому же Барановскому. А для собственной семьи намеревался построить флигель.

Приобретенный на Малой Дмитровке дом и стал, в сущности, «свободным капиталом» Плещеева в первые годы московской жизни. А «движимая» часть наследства была использована для оказания помощи другу: еще в 1858 году Алексей Николаевич, узнав о тяжелом материальном положении Ф. М. Достоевского, высылает ему в Семипалатинск тысячу рублей: благодаря этой помощи Достоевский рассчитался с долгами и выехал в Тверь.

В собственном доме на Малой Дмитровке Плещеев так и не жил, а снял квартиру на Арбате. Сделал это, вероятнее всего, потому, чтобы иметь возможность в любое время дом продать и на случай нужды вновь обратиться «недвижимое имущество» в «свободный капиталец» — никаких дополнительных доходов Алексей Николаевич не имел и все свое будущее связывал с литературной работой, ибо еще до отъезда в Москву уволился 13 августа 1859 года со службы в отставку.

Владельцем дома на Малой Дмитровке Алексей Николаевич тоже пребывал недолго. Сначала дом был заложен в кредитное общество, а потом продан, когда Алексей Николаевич стал одним из пайщиков и редакторов «Московского вестника» в 1859–1861 годы. Ну а деньги от заложенного в кредит, а затем и проданного дома «\текли», как говорится, незаметно: пай, внесенный в «Московский вестник», семь выпусков пособия для учащихся и самообразования «Географические очерки и картины, составленные по Грубе и другим источникам» (1861–1866 годы), издание собственных повестей и рассказов в 1860 году в двух частях...

В Москве первый месяц — в хозяйственных заботах, в «хлопотах по обзаведению», как сообщит чуть позже Алексей Николаевич в письме А. П. Милюкову — товарищу по кружкам Бекетовых и Петрашевского, а ныне петербургскому литератору, одному из редакторов организуемого нового

журнала «Светоч». Кстати, в этом же письме Плещеев уже жалуется на свои материальные затруднения — видимо, «свободный капиталец» истощался...

В первые недели московской жизни Алексей Николаевич ведет несколько уединенный образ жизни, но постепенно связи его расширяются: 19 декабря 1859 года московское Общество любителей российской словесности избирает поэта в действительные члены, он встречается со всеми видными московскими литераторами, со многими налаживает товарищеские отношения. Трогательная встреча с Тарасом Григорьевичем Шевченко, который навестил Алексея Николаевича и передал свою автобиографию (была опубликована в «Московском вестнике» 1 апреля 1860 года), особенно порадовала. Тарас Григорьевич от души поблагодарил Алексея Николаевича за переводы стихов, особенно расхвалил «Сон» («Она на барском поле жала...») и песни. Оба вспомнили о памятных для них встречах осенью 1850 года в Уральске...

И все-таки, поселившись в Москве, Плещеев всеми силами стремится установить тесные связи с петербургскими изданиями, а не с московскими, хотя тепло принят и в московских журналах, и газетах, в частности, в том же «Русском вестнике» М. Н. Каткова. Впрочем, на какое-то время Алексей Николаевич, войдя в число пайщиков и соредакторов газеты «Московский вестник», активно включается в журналистскую жизнь. «Московский вестник» стали издавать четыре пайщика: А. Н. Плещеев, Н. А. Основский, И. В. Павлов и Н. А. Воронцов-Вельяминов.

Иван Васильевич Павлов — приятель Плещеева по Оренбургу, где в 50-е годы служил у генерала Перовского, вернулся в 1860 году в Москву, вышел в отставку и начал деятельно сотрудничать в различных изданиях, публикуя под псевдонимом Л. Опухтин статьи, фельетоны, очерки. Человек недюжинного ума и сильных организаторских способностей, Павлов, став соредактором «Московского вестника», играл, пожалуй, главную роль в газете, хотя, как и Плещеев, был всего лишь «приглашенным» пайщиком, а единственным издателем первых номеров газеты считался Н. А. Основский.

Если Плещеев и Павлов видели в газете трибуну для выражения важных общественных и литературных проблем, то Основский подходил к газетному делу чисто коммерчески. Будучи книгоиздателем прежде всего, причем плутоватым издателем-торгашом, Основский к этому времени почти отошел от занятий литературой, хотя в середине 50-х годов пробовал публиковать свои охотничьи рассказы в «Современнике», в «Русском вестнике», выпустил эти рассказы даже отдельной книгой. Теперь же

Основского, ставшего типичным дельцом, обуяла жажда денег. В 1860 году он покупает у Тургенева право на издание его сочинений в 4-х томах, запутывает дело с выплатой гонорара автору, выставив виновниками двух других пайщиков издания — Павлова и Плещеева, которые оказались под угрозой обвинения в бесчестии. К тому же Основский сумел убедить в этом А. А. Фета, которого И. С. Тургенев уполномочил «взять на себя все сношения с Основским». Афанасий Афанасьевич Фет извещает Ивана Сергеевича Тургенева о «вине» Плещеева и Павлова, и Алексей Николаевич вынужден вести с Тургеневым затяжную переписку, доказывать фактами мошенничество и нечистоплотность Основского... Редактирование «Московского вестника» отнимает уйму времени, но Алексей Николаевич помаленьку входит в ритм московской жизни. С первых же месяцев в Москве он снова становится страстным театралом: посещает спектакли, налаживает связи с драматургами, актерами, много пишет о театральных постановках. А в эту пору русская сцена переживала необычайный подъем: 16 ноября 1859 года в Малом театре состоялась премьера «Грозы» А. Н. Островского, имевшая огромный успех, в театрах шли и другие пьесы знаменитого драматурга. С Островским Плещеев сходится довольно близко, становится впоследствии, с декабря 1865 года, одним из его ближайших помощников в качестве старшины московского Артистического клуба.

Дружеские отношения устанавливает Плещеев с виднейшими актерами Малого театра М. П. Садовским, С. В. Васильевым, С. В. Шумским, Л. П. Косицкой, раскрывшими свои таланты благодаря гениальным пьесам Островского. Часто Алексей Николаевич после спектаклей заходит на дружеские вечеринки к актерам, нередко приглашает их в свою квартиру. Тонкий ценитель сценической игры, наделенный и сам драматургическим даром, Плещеев вскоре становится душой организованного по инициативе Островского Общества русских драматических писателей и композиторов...^[34]

Новая квартира поэта (на Арбате Плещеевы прожили недолго и в 1860 году переехали в дом Дарагана на Плющиху) всегда открыта для вновь приобретенных и старых друзей: здесь бывают Островский, Л. Толстой, Константин и Иван Аксаковы; останавливающиеся проездом в Москве Тургенев, Салтыков-Щедрин, Некрасов тоже не забывают навестить Алексея Николаевича. Возобновились дружеские отвлечения с Алексеем Михайловичем Жемчужниковым, которого Плещеев полюбил еще в Оренбурге.

К сожалению, не со всеми старыми друзьями довелось Алексею

Николаевичу свидеться. А как хочется обнять Федора Михайловича Достоевского, получившего в конце 1859 года разрешение поселиться в Петербурге! Но пока с Федором Михайловичем, как и с другими друзьями-петербуржцами, общение ограничивается перепиской...

В первые послесыльные месяцы в Москве познакомился Алексей Николаевич с Иваном Ивановичем Лажечниковым, автором «Ледяного дома» — романа, про который Пушкин сказал, что многие его страницы «будут жить, доколе не забудется русский язык». И какая приятная неожиданность: Иван Иванович изъявил желание опубликовать в «Московском вестнике» мемуарные «Записки для биографии В. Белинского»! Алексею Николаевичу, всегда благоговевшему перед памятью Белинского, не без основания причислявшему себя к ученикам одного из первых пропагандистов социализма в России, такое предложение почтенного романиста представляется драгоценным даром: Иван Иванович был не просто другом великого критика, но в какой-то мере и первооткрывателем способностей совсем юного Белинского, учившегося в Пензенской гимназии как раз в те годы, когда Лажечников директорствовал в ней.

Несмотря на большую возрастную разницу, Лажечников был старше Плещеева на 33 года, между Иваном Ивановичем и Алексеем Николаевичем установились вполне приятельские отношения, которыми оба были весьма и весьма довольны...

Жизнь налаживалась, и хотелось посвятить себя настоящему большому делу, но тут возникали и серьезные сомнения: а хватит ли силы духа, способностей, воли, мужества?.. Общество живет ожиданием неизбежных коренных перемен, и самый больной вопрос для России — освобождение крестьянства.

Но далеко не одинаковое разрешение этого вопроса предполагали и предлагали деятели различных лагерей общественного движения 60-х годов.

Программа революционно-демократических преобразований, выдвигаемая петербургскими знакомыми Плещеева: Чернышевским, Добролюбовым и их соратниками, предусматривала вместе с ликвидацией крепостничества необходимость других немедленных социально-политических преобразований в стране: установление подлинных политических свобод, установление народовластия как единственной формы правления, обеспечивающей полную социальную справедливость. Чернышевский вслед за Радищевым и декабристами звал общество к республиканскому самоуправлению, категорически отвергая всевозможные

иллюзии относительно «доброто» и «мудрого» самодержавия, настойчиво разъясняя, что проблема освобождения крестьян (он настаивал на безвозмездном наделении всех крестьян землей) должна решаться в тесной взаимосвязи с другими демократическими преобразованиями в обществе, сломом существующего уклада жизни в России и заменой его иным, социалистическим, в котором «отдельные классы наемных работников и нанимателей исчезнут, заменившись одним классом людей, которые будут работниками и хозяевами вместе».

Но другая часть русской интеллигенции (в нее входило, пожалуй, и большинство литераторов) возлагала серьезные надежды на реформы властей, придерживалась позиции «мирного» улучшения общества, полагая, что оно, это общество, не готово к революции, ибо народ разобщен с интеллигенцией — такого мнения были не только публицисты из лагеря либералов-западников вроде К. Д. Кавелина, М. Н. Каткова, В. П. Боткина, его разделяли в предреформенный период (в 1859—60-е годы) даже Герцен и Огарев, не принявшие революционной программы Чернышевского и Добролюбова, многие крупнейшие художники слова, среди которых: И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. А. Гончаров, молодой Л. Н. Толстой... На «мирные», хотя и коренные преобразования общества по-прежнему рассчитывали славянофилы, не теряя надежды вместе с падением крепостничества увидеть в России приведение государственного порядка в соответствие с народными идеалами; славянофилов во многом поддержат представители возникшего в разгар осуществления крестьянской реформы (февраль 1861 года) нового общественного течения почвенничества (Ф. М. Достоевский, А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов), ратовавшие за сближение интеллигенции с народом на этической основе, на основе идей, возвращенных на родной почве, и прежде всего идее единого развития русского национального самосознания.

Алексей Николаевич колеблется: испытывая большую личную симпатию к Чернышевскому и Добролюбову, почти целиком разделяя их позицию, он в то же время далеко не столь решительно, как они, разделяет идею «взлома», не совсем расстается с иллюзиями «мирных» перемен в обществе. Эти колебания особенно сказываются в первый послесельный год в Москве, когда Плещеев возвращается к активной литературно-общественной деятельности.

Высоко оценивая роман Тургенева «Накануне», который вызвал исключительно бурную полемику в печати, Плещеев особо выделяет в произведении дорогую ему идею жертвенности «во имя любви к правде». В письме к Е. И. Барановскому говорит, что роман «заставляет крепко

призадуматься», что «все живое, молодое и мыслящее будет на стороне Тургенева», а месяцем позже в письме Ф. М. Достоевскому от 17 марта 1860 года выговаривает своему другу, отрицательно отнесшемуся к тургеневскому произведению: «Я на тебя, братец ты мой, очень сердит за твой отзыв о романе Тургенева. Что за ярлычки ты везде находишь. После этого — не смей художник выставить ни одного типа, служащего представителем известной породы людей, известного класса общества, все ярлычки. И почему так легко жить болгару, посвятившему себя великому делу освобождения родины? Не знаю, легко ли ему жить, но я бы желал пожить такой жизнью. Непосредственным натурам, *цельным*, не подточенным анализом и рефлексивностью, не путающимся в разных противоречиях, жить, конечно, если хочешь, легче... но когда эти натуры несут на плаху головы во имя любви к правде — ужели они менее гамлетов и гамлетиков достойны сочувствия?..»^[35]

Плещееву дорога в тургеневском Инсарове прежде всего способность к деятельности, и он готов простить ему некоторую сухость, равнодушие к искусству. В отличие от многих, упрекавших Тургенева за то, что он возвел на пьедестал человека чересчур «железного», Плещеев придерживается совсем иного мнения: «...А что натуры практические, деятельные не любят по большей части искусства — это факт, повторяющийся беспрестанно в действительности. Тургенев взял этот факт и был вправе так сделать. Он вовсе не хотел сказать, что эти люди не могут или не должны любить искусства. Но показал только, что есть на самом деле. Артистическпе натуры по большей части — не деятели», — заканчивает Алексей Николаевич свое письмо к Достоевскому.

Таковыми людьми, способными к практической деятельности, были для Плещеева и разночинцы-демократы во главе с Чернышевским и Добролюбовым, но себя-то Алексей Николаевич причислял к иному типу людей, считая себя пригодным только к литературной работе. Правда, и здесь его порой одолевали сомнения, и он однажды в 1861 году скажет в письме к Некрасову: «Стихи мои пи-кого не волновали и были хуже плоской прозы, несмотря на искренность писавшего их». Но следом за столь самоуничижительным отзывом (Плещеев в этом же письме спрашивает у Некрасова совета, не бросить ли писание вообще, и это после пятнадцатилетия литературной деятельности!) следует и такое признание: «Только вот беда, Николай Алексеевич, едва ли я способен к какой-нибудь деятельности, вследствие разных «неблагоприятных обстоятельств». Жизнь помяла меня порядком — и практическим человеком уже мне не сделаться. Литература была единственным моим прибежищем. Здесь я мог, по

крайней мере, оставаться «человеком». *Всякая другая деятельность у нас более или менее холопская...»*

Говоря о том, что ему не сделаться «практическим человеком», теперь, в начале 60-х годов, Плещеев, вероятнее всего, имел в виду участие в том реальном деле, к которому готовили себя революционные демократы в складывающейся ситуации. А ход событий к тому времени, когда Плещеев писал Некрасову, обретал еще большую напряженность в связи с тем, что царское правительство, начав осуществление крестьянской реформы, сумело привлечь на свою сторону часть либеральной оппозиции.

Но и в предреформенную пору Плещеев все свои силы отдавал литературной работе, и в том «малом» литературном деле он на стороне революционных демократов в кардинальных вопросах, хотя и принимает попытки «примирить» их с деятельностью людей, придерживающихся противоположных взглядов или почти противоположных — со славянофилами, в которых тоже видел честных искателей истины, поборников добра и справедливости, противников крепостничества.

Будучи сам «человеком 40-х годов», убежденным «западником», Плещеев, вернувшись из ссылки, во многом углубляет свое видение проблемы соотношения национального и общечеловеческого, поддерживает критику славянофилами «русского европеизма», не учитывающего особенностей национального характера. И в своей газете «Московский вестник» Алексей Николаевич горячо приветствует возобновление издания «Русской беседы» — журнала, редактируемого И. С. Аксаковым:

«В каком бы виде ни возобновилась «Беседа», мы приветствуем ее от души, потому что всегда считали ее весьма полезным органом в нашей литературе, и хотя далеко не во всем соглашались с так называемыми славянофилами, по даже и увлечения их постоянно считаем достойными уважения».

В первый период проживания в Москве Плещеев довольно близко сходитя с Константином и Иваном Аксаковыми (которых-в 40-е годы только «созерцал»), и личное общение с ними убеждает Алексея Николаевича, что противоречия между славянофилами и демократами из «Современника» не такие уж непримиримые, более того, он находил, что общинные принципы развития России, провозглашаемые и теми и другими, как никогда, сближают их — тут Плещеев, не поняв на первых порах всей существенной разницы между «общинным» социализмом Чернышевского и идеализацией русского общинного быта славянофилами, определенно заблуждался, как заблуждался и относительно кажущейся

лояльности Чернышевского к «мирному» завоеванию политических, конституционных свобод — на самом деле и в пореформенный период Чернышевский всегда выступал за решительную ломку самодержавно-бюрократической системы правления России, установление социально-экономического и политического равенства в стране на основе революционного народовластия. Но главное, что должно было бы, по мнению Плещеева, рано или поздно объединить петербургских революционных демократов и московских славянофилов — безграничная любовь к трудовому народу и столь же безграничное неприятие крепостничества, — Алексей Николаевич чувствовал, пожалуй, абсолютно безошибочно.

А вот московские «западники», увы, растратили свой былой радикализм и осторожничают на каждом шагу, что особенно было неприятно Алексею Николаевичу, оставшемуся верным идеалам молодости, за которые он поплатился десятилетием свободы. В одном из писем Добролюбову поэт сообщает: «Признаюсь, что хотя И. Аксаков славянофил, но в нем гораздо больше сочувствия всему живому, современному и молодому, чем в московских западниках, которых он справедливо упрекает в старческой умеренности и благоразумии».

Раскол в литературном мире из-за обострившейся идейной борьбы Алексей Николаевич воспринимал очень болезненно, потому что не терял надежды на соединение лучших литературных сил — в начале 60-х годов это лейтмотивом звучит в его письмах к одному из редакторов журнала «Светоч» А. Милюкову, в письмах к Достоевскому, Некрасову и другим видным литераторам-современникам.

«Каждый писатель в наше время берется за перо вследствие потребности высказать свои задушевные убеждения, свой взгляд на окружающую его действительность в полной уверенности, что каждый верно освещенный факт, каждый живой образ, являющийся в литературном произведении, принесет пользу», — утверждает Плещеев в одной из статей на страницах «Московских ведомостей» в 1861 году и, исходя из этого, полагает, что разногласия между представителями различных направлений вполне устранимы, ибо «истинный художник не может оставаться равнодушным к происходящему перед его глазами». Алексей Николаевич по-прежнему остается идеалистом, романтиком, продолжает свято верить в добро и справедливость, в принципы, усвоенные в 40-е годы из утопических сочинений социалистов (над такой любовью иронизировал герой Достоевского в «Записках из подполья»: «Я иду босой и голодный проповедовать новые идеи и разбиваю ретроградов под Аустерлицем... Все

плачут и целуют меня...»).

Да, ссыльное десятилетие не произвело в Плещееве сильного духовного переворота, как в его друге 40-х годов Достоевском, и Алексей Николаевич все еще продолжал верить в жертвенность ради идеи, воспринимая идеалы любви и правды в несколько романтическом ореоле — потому и возражал «сердито» Достоевскому в письме по поводу романа «Накануне».

Не последнюю роль эта старая «мечтательность» сыграла и в сближении Плещеева с революционными демократами. Он видел в них прежде всего поборников «любви и правды», как и в сподвижниках по 40-м годам, а в деятельности Чернышевского, Добролюбова, Михайлова было немало общего с пропагандистами социализма первой половины века, они во многом, и не без основания, считали себя продолжателями дела Белинского. Алексей Николаевич, как это с ним часто случалось, на почве идейного родства вскоре проникся и большой личной симпатией к боевым публицистам из редакции «Современника».

С того памятного для Алексея Николаевича знакомства с Добролюбовым и Чернышевским, что произошло еще в период отпускного приезда поэта из Оренбурга, минуло достаточно времени, и оно ничуть не убавило возникшее при первых встречах взаимное доверие и дружелюбие. Не имея возможности встречаться с сотрудниками «Современника» лично, Плещеев поддерживает с ними постоянную письменную связь как «свой человек», и он оказался чуть ли не единственным из петрашевцев, нашедшим общий язык с революционными деятелями из этого журнала, почти целиком разделяя их литературные и социально-философские взгляды — ведь все активные «пропагаторы» социализма 40-х годов, пережив период реакции 50-х, не сумели (за исключением, пожалуй, М. Е. Салтыкова-Щедрина) поладить ни с Чернышевским, ни с Добролюбовым.

По своей философской и этической позиции далек от платформы революционных демократов был и Ф. М. Достоевский — в 40-е годы убежденный сторонник утопического социализма на русской почве. Испытав за время каторги и ссылки гигантский духовный переворот, выработав для себя новый символ веры — преклонение перед правдой народа («если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его», — писал он брату Михаилу с каторги), придя к решительному убеждению, что мир и людей можно изменить лишь подвижнической и длительной работой по духовному перевоспитанию общества, а не скоропалительными, как ему казалось, призывами «к социальному перетряхиванию» в духе утопических

социалистических доктрин, Достоевский не мог принять теорию «разумного эгоизма» Чернышевского и его сторонников, уравнивающую, по мнению Федора Михайловича, пользу и добро и оправдывающую таким образом принцип... расчетливости в поступках человека.

И хотя в период «приглядки» к «теоретикам» (так иронически называл А. Григорьев Добролюбова, Чернышевского и их последователей) — в 1859–1862 годы Достоевский, считая, что они, может быть, и ошибаются, но действуют искренне, честно, нередко защищал их, например, от Каткова и К⁰, однако сблизиться с ними не мог и не хотел — это Плещеев с огорчением видел, но не понимал всей глубины расхождений позиций Достоевского и Чернышевского.

Сам же Алексей Николаевич, поэт-романтик, поэт-идеалист, все больше и больше сдружается с трезвыми реалистами из «Современника», видя в них самых деятельных защитников народа от крепостного гнета, самых верных продолжателей дела Белинского и других социалистов 40-х годов...

Он хорошо сознавал, что эти люди не дрогнут ни при каких условиях, готовы выдержать самые трудные испытания.

*Нет отдыха, мой друг, на жизненном пути.
Кто раз пошел тернистою дорогой,
Тому на ней лугов цветущих не найти;
Душе больной, измученной тревогой.
Успокоенье смерть одна лишь может дать.
И глупо и смешно его от жизни ждать, —*

напишет Алексей Николаевич в 1860 году, в пору небывалого подъема общественного движения, видя среди самых беспокойных, идущих по тернистой дороге прежде всего Чернышевского с соратниками, давно определивших для себя, что «политическая деятельность — не тротуар Невского проспекта». И действительно, не может быть речи о каком-либо успокоенье в столь тревожное, наполненное ожиданием неизбежных перемен время.

Литературные дела у Алексея Николаевича спарятся, а вот отношения с редакцией журнала «Русский вестник» ухудшились, а точнее — с главным редактором-издателем М. Н. Катковым, который прежде вроде бы благоволил Плещееву. Натянутость отношений привела в конечном итоге к

полному разрыву Плещеева с катковским журналом, в котором были опубликованы многие стихи и прозаические произведения Алексея Николаевича второй половины 50-х годов.

Бывший пропагандист Гегеля и член кружков Станкевича и Белинского Михаил Никифорович Катков после заграничного путешествия в начале 40-х годов и профессорства в Московском университете целиком посвящает себя журналистской деятельности, а с 1856 года при содействии товарища министра просвещения П. А. Вяземского — известного поэта, критика, друга Пушкина — получил разрешение на издание журнала «Русский вестник». В первые годы журнал занял весьма либерально-демократическую позицию, чем привлек к себе лучшие литературные силы: в журнале стали сотрудничать Тургенев, Салтыков-Щедрин, в 1859 году публикуется в журнале «Семейное счастье» Льва Толстого...

Плещеев тоже возобновил свою прерванную ссылкой литературную деятельность в катковском «Русском вестнике». В отпускной поезд в Москву из Оренбурга Алексей Николаевич встретился с Катковым лично, и Михаил Никифорович произвел первоначально довольно приятное впечатление: умен и даже очень, сторонник общественных преобразований (правда, постепенно, а не путем решительной ломки) с обязательной отменой крепостного права, выступает за освобождение крестьян с землей — это не могло не вызвать симпатию. Но, поселившись в Москве и узнав Каткова поближе, Плещеев все больше и больше убеждается, что Михаил Никифорович из тех либералов-постепеновцев, которые отнюдь не жаждут ускорения преобразований в обществе, напротив, решительно противятся любой ломке жизненного уклада в России, возлагают надежды только на реформы «сверху». Либерализм Каткова, как и его «англоманство» (после поездки в Англию он стал энергично пропагандировать английскую систему государственного и общественного управления), обрели все более охранительно-консервативную позицию (приведшую его в конце концов в послереформенные годы в лагерь защитников монархического трона), что не могло не претить Плещееву, который всей душой был на стороне Добролюбова и Чернышевского. Коробили и открытая неприязнь Каткова к революционным демократам, и нечистоплотные методы его борьбы с противниками...

И вот нужда заставила опять идти на поклон к Каткову — Алексей Николаевич передал в «Русский вестник» повесть «Пашинцев». «Передать-то передал, а теперь раскаивается, признаваясь в письме Добролюбову от 25 ноября 1859 года: «На днях продал я в «Русский вестник» большую повесть. И не хотел туда давать, да деньги понадобились — а мне дали по

75 рублей за лист; ну и отдал. Да уж не рад и деньгам. Эту редакцию «Вестника» обуял дух какого-то евнушеского целомудрия. Пристают ко мне — то вычеркни, да другое вычеркни — неприлично. Совсем окастратить хотят... Нет! Уж в другой раз лучше Краевскому или Дружинину пошлю, а не в «Русский вестник».

Добролюбов-то поймет и не осудит, но на душе противно, что вновь связался с Катковым. К тому же Михаил Никифорович и его окружение открыто выражают неудовольствие и даже возмущение, что он, Плещеев, в газете «Московский вестник» восторженно отзывается о критической деятельности Добролюбова, называет его «лучшим из современных наших критиков», дает высокую оценку социально-экономическим статьям Чернышевского. Говорят, Катков прямо-таки вознегодовал, прочитав в одной из плещеевских «Заметок кое о чем» такой отзыв: «г. Чернышевский при всем отсутствии педантских замашек и всякого научного рутинерства должен иметь в касте ученых специалистов много врагов. Но он может хотя несколько утешиться тем, что публика читает его статьи с жадностью и что все живое, молодое, мыслящее и способное к развитию произносит имя его с уважением...»

Еще бы: и в «Отечественных записках», и в «Русском вестнике», и в других солидных журналах не раз с сарказмом писали о грубости, нахальстве, пустозвонстве, невежестве Чернышевского, а тут такой, по мнению катковых, просто безответственный мадригал, да и только... Да что Катков, даже такие очень уважаемые Алексеем Николаевичем лица, как А. В. Дружинин, А. П. Милюков, А. А. Григорьев, говорят, весьма и весьма неодобрительно отнеслись к его, плещеевским, похвалам Николаю Гавриловичу. Хорошо хоть Федор Достоевский в своем журнале «Время» дал чувствительную отповедь противникам и хулителям Чернышевского, косвенно, можно сказать, поддержал меня, высмеяв «элегический вой» вокруг Николая Гавриловича в почтенных либеральных изданиях: «И ведь престранная судьба г. Чернышевского в русской литературе. Все из кожи лезут убедить всех и каждого, что он невежда, даже нахал, что в нем ничего, ровно ничего нет, пустозвон и пустоцвет, больше ничего... «Отечественные записки» поместили в одной своей книжке чуть ли не шесть статей разом единственно о г. Чернышевском. Но если он так ничтожен и смешон, для чего же шесть статей в таком серьезном и ученом журнале?..»

В журнале братьев Достоевских «Время» Плещеев начал сотрудничать с первого номера, опубликовав стихотворение «Облака» («Вот и гроза прошла, и небо просветлело»), которое очень пришлось по душе Федору

Михайловичу, а в последующих выпусках этого журнала опубликовал переводы из А. Теннисона, М. Гартмана, оригинальные стихи, пьесы. И все же наиболее удавшиеся, программные, как они ему представлялись, произведения Алексей Николаевич теперь предпочитает отдавать в «Современник», журнал, «направлению которого принадлежат все мои симпатии», как говорит поэт в письме Добролюбову от 15 апреля 1860 года. И вообще с ведущими сотрудниками «Современника» отношения крепнут, идейная-близость Алексея Николаевича с Добролюбовым и Чернышевским становится все более ощутимой. «Никогда я не работал так много и с такой любовью, как в эту пору, когда вся моя литературная деятельность отдана была почти исключительно тому журналу, которым руководил Н. Г. (то есть Чернышевский. — Н. К.) и идеалы которого были и навсегда остались моими идеалами»^[36], — скажет позднее Плещеев в письме к двоюродному брату Чернышевского А. Н. Пыпину.

А главного редактора «Современника» Н. А. Некрасова Алексей Николаевич больше чем уважал — он видел в Некрасове истинно народного поэта, чуть ли не единственного выразителя народной жизни в современной русской поэзии: «Все дышит здесь глубоким, непритворным сочувствием народному быту... таким сочувствием, которым разве отличаются песни Кольцова... Мы понимаем, отчего наша публика только и читает из русских поэтов одного Некрасова и отчего его стихи расходятся в тысячах экземпляров ежегодно. Никто не говорит более его нашему сердцу... Никто не отзывается с такою страшной, жгучей болью на вопли и стоны всего угнетенного и страждущего», — отмечал Плещеев в «Московских ведомостях» по поводу поэмы «Мороз — Красный нос».

Из Москвы в Петербург чаще, чем другим, Плещеев пишет Некрасову да еще, пожалуй, Добролюбову, делится в этих письмах своими литературными и житейскими заботами, а перед Николаем Алексеевичем даже исповедуется в самом сокровенном, признается в горячей любви к нему, например, в том же письме, где говорит о литературе как о своем «единственном прибежище», но одновременно и сомневается в полезности своей литературной работы. «К Вам я обратился..., потому что искренно люблю Вас и дорожу Вашим отзывом; да и мне казалось, что и Вы несколько расположены ко мне. К другим же у меня нет желания обращаться с подобными «признаниями» и вопросами», — с доверительной сердечностью писал Плещеев.

Особенно высоко ценит Плещеев литературный вкус Некрасова, его большой ум, крупное поэтическое дарование, сердечность, отзывчивость, готовность при возможности протянуть руку помощи.

Алексею Николаевичу хорошо запомнилась оживленная дискуссия в редакции «Московского вестника» вскоре после того, как на страницах «Современника» было опубликовано плещеевское «Лунной ночью». Спор разгорелся вокруг стихотворения прежде всего потому, что Основский увидел в нем «чистой воды некрасовский мотив». Как же: для кого из поэтов луна не была источником вдохновения! И вдруг:

...Прошли неясные стремленья
И поэтические сны!
Теперь иные впечатленья
Во мне луной порождены.

Досадно мне, что так бесстрастно,
С недостижимых высот,
Глядит она на мир несчастный,
Где лжи и зла повсюду гнет,

Где столько слабых и гонимых,
Изнемогающих от битв,
Где льется столько слез незримых
И скорбных слышится молитв!

Кто-то из сотрудников редакции, кажется, Павлов возражал Основскому, но не совсем убедительно, говорил слишком учено и потому не очень внятно:

«— Прямая переключка стихов Алексея Николаевича со стихами Некрасова — не случайное совпадение, не следствие зависимости таланта более слабого от сильного, что нередко случается в литературе. Здесь перед нами редкое явление совпадения художественных мирозерцаний двух поэтов довольно различных течений, явление, целиком обязанное верности действительности, в которой творят оба поэта...»

Алексей Николаевич тогда только снисходительно улыбнулся на такую путаную тираду о родстве его и Некрасова, хотя мысль о «верности действительности» воспринял с живейшим интересом. Но если уж говорить о непосредственном родстве, то он больше согласен с теми, кто сравнивает его поэзию с огаревской, ибо некрасовская муза — в своем роде неповторимое явление в русской литературе.

«А что, собственно, означает для поэта верность действительности?»

Пожалуй, прежде всего его связь с жизнью, с народом своим, с теми проблемами, которыми живет общество. И надо сказать, что содержание русской литературы, начиная особенно с Гоголя, питается из действительного, окружающего нас мира, и даже факты пошлой, обыденной жизни являлись читателю озаренными поэтическим светом. Меня вроде бы тоже нельзя обвинить в отторженности от жизни или в равнодушии к ее проблемам ни в начале поэтического поприща, ни теперь, и здесь можно согласиться с теми, кто говорит о родственности поэтических импульсов моих и Некрасова, но «муза мести и печали» Николая Алексеевича всегда стояла и стоит лицом к лицу с той действительностью, где поэт «научился... терпеть и ненавидеть», а моя, случалось, уходила из мира реального в мир «роскошных яр-кпх грез». Нынче же, когда все вокруг дышит предгрозем, смешно и думать о возврате к тем юношески: «грезам», как и кощунственно не замечать кровоточащих язв на теле общества». Алексей Николаевич много и часто размышляет теперь о своем месте и в литературной и в реальной жизни русского народа «на переломе двух эпох».

А в стране к концу 50-х — началу 60-х годов действительно все предвещало грозу. Особенно разгорались страсти вокруг крестьянской реформы, и Плещеев, с молодым задором звавший соратников объединяться «под знаменем науки» в 40-е годы, теперь встает после некоторых колебаний под знамя революционных демократов, всегда признавая, что их идеалы «пошире идеалов всех... парламентариев», как напишет он в Оренбург Е. И. Барановскому.

Сомнений в перспективности программы Чернышевского, Добролюбова, пожалуй, не было, но оставалось чувство неуверенности в скором реальном осуществлении ее — это беспокоило, тревожило в часы общения с приятелями и коллегами, и в часы уединенных раздумий дома...

«Высшая цель, к которой зовут Чернышевский и его последователи, бесспорно, пошире не только идеалов говорливых парламентариев вроде Каткова и К⁰, но и его, плещеевских, за которые он отдал «десять крепостных лет», но вот готова ли Русь для практического осуществления ее? Ведь реализация проектов революционных демократов немыслима без коренного преобразования общества, без разрушения существующей государственной машины. А кто пойдет «вперед, без страха и сомненья»?... Молодежь? Да, главная надежда на нее, всегда стоявшую на передовой линии. Декабристы — молодое племя 20-х, наше братство 40-х годов, и вот новая плеяда с вождями сильными, решительными, неутомимыми... Да, вожди — кристальной чистоты и завидной

целестремленности... А их еще более молодые сподвижники — много ли их? И готовы ли они до конца следовать за своими вождями?» Такие мысли прямо-таки преследовали Алексея Николаевича, когда он, убедившись, что Еликонда Александровна и Саша спят, возвращался в свой рабочий кабинет, чтобы ответить на многочисленные письма из Петербурга, Оренбурга... В письмах Алексея Милюкова, Павла Анненкова, Федора Достоевского, Ивана Тургенева политические вопросы почти не затрагиваются. Но вот Добролюбов: тоже вроде бы отвечает только на многочисленные литературно-бытовые просьбы Алексея Николаевича, отвечает обстоятельно и сухо. Иногда Алексею Николаевичу становится даже неловко за себя, за докучливость свою, а все-таки он продолжает атаковать Добролюбова всевозможными расспросами и предложениями, потому что «как ни сядешь писать к вам — всегда заговоришься. Человек вы такой... — хороший, душу живу имеющий. Ну и хочется с Вами перекинуться словом», — признается Алексей Николаевич своему адресату.

Да только ли чисто журнальных, литературных вопросов касаются ответы Добролюбова? Нет, Алексей Николаевич прекрасно чувствует, что Николай Александрович ведет речь и кое о чем другом. Ну, вот, к примеру, он спрашивает о стихотворении «Старик»^[37], не на тему ли двадцатых годов оно? Да не только спрашивает, а дает понять, что стихотворение было бы более действенным, если бы его посвятить какому-нибудь конкретному лицу из тех лет. За этим словом «действенный» уже видится цель, энергия, устремленность.

Что ж, Добролюбов угадал: «Старик» написан на тему декабристов и первоначально стихотворение называлось «Декабрист». Именно с него Алексей Николаевич и намеревался начать нечто вроде цикла стихов, обращенных к нынешней молодежи, показать молодым людям «одного из немногих», кто среди первых выступил на борьбу со злом и сохранил, несмотря на долгие и трудные испытания, бодрость духа и любовь к правде.

Хоть на челе его угрюмом
Лежит страданий долгих след,
Но взор его еще согрет
Живой, не старческой думой...
Блажен, кто в старческие годы
Всю свежесть чувства сохранил,
В ком испытанья и невзгоды

Не умертвили духа сил.
Кто друг не рабства, а свободы.
В ком вера в истину жива
И кто бесстрастно не взирает,
Как человечества права
Надменно сильный попирает.

После публикации стихотворения в восьмой книжке «Современника» за 1860 год, надо полагать, в герое стихотворения видели скорее обобщенный образ поборника человеческих прав, а вот Николай Александрович сразу, как говорится, «взял быка за рога»... Нет, все-таки отчаянно смелый этот молодой сотрудник «Современника». Сколько ему лет? Кажется, около двадцати четырех? Как раз столько же было и тебе, Алексей Плещеев, когда ты с товарищами стоял на Семеновском плацу... А ведь Добролюбову, возможно, тоже не миновать беды. Он-то, конечно, не дрогнет — это поистине гладиаторская натура, какой, пожалуй, среди членов кружка Михаила Васильевича и не было, за исключением разве самого Петрашевского и Спешнева... Молодежь зачитывается добролюбовскими статьями, но многие ли понимают его призывы к борьбе с «внутренними турками»? И готовы ли выдержать такую борьбу?.. Алексей Николаевич что-то нынче разволновался... Впрочем, таксе с ним случается довольно часто, когда он отвечает на письма, так или иначе затрагивающие вопросы и ныне остающиеся мучительно-неразрешимыми: доколе мир будет разделяться на сытых и голодных, есть ли реальная надежда перестроить в близком будущем этот мир у нас, в России? И надо действовать, действовать, а не говорить, а то уж очень много произносится красивых фраз, а «чуть до дела, ни сил, ни воли нету в нас». Вот у Добролюбова с Чернышевским, кажется, слово с делом не расходится, вернее сказать, не будет расходиться, если верить М. Л. Михайлову, навестившему недавно Алексея Николаевича. Приезжал Михаил Ларионович обсудить задуманный Алексеем Николаевичем проект издания «Иностранное обозрение», да, к сожалению, не состоялось это издание, как не увидела света и другая плещеевская задумка — издание журнала «Русская правда», за существование которого радел и Михаил Евграфович Салтыков, обещая быть соредактором, — увы, правительство не разрешило оба издания.

Михаил Ларионович, между прочим, лестно отозвался о новых стихах Алексея Николаевича, включенных в подготавливаемый к печати сборник,

и обещал высказаться о них, как только сборник увидит свет. Сам Михаил Ларионович тоже, судя по всему, решительно настроился на «дело», может быть, даже решительнее всех, с кем Алексей Николаевич познакомился за последние годы.

Но ведь есть (и числа им несть) другие поборники правды и свободы вроде того же Каткова, которые глушат все на корню. А сколько развелось витий? «И фразы нам всего дороже! Нас убаюкали оне... когда ж сознаем мы, о боже, что нет спасенья в болтовне?» И разве болтовня не развращает определенную часть молодежи? Очень даже развращает... Нет, надобно обратиться к молодежи напрямую, сказать ей такое зажигательное слово, чтобы она поверила в свои силы, в свое главное предназначение для будущего Отчизны...

Но почему и между зрелыми бойцами разногласия, и порой совсем непримиримые?»

Алексею Николаевичу вспомнилась беседа на квартире Ивана Сергеевича Аксакова в один из трудных для Аксакова дней, вскоре после смерти старшего из братьев Аксаковых — Константина. Убитый горем хозяин квартиры хандрил, неприязненно говорил о «свистунах», имея в виду Добролюбовское приложение к «Современнику» — сатирический «Свисток» и его сотрудников Михайлова, Курочкина, Минаева, упрекая последних в развращающем влиянии на молодежь. Плещеев и Степан Тимофеевич Славутинский — прозаик, с которым Алексей Николаевич сблизился в начале 60-х годов, — дружески относящиеся к Добролюбову и высоко расценивающие деятельность критика и на сатирическом поприще, пытались возражать Ивану Сергеевичу, но тот оставался неумолимым.

У Алексея Николаевича категорическая неприязнь Аксакова к Добролюбову оставила неприятный осадок в душе, тем более что он обоих любил и глубоко уважал, по-прежнему считая, что расхождения их носят чисто «тактический» характер, а цель у них общая: защита прав народа. Особенно ценил верность, преданность убеждениям, ту самую преданность, которую воспел в стихотворении, посвященном памяти старшего брата Константина Сергеевича:

Еще один — испытанный боец,
Чей лозунг был: отчизна и свобода,
Еще один защитник прав народа
Себе нашел безвременный конец!

Он был из тех, кто твердою стопой

Привык идти во имя убежденья,
И сердца жар и чистые стремленья
Он уберег средь пошлости людской.

Он не склонял пред силою чела
И правде лишь служил неколебимо...
И верил он, что скоро край родимый
С себя стряхнет оковы лжи и зла...

В наш грустный век, на подвиги скупой,
Хвала тому, кто избрал путь суровый...
Хвала тому, кто знамя жизни новой
Умел нести бестрепетной рукой.

Да, Константин Аксаков, как и его брат Иван, — настоящие защитники прав народа — в этом Алексей Николаевич теперь, близко сойдясь с Иваном Сергеевичем Аксаковым, нисколько не сомневался. Но ведь и Добролюбов, призывающий к борьбе с «внутренними турками», ничуть не меньше жаждет, чтобы Отчизна как можно скорее стряхнула с себя «оковы лжи и зла»... Отчего же такая неприязнь к Добролюбову у Ивана Сергеевича?.. И Николай Александрович тоже как будто не очень жалует Аксакова... Какая причина этому?.. Продолжающаяся вражда между западниками и славянофилами?.. Но Добролюбов открыто презирает таких «западников», как Кавелин и Катков, высмеивает их либеральные разглагольствования, значит, критик вовсе не считает себя единомышленником проповедников и поклонников «европейской ориентации» России... Сам Алексей Николаевич начинает уже видеть теперь существенную разницу между общинными идеалами славянофилов и программой революционных демократов, но почему... такая нетерпимость между ними?..»

Добрые отношения с И. Аксаковым еще больше укрепляются, он редактирует газету «День», где Алексей Николаевич становится постоянным автором, публикует стихи, среди которых получившие широкую известность «Дети», «Природа — мать! к тебе иду...», «Лжеучителям», «Две дороги».

Стихотворение «Две дороги» Алексей Николаевич посвятил И. С. Аксакову.

Две легли дороги, братья, перед нами,
А какая лучше, рассудите сами.
Первая дорога — широка, привольна;
Всякого народу ходит тут довольно;
Глаже, веселее не сыскать дороги:
Не изрежут камни пешеходу ноги, —

так начинается это плещеевское стихотворение, предвосхищая в известной степени знаменитое некрасовское «Средь мира дольного...» (из поэмы «Кому на Руси жить хорошо») о двух путях «для сердца вольного». Прямая перекличка между плещеевским и некрасовским стихотворениями ощущается и в характеристике другой дороги: у Плещеева — «но другой есть путь — кремнистый, по горам крутым идет», у Некрасова — «другая — тесная Дорога честная». И путники, идущие по этой дороге, в стихах Плещеева, — борцы за счастье, правду, свободу: «И не ждут они веселья, на пирах им места нет: в путь они пустились с целью проложить в пустыне след» — иносказательно говорит он в 1862 году, а через несколько лет Некрасов уже прямо назовет идущих по «другой дороге» заступниками «обойденных, угнетенных, обиженных и униженных».

Проблема выбора жизненного пути — извечная в литературе, но российская действительность 60-х годов, пожалуй, как никогда раньше, обозначила неизбежность «двух дорог», особенно после того, когда, по меткому замечанию Некрасова, «на место сетей крепостных люди придумали много иных». И Плещеев был одним из первых поэтов, если не первым, откликнувшимся на жгучую проблему эпохи. И посвящая этот отклик славянофилу Ивану Аксакову, Алексей Николаевич твердо верил, что Иван Сергеевич — один из тех, кто идет и будет идти по «крутогорной» дороге...

Жизнь в Москве, насыщенная интенсивной литературной деятельностью, скрашивала многие неприятности, вызываемые материальными затруднениями, житейской неустроенностью. Переезд на новую квартиру в дом Дарагана на Плющихе опять потребовал немалых расходов; издание собственных прозаических произведений, повестей и рассказов Тургенева, «Географических очерков», паевые вклады в «Московский вестник», покупка летней дачи в подмосковном селе Иванькове — расходы, расходы, расходы, удручающе действующие на душевное состояние.

И на издательском поприще далеко не все благополучно, напротив, Алексей Николаевич при всем неумении вести «коммерческие» дела, при полном отсутствии у него «практической жилки» с каждым месяцем убеждался, что компаньонство с оборотистым и хитрым Н. А. Основским грозит ему разорением — это он почувствовал при издании четырехтомника Тургенева, когда Основский пошел на откровенное мошенничество при распродаже тургеневских сочинений. Тут невольно можно прослыть чуть ли не кляузником, когда, махнув рукой на всякую галантность, приходится вместе с объяснительными письмами Тургеневу писать... тому же П. В. Анненкову в Петербург:

«...Если Тургеневу... все равно, за что же я-то теряю 3 тысячи 400 рублей, которое мне стоит это издание! Я далеко не такой богач, чтобы считать эту сумму вздором. Войдите в мое положение. Я ничего еще почти не продал, а Основский продал две тысячи — если не больше — экземпляров и требует с меня за печать деньги, без чего не дает мне третьего тома. Ведь это решительный грабеж! Я, кажется, вынужден буду всю историю с ним напечатать в газетах — больше мне ничего не осталось...»

До газеты, правда, дело не дошло, так как вскоре и сам Тургенев, и Анненков убедились в жульнических махинациях Основского, не выславшего всей суммы гонорара Ивану Сергеевичу, но Плещеев окончательно прозревает и видит, какую большую ошибку он совершил, вступив в издательскую «коалицию» с Нилом Андреевичем Основским — «самым гнусным мошенником», как охарактеризует он его в письме к Анненкову от 21 января 1861 года...

А в семье ожидается пополнение. Еликопида Александровна, к великой радости Алексея Николаевича, снова готовится к родам — благо и квартира нынешняя позволяет без особых осложнений создать для жены и второго ребенка вполне приличные условия. В ноябре 1861 года у Плещеевых родилась дочь, которую назвали Еленой, — то был самый праздничный день для Алексея Николаевича за время московской жизни.

Дети... Вот смотрит Алексей Николаевич на своего первенца, трехлетнего Сашу, сосредоточенно перелистывающего книжку, и сердце переполняется невыразимой нежностью и теплотой. Кажется, нет более отрадных, более светлых в жизни минут, чем те, которые проводишь в кругу детей. Леночка, правда, совсем еще крошечная, и Еликонида Александровна даже не позволяет Алексею Николаевичу играть с дочкой... Зато первенец Саша всегда любит порезвиться в присутствии отца, часто прибегает к нему в кабинет для «секретных» разговоров.

Люблю я вас, курчавые головки!
Ваш звонкий смех, и ваша беготня,
И хитрости ребяческой уловки —
Все веселит, все радует меня!

Недавно Алексей Николаевич совместно с поэтом-переводчиком Ф. Н. Бергом подготовил сборник для детей «Детская книга», в который включил ряд стихотворений о родной природе, о любви к малым представителям рода человеческого и в которых выразил страстную надежду, чтоб «чаша зла, которая всю жизнь нам отравила, до ваших уст, малютки, не дошла!». Надежда-то, пожалуй, не скоро осуществимая, но желанная из желанных...

Алексей Николаевич, как и многие из русских интеллигентов, с нетерпением ждал манифеста об освобождении крестьян. Манифест, подписанный Александром II 19 февраля 1861 года и официально опубликованный 5 марта, глубоко опечалил. В нем объявлялось, что крестьяне освобождаются лично, без земли, а «земля составляет неотъемлемую собственность помещика» — что можно было придумать несправедливее такого «благодеяния»? Особых надежд на реформу Плещеев, правда, не возлагал, зная, сколь скептически относился к пей Чернышевский, но искренне рассчитывал, что правительство не оставит крестьян без земли. А вышел форменный обман народа.

Крестьяне, узнав, что они не получают земли, взбунтовались, особенно сильные волнения прокатились в Тамбовской, Пензенской, Казанской губерниях. До Москвы доходили слухи о крутых расправах над крестьянами в селах Кандеевке и Бездне Казанской губернии, других местах. В городах заволновалась молодежь, студенчество. Алексею Николаевичу самому довелось стать свидетелем недоуменно-неприятного восприятия «Положения 19 февраля», которое было оглашено воскресным днем 5 марта (как раз заканчивалась масленица) в Успенской церкви Новодевичьего монастыря, куда Плещеев пришел вместе с Еликонидой Александровной, всегда любившей посещать службу в храмах этого монастыря.

Когда священник по окончании службы зачитывал текст манифеста, то публика, слушавшая до этого слова, произносимые с амвона, при идеальной тишине, невольно зароптала, особенно после провозглашенных священником мест из «Положения», где говорилось, что законно приобретенные помещиками права на землю не могут быть взяты от них

без добровольной уступки и что крестьяне, пользуясь поземельным наделом, обязаны исполнять в пользу помещиков определенные повинности, быть в прежнем повиновении у них. Волнение прихожан, правда, было робкое, но и оно свидетельствовало о неприятии манифеста.

А в университете произошли серьезные столкновения с властями студенческой молодежи, прямо заявившей, что царь обманул народ, — и тут уж явно сказывалось влияние агитационной деятельности Чернышевского, который в прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» развенчал грабительский характер реформы, и Герцена, который, поняв тщетность своих надежд на правительственную реформу, начал публиковать в «Колоколе» серию статей, разоблачающих обман народа царем. И кажется, обман этот узаконится и станет нормой жизни...

При всех мелких житейских неувязках первые годы в Москве все-таки сложились для Алексея Николаевича славно, и он с полным правом назвал это время «лучшими днями жизни» потому прежде всего, что никогда еще не испытывал такого духовного подъема, такой увлеченности работой, такой творческой энергии: вслед за двумя частями повестей и рассказов, получивших довольно благосклонный отзыв самого Добролюбова, выходит в свет новый стихотворный сборник, тоже сочувственно встреченный читающей публикой и журнальной критикой.

Милый Михаил Ларионович Михайлов отозвался на стихи пространной рецензией в третьей книжке «Современника» за 1861 год, энергично вступив в полемику с «серьезными» рецензентами 40-х годов, враждебно якобы встретивших первую плещеевскую книжку стихов. Михаил Ларионович, конечно, зря предъявляет упреки топ критике — ведь среди тех, кто дал высокую оценку первому сборнику, был Валериан Майков, а разве он не из числа действительно серьезнейших ценителей искусства? И все-таки, несмотря на полемические перехлесты, на довольно критическую оценку некоторых переводных стихов, отзыв Михаила Ларионовича очень тронул. Да и как не встрепетаться душе, прочитав такие проникновенные слова о себе: «Поэты с таким благородным и чистым направлением, как направление г. Плещеева, всегда будут полезными для общественного воспитания и найдут путь к молодым сердцам...» Или: «За г. Плещеевым осталась одна сила — сила призыва к честному служению обществу и ближним».

«Выходит, не совсем уж незаметная ваша работа на поэтической ниве, Алексей Николаевич, как вы самокритично и порой излишне настойчиво внушаете себе? И если такой строгий ценитель, как Михаил Ларионович

Михайлов, находит эту работу нужной и полезной обществу, то надо и впредь быть достойным такой оценки...

А вот относительно неразборчивого отношения при переводах Михайлов прав: тут надобно быть построже в выборе, тут вы, любезный Алексей Николаевич, прислушайтесь к советам друга-рецензента... И все же очень приятно, когда ты замечен критикой боевой, критикой, направлению которой ты симпатизируешь всем сердцем». Плещеев, перечитывая рецензию Михайлова, не сомневался, что это точка зрения и всей редакции журнала.

Вот только из Петербурга пришла горестная весть: редакция «Современника» отправила за границу на лечение тяжело больного Добролюбова; болезнь, говорят, настолько серьезная, что почти нет никакой надежды на выздоровление. Верить этому никак не хотелось, но коль и Некрасов подтвердил то же — значит, опасность действительно велика.

Обратившись мыслью к Добролюбову, Алексей Николаевич снова (в который раз!) открыл седьмой номер «Современника» за 1860 год, где была опубликована добролюбовская статья о нем «Благонамеренность и деятельность» — критик прислал ее в журнал уже из-за границы. Нельзя сказать, чтобы эта статья была очень лестна и тешила тщеславие Алексея Николаевича, как в свое время майковская статья о первом его поэтическом сборнике. Отнюдь. Добролюбов вовсе не щедр на похвалы, а местами и обидно ироничен, когда снисходительно говорит о скромных беллетристических возможностях автора, о том, что проза Алексея Николаевича «не заслуживает подозрения в гениальности» и что главное достоинство этой прозы характерно для многих беллетристических сочинений века: «общественный элемент». Да и сам разбор произведений сделан Добролюбовым чересчур «по поводу», без всякого эстетического анализа, почти без желания увидеть в повестях и рассказах, кроме благонамеренных юношей (пустых и праздных, по мысли критика, мечтателей, абсолютно непригодных для «дела»), и тех, кто умеет сострадать забитому, бесправному человеку. Но для Добролюбова и такое в высшей степени бесценное нравственное качество людей представляется, видимо, тоже лишь «элементом» благонамеренности? О пет, конечно же, это не так, тут Алексей Николаевич, памятуя о своих встречах с Николаем Александровичем, готов обвинить критика в чем угодно, по только не в равнодушии к такому благороднейшему качеству, как душевная отзывчивость.

Конечно, Алексею Николаевичу очень хотелось бы, чтобы

Добролюбов обратил внимание и на такую немаловажную особенность его прозы, как верность натуре, художественную убедительность изображенных характеров — людей по преимуществу дюжинных, беспомощных, неустроенных в жизни, но не растративших совестливости, светлой мечты в лучшее будущее. И хотя Алексей Николаевич, как верно подметил Добролюбов, чаще иронично относился к своим героям-мечтателям, по он и сочувствовал тем, кто сохранил нравственное благородство, а этого Добролюбов как бы умышленно не хотел замечать, полагая, наверное, такую «мелочь» недостойной внимания? Или Николай Александрович и вправду не заметил в его, плещеевской, прозе устремленности к тому идеалу, который критик особо подчеркнул, анализируя, например, роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные»: «Каждый человек должен быть человеком и относиться к другому, как человек к человеку, — вот идеал, сложившийся в душе автора помимо всяких условных и порицательных воззрений...» Грустно, если он, Плещеев, не сумел показать, что и его идеал имеет много общего с идеалом любезного Федора Михайловича...

И все-таки сколько мыслей и страстной убежденности при кажущейся рассудочности, блестящих прозрений в добролюбовской статье. И как верно сказано об авторском «сострадании» к героям, все еще играющим в «лишних людей»:

«Перечитывая повести г. Плещеева, мы всего более рады были в них веянию этого духа сострадательной насмешки над платоническим благородством людей, которых так возносили иные авторы. Начальные типы пустых либеральчиков, без всякого уже сочувствия к ним, набросаны уже были в некоторых повестях г. Тургенева. Но у г. Тургенева эти господа были постоянно второстепенными лицами... У г. Плещеева эти лица — главные, они составляют часто основу и цель повести, и из их изображений все более выясняется требование дела и дела вместо громких слов, младенческих мечтаний, несбыточных надежд и верований». Да, это так, абсолютно так, только Алексей Николаевич не обольщается такой похвалой, прекрасно сознавая свои скромные возможности прозаика, о которых и сам однажды писал Добролюбову, заметив, что «нашего брата беллетриста дюжинного — теперь как собак нерезаных...».

И все же Алексею Николаевичу хотелось бы знать дельное мнение относительно художественных достоинств своей прозы. Добролюбов же об этом почти не обмолвился, а от других критиков тоже вряд ли дождешься объективного разбора.

Другие критики... Нынче многие довольно продуктивно подвизаются

в этом жанре, не выказывая особых склонностей к нему. Плещеев и сам в том же «Московском вестнике» регулярно выступает со статьями и рецензиями, хотя и не претендует на роль идеолога. Более того: позднее, во второй половине 60-х годов, в письме к поэту и критику А. Н. Александрову прямо признается:

«Чтобы быть критиком — *из ряда выходящим*, надо иметь к этому такое же призвание, как в живописи и музыке, надо, кроме того, иметь, что называется, *философскую подкладку*. Я бы, например, не взялся за критику, потому что не чувствую в себе ни таланта, ни знания достаточного для этого...»

И хотя статьи и обзоры Плещеева ценились современниками, Алексей Николаевич из-за всегдашней повышенной взыскательности готов считать себя всего лишь случайным дилетантом на критическом поприще.

Из современных критиков Алексей Николаевич ценил почти столь же высоко, как Добролюбова, Аполлона Григорьева.

Несмотря на то, что до Плещеева доходили слухи, как Григорьев саркастически высмеивает «заигрывание» Алексея Николаевича со «свистунами» из «Современника», — это не мешало Плещееву относиться к Аполлону Александровичу с большим уважением, находить «в статьях Григорьева... всегда много поучительного», как он скажет в письме к М. М. Достоевскому^[38]. Да и как не уважать эту страстную натуру, до самозабвения влюбленную в искусство... А сколько свежих, совершенно новых идей содержат недавно опубликованные в «Светоче» и во «Времени» статьи Аполлона Александровича «Народность и литература», «Искусство и нравственность» и «Реализм и идеализм в нашей литературе»? Общего пафоса этих статей Алексей Николаевич не разделял, но принимал многие меткие григорьевские характеристики творчества Тургенева, Писемского, целиком соглашался с призывом критика — «...надобно же идти дальше» старых идеалов, — а эстетическое чутье Григорьева всегда восхищало. Особенно много удовольствия доставляли Алексею Николаевичу как страстному поклоннику театра темпераментные григорьевские статьи о драматургии...

Михаил Михайлович Достоевский пишет, что Григорьев, начав сотрудничать в журнале «Время», неожиданно уехал из Петербурга в Оренбург, где устроился преподавателем в кадетский корпус. «Наверное, перемывает сейчас вместе с оренбургской братией мои косточки, — незлобиво подумал Алексей Николаевич. — Только вряд ли найдет Аполлон Александрович в Оренбурге даже интересных собеседников себе: если верить Барановскому, оренбургское общество совсем измельчало... И

что это заставило Григорьева ринуться в столицу степей?»

Почему возник этот неожиданный «побег» в Оренбург, когда, казалось, все складывалось как нельзя лучше: сотрудничество в журнале близких по духу людей на правах чуть ли не соредакторства? Алексей Николаевич, размышляя о Григорьеве, снова вспомнил давний вечер на одной из «пятниц» у Петрашевского, одухотворенное лицо Аполлона Александровича, читающего «Город», — эта сцена нередко вставала перед ним и в оренбургской ссылке, где он тоже всегда с большим интересом прочитывал григорьевские статьи, публиковавшиеся на страницах «Москвитянина» и «Библиотеки для чтения». ...Вспомнился и первый послесыльный период в Москве, когда Алексей Николаевич начал сотрудничать в журнале А. П. Милюкова «Светоч», — там же, вернувшись из заграничного путешествия, публиковал статьи Григорьев, статьи, как всегда, страстные, проникнутые глубокой верой в великое предназначение русской литературы...

Аполлон Григорьев обучает словесности оренбургских кадетов, Николай Добролюбов скитается по курортам Франции и Италии, скитается почти обреченный... Какое-то проклятье, что ли, преследует даровитейших русских критиков? Безвременно ушли Белинский, Майков, Добролюбов болен, Григорьев «в бегах», Чернышевскому скорее всего грозит тюрьма: либералы после реформы 19 февраля теперь не скрывают своего злорадства по адресу Николая Гавриловича, а III Отделение, по словам Михайлова, ищет повода, чтобы открыто расправиться с редакцией «Современника» и в первую очередь с Чернышевским^[39].

Увы, время, которое Алексей Николаевич называл лучшими днями своей жизни, отнюдь не было безмятежно-радостным. Отрадно, когда отлично работает, когда в душе не затухает огонь творческого вдохновения, когда рядом любимые жена и дети, прекрасные друзья, — в таком приподнятом настроении создавался цикл «Летние песни».

Но грустно, когда разочарования подстерегают даже там, где, казалось, им не «отводилось» места... Как горько, нестерпимо больно терять друзей и единомышленников... Умер Константин Аксаков, отправленный на лечение за границу, скончался на пустынном греческом острове Занте («Человек он был» — эти слова из шекспировского «Гамлета» ставит Плещеев эпиграфом к стихотворению «Памяти К. С. Аксакова»); совсем молодым ослеп, а вскоре тоже скончался замечательный актер Малого театра Сергей Васильев, с которым Алексей Николаевич крепко сдружился в Москве...

«...Не в мишуре, не в ложных блесках являлся ты перед толпой — ты на сценических подмостках был человек, а не герой!» — сказал поэт об актере в стихотворении «Друзья свободного искусства»... когда ослепший Васильев навсегда покидал сцену... Да, это были прекрасные товарищи и замечательные люди...

Человеческая естественность — основа основ личности, самое высшее качество духа, залог гражданской бескомпромиссности, — считал Алексей Николаевич и прежде всего за человечность, за отсутствие позерства, рисовки глубоко уважал и своих друзей из «Современника» — Чернышевского, Добролюбова, Михайлова...

И вот удар за ударом: Михайлов осужден и сослан в Сибирь, Добролюбов, вернувшийся из-за границы ничуть не окрепшим, вскоре умирает, оплакиваемый не только друзьями, но и противниками, признававшими выдающееся дарование двадцатипятилетнего критика...

О тяжелых утратах той поры — цикл стихотворений «Новый год» с посвящением Н. А. Некрасову. В этих стихах, опубликованных в первой книжке «Современника» за 1862 год, поэт шлет сердечный привет «всем застигнутым ненастьем», всем, «не склоняющим покорно перед пошлостью чела».

А через полгода совершилось то, чего уже давно опасался Алексей Николаевич: 15 июня 1862 года было приостановлено издание «Современника», 7 июля арестован Чернышевский. Некрасов пишет, что журнал, возможно, удастся возродить, а вот Чернышевского-то, пожалуй, не вызволить из Алексеевского рavelина Петропавловки — дорога из «особняка», в котором и сам Алексей Николаевич провел некогда около девяти месяцев, ведет либо в Сибирь, либо на эшафот...

Так что же делать? Гибнут лучшие люди, реакция свирепствует. Одновременно с «Современником» правительство приостанавливает издание и другого журнала — «Русское слово», в котором Плещеев опубликовал несколько стихотворений, призывающих к действию, к мужественной борьбе с «тьмой и злом»: «Нет! лучше гибель без возврата...», «Завидно мне глядеть на мудрецов...», «На сердце злоба накопела...». Только «мудрецы», что «знают жизнь так хорошо по книгам», по-прежнему предпочитают отделяться демагогическими фразами. Или напрямую атакуют революционную мысль, как, например, достопочтенный Катков: тот перепечатал в своем журнале сочинение философа-богослова Юркевича «Из науки о человеческом духе», сочинение, целиком направленное против Чернышевского... Но хорошую отповедь «Русскому вестнику» дали и сам Николай Гаврилович в «Полемических красотах», и

молодой критик из «Русского слова» Писарев в статье «Московские мыслители». Писарева тоже арестовали за какую-то неопубликованную статью, в которой он прямо призывал к свержению Романовых...

Тургенев сообщил, что отдал свой новый роман «Отцы и дети» в катковский журнал — зачем это сделал Иван Сергеевич, для Плещеева было ясно наполовину: он знал, что Тургенев порвал с «Современником» окончательно. Но знал и прохладное, даже неприязненное отношение знаменитого писателя к «англоману» Каткову. А теперь вот новое произведение Тургенева в руках Михаила Никифоровича Каткова — что бы это значило?!

«Нечего Вам говорить, как все почитатели Ваши нетерпеливо ждут этого романа; но не могу умолчать, что большая часть их скорбит: зачем он явится в «Русском вестнике». Что Вам за охота отдавать?» — спрашивает Алексей Николаевич Тургенева, но тот предпочел отмолчаться...

Поистине в обществе что-то творится неладное. И где спасенье от такой взбаламученности и бездорожья?.. В минуты таких тревожных раздумий родилось у Алексея Николаевича стихотворение, которое он считал одним из наиболее удачных по художественной завершенности.

Природа-мать! К тебе иду
С своей глубокою тоскою;
К тебе усталой головою
На лоно с плачем припаду.

Твоих лесов немолчный шум
И нив златистых колыханье,
Лазурь небес и вод журчанье
Разгонят мрак гнетущих дум.

...Да окрылит дух падший мой
Восторг могучими крылами;
Да буду мыслью и делами
Я верен истине одной!

Так что же — уйти от мирской суеты в лоно природы в то самое время, когда идет отчаянная борьба умов за насущный и завтрашний день России? Но ведь это уход не насовсем, это всего лишь чувство необходимости «стряхнуть и лжи и лености оковы», встряхнуть всю накипь и мишуру

обыденности, в которой он, Плещеев, как ему кажется, чуточку погряз...

«Ужель засосала тебя, Алексей Николаевич, эта журнальная бестолковщина, эти полуинтриги и полудрачки, эта всего лишь видимость борьбы... Да, наверное, прав Тютчев: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, и человек отчаянно тоскует... Он к свету рвется из ночной тени и, свет обретши, ропщет и бунтует...» Но ведь это все-таки неполная правда, вернее сказать — неконкретная, что ли, правда. Вот, например, у Некрасова более личное и более конкретное желание видеть Россию и ее жителей: «Но желал бы я знать, умирая, что стоишь ты на верном пути, что твой пахарь, поля засевая, видит ведреный день впереди...» Однако кто выведет Россию на этот «верный путь», коль самых деятельных пропагандистов его не стало?.. Конечно, в России, несомненно, найдутся и энергичные бойцы за такой «верный путь», но их главнейшее дело — яркое художественное слово. А нынешнее время нуждается еще и в людях, годных, как часто подчеркивал Добролюбов, для практических дел по переустройству общества — много ли таких? Тех, кого я знал, было мало, а кого не знаю — как им верить?.. Нет, что-то опять мои мысли потекли по мрачноватому руслу. Молодежь наша замечательная, но много в ней еще ребяческой неустойчивости, безалаберного фрондерства. О, как нужны вы были, Добролюбов, Чернышевский, нашей молодежи, вы, а не витийствующие профессора Чичерины, пытающиеся в своих лекциях укрощать «буйный разум мыслей» и которым я пытался дать отповедь еще в «Лжеучителях», прямо сказав, что «человек, как от чумы, от вас с проклятием отпрянет»...

И особенно радует Алексея Николаевича неукротимая тяга молодежи к знаниям, пристальный интерес ее к литературе, к общественно-политическим событиям времени.

А совсем недавно Плещеев близко подружился с молодым человеком из самой, как говорится, гущи народной — начинающим стихотворцем Иваном Суриковым и по возможности стал помогать ему. Вспомнилось, как осенним вечером 1862 года в квартиру Плещеевых явился молодой человек и робко спросил, может ли он видеть поэта Алексея Николаевича Плещеева. Бедно одетый юноша, подстриженный «под горшок», державший в правой руке свернутую в трубочку тетрадку, очень волновался, Его конфузливый вид и эта тетрадка, свернутая в трубочку, вызвали у Плещеева предположение, что перед ним — начинающий литератор. Алексей Николаевич не ошибся: молодой человек, назвав себя, сказал, что он пишет стихи, что давно считает Алексея Николаевича одним из учителей своих и поэтому очень бы хотел показать свои литературные опыты высокочтимому учителю.

— Пройдемте-ка, голубчик, Иван Захарович, если я правильно запомнил ваше имя-отчество, ко мне и потолкуем поподробнее. — Плещеев повел совсем оробевшего посетителя в свой кабинет.

Молодой Суриков вскоре справился с волнением, чему немало способствовали и простота убранства плещеевского кабинета, и особенно простота обращения хозяина с гостем.

— Знаете, Алексей Николаевич, как я долго собирался к вам — адрес-то ваш я давненько узнал. Да все отец никак не отпускал, весь день загружает работой в лавке. И сегодня ушел без спроса. — Суриков объяснялся сбивчиво, но в его умном и уверенном взгляде Плещеев улавливал сильный и волевой характер.

— Так вы, голубчик, из купцов будете?

— Да нет, отец-то мой из оброчных крестьян, потом служил долго в Москве приказчиком и выбился, как теперь часто любит прихвастнуть, в люди: открыл собственную овощную лавку, куда и меня пристроил с девяти лет.

Многое из нелегкой судьбы стихотворца-самоучки узнал в этот вечер Плещеев, о его большой тяге к поэзии с детских лет и немало подивился большой начитанности полуграмотного простолюдина, вынужденного каждый день по 8—10 часов стоять за прилавком. Суриков знал наизусть многие стихи Кольцова, Никитина, Некрасова, его, плещеевские, — это приятно поразило и порадовало.

Алексей Николаевич, познакомившись с литературными опытами Сурикова, сразу же понял, что его гость одарен настоящим поэтическим чувством, хотя сочинения его изобличали полную профессиональную беспомощность автора. Да и где было этому юноше знать все тонкости стихосложения, если он и грамоте-то выучился самостоятельно!..

Очень милой была манера чтения Сурикова своих произведений — он их не читал, а распевал, поясняя, что так он отчетливее чувствует ритм стихотворной речи.

Рассказал Суриков и о непрерывных стычках с отцом, который весьма недоброжелательно относился к увлечению сына литературой, о том, что единственную отраду он находит в беседах с соседом — бывшим семинаристом Добротворским, служившим в какой-то московской конторе, — этот чиновник привил Сурикову и любовь к прозе, а самое главное — открыл для него Пушкина, Лермонтова и других славных поэтов земли русской.

Искренность исповеди Ивана Захаровича, его влюбленность в поэзию, задушевный лиризм суриковских стихов до глубины души тронули Алексея

Николаевича, и он обещал оказать молодому поэту посильную поддержку. Несколько стихотворений из суриковской тетради Плещеев отобрал с намерением предложить их в печать, просил показывать все, что напишется юношей в будущем.

С этой первой встречи Суриков стал одним из самых частых посетителей плещеевской квартиры на Плющихе; он приносил новые стихи, переделывал их по замечаниям Алексея Николаевича и с нетерпением ждал публикации первых, которые Плещеев отдал в журнал И. Б. Миллера «Развлечение», — в этот журнал Плещеев передал и несколько своих стихотворений, в том числе «Весну» («Опять весной в окно мое пахнуло...»).

Беседы с Суриковым — простодушные и откровенные — доставляли Алексею Николаевичу большое удовольствие. Он сердечно радовался крепнущему таланту поэта-самородка, верил в большое будущее этого крестьянского сына. А живые рассказы Ивана Захаровича о своей службе в лавке, его меткие характеристики покупателей, прекрасное знание народной жизни, прямота суждений и нескрываемая влюбленность в Алексея Николаевича в значительной мере скрашивали ставшие однообразными будни плещеевской жизни в эту нору.

А дни, недели, месяцы действительно стали угнетать. Какой-то монотонностью, безликостью. Даже семейные радости казались не столь светлыми, как прежде...

Как раз в сложный период 1862–1864 годов Алексей Николаевич, пожалуй, чаще, чем когда-либо, возвращался в своих стихах к проблеме предназначения поэта. Это было и своего рода продолжение спора с теми поэтами, чей талант он высоко ценил, но никак не мог понять их. Как ему казалось, отрешенности от социальных вопросов жизни — спор с Афанасием Фетом, Аполлоном Майковым, Яковом Полонским и отчасти с Федором Тютчевым, было и стремление четче и яснее разобраться в собственной позиции в атмосфере продолжающихся репрессий.

Плещеев по-прежнему не утрачивает веры в «свободную песнь воскресшего народа». В стихотворении «Опять весной в окно мое пахнуло...» поэт радостно говорит о «рое светлых дум», приходящих на смену «гнетущей тоски», преисполнен желанием выйти в «поля родимой стороны» в ряду деятелей-пахарей, а не резонерствующих соглядатаев.

...О, как бы мне из этих комнат душных
Скорей туда хотелось — на простор,

Где нету фраз трескучих и бездушных,
Где не гремит витий продажных хор.

«Витий продажных хор» распелся, почувствовав ослабление честных голосов. Вот почему никак нельзя молчать, слушая трескучие фразы этих витий, надобно постараться даже в это нелегкое время заглушить их словами настоящими, тревожащими благородные сердца, как в «свободной и мощной» народной песне, помогающей людям переносить невзгоды и беды, сохранять веру в торжество добра и света.

И потому в меру сил надобно стремиться говорить полным голосом, чтобы витии поняли, что живы на Руси и другие певцы. В таких стихах, как «Отчизна», «Две дороги», «Советы мудрецов», «Весна», «Что год, то новая утрата...» (посвящено памяти Н. Г. Помяловского — русского прозаика, автора знаменитых «Очерков бурсы»), «К юности», Алексей Николаевич верен себе: декларируемый еще в стихотворении «Поэту» (1861 год) призыв быть «бестрепетным бойцом, бойцом за право человека», призыв к активному протесту против всех пороков века отчетливо звучит и в этих стихах, проникнутых гражданским пафосом, сочувствием к обездоленным и угнетенным, воспевающих деятельных бойцов за свободу народа — недаром самый, может быть, суровый ценитель поэзии Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин сказал о плещеевском сборнике стихов 1863 года: «...По нашему убеждению, г. Плещеев принадлежит к самым искренним и наиболее симпатичным русским поэтам... Чувство, дающее содержание стихотворениям г. Плещеева, не временное и не напускное, но вынесенное из всей его жизни — за это ручается самая простота формы, в которой оно выражается».

Что и говорить: заслужить такой отзыв от человека, который, как помнил Плещеев еще по 46-м годам, не очень-то жаловал служителей муз, приятно. А Михаил Евграфович и тут не преминул сказать резкие слова о бедности содержания русской поэзии вообще, о поэтах, которых отнес к «школе мотыльковой», зачислив в эту школу А. Фета, К. Павлову и «других», под которыми, как было известно Алексею Николаевичу, сатирик разумел и Майкова, и даже Я. Полонского..

Справедлив ли Михаил Евграфович к лирикам-пейзажистам, или, как он их третирует, к «мотыльковым» лирикам (а его, Плещеева, сатирик относил к лирикам гуманитарным)? Пожалуй, нет, хотя Алексей Николаевич и сам, безболезненно признавая большую поэтическую одаренность Фета и Полонского, порой хотел бы видеть их не только

певцами родной природы, трепетных сердечных порывов, а и глашатаями гражданской темы в поэзии, однако каждый волен воспринимать мир так, как подсказывает ему художественное чутье.

Но Михаила Евграфовича никто и никогда не переубедит — об этом Плещеев знал сам, об этом слышал неоднократно и от Некрасова.

Личные же отношения Алексея Николаевича и с Фетом, и в особенности с Майковым и Полонским на протяжении многих лет носили товарищеский и даже дружеский характер. В отличие от своих политических единомышленников Добролюбова и Салтыкова-Щедрина Плещеев признавал яркую талантливость Фета, Полонского, Майкова, Алексея Толстого, восторгался философской глубиной тютчевской поэзии, не приемля стихотворчества эпигонов вроде Щербины, критиковал «скептических» лириков, в частности дебютировавшего в конце 50-х годов К. Случевского («Блестящий стих и красивость не дают еще права на название поэта», — заметил ядовито Алексей Николаевич в отзыве на сборник стихов Случевского). Никогда не испытывал Алексей Николаевич и чувства зависти к высокоталантливым «чистым лирикам», а те, со своей стороны, тоже питали к Плещееву добрые чувства, ценили его творчество и прежде всего за постоянную цельность его художественной позиции, в которой искренность и безукоризненная честность счастливо сочетались с чуткостью к тревогам времени и верностью отражения их (то, что было емко и верно подмечено Я. Полонским: «Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода»).

Да, время всегда властно заявляло о себе в стихах Алексея Николаевича. В том числе и то, которое он назовет «унылым», временем «тяжелых и горьких забот» — то было в пору некоторой растерянности перед торжествующими витиями после гонений на редакции «Современника» и «Русского слова», в пору других малых и больших невзгод (закрытие газеты «Московский вестник», неуспех комедии «Чужая тайна», поставленной на сцене Малого театра), когда поэт, не проживший еще и сорока лет, неожиданно заговорит о «старости докучной».

Но вот в марте 1863 года, когда любимая Еликонида Александровна опять разрешилась мальчиком (назвали Николенькой — Кокой), о невзгодах совсем не хотелось вспоминать — очень рад был Алексей Николаевич рождению второго сына, настолько рад, что и забыл о недавно воспетой «старости докучной». Однако эта радость вскоре была омрачена новой неприятностью, грозящей пресквернейшими последствиями: Алексея Николаевича решили привлечь к «процессу Чернышевского». На

московской квартире его и на даче в подмосковном селе Иванькове в июле 1863 года производят обыск, опечатывают все «бумаги» и отправляют в III Отделение. Осенью этого же года вызывают в Петербург на допрос и самого Алексея Николаевича.

Плещев и не предполагал, что с 1862 года власти снова заподозрили в нем «неблагонадежного» и причислили его к деятелям революционного общества «Земля и воля», к которому он не имел никакого фактического отношения. Правда, в бумагах, которые были опечатаны, ничего «крамольного» не обнаружили, но среди них оказались письма поэта к Чернышевскому. Опираясь на такую «улику», III Отделение сфабриковало подложное письмо теперь уже Чернышевского к «Алексею Николаевичу», в котором шла речь об организации «тайного печатания» антиправительственной литературы.

И вот — вызов в Сенат на допрос... Плещеву в первую очередь показывают это самое письмо к «Алексею Николаевичу», якобы написанное Чернышевским. Естественно, что реальный Алексей Николаевич ничего о нем не знал и, ознакомившись с письмом, полностью отрицал, во-первых, авторство Чернышевского, а во-вторых, решительно заявил, что подобное послание Николай Гаврилович не мог ему написать, ибо их взаимоотношения носили сугубо литературный характер, далекий от политических вопросов.

Тогда Плещеву устраивают очную ставку с известным ему литератором В. Д. Костомаровым, и тот стал утверждать, что Чернышевский будто бы лично отдал ему, Костомарову, письмо для передачи Алексею Николаевичу Плещеву. Ему стало ясно, что Костомаров — провокатор, принимавший непосредственное участие в составлении этой грязной подделки, именуемой письмом к «Алексею Николаевичу».

Чего-чего, а такой мерзости и подлости от Костомарова Плещев не ожидал. Возмущению Алексея Николаевича не было предела, но он спокойно, с достоинством отвергает все костомаровские «улики», хотя такое внешнее спокойствие далось ему с большим трудом...

Возмущенный разыгранным спектаклем, Алексей Николаевич настолько расстроился, что почувствовал себя крайне нездоровым и стал после трехнедельного пребывания в Петербурге добиваться, чтобы его хотя бы временно отпустили домой, в Москву... Особенно расстроило предательство Костомарова, который произвел года три назад весьма приятное впечатление: начитан, инициативен, так красочно говорил о необходимости борьбы со злом. Алексей Николаевич вполне искренне поверил тогда этому молодому человеку, приглашал его домой, вел с ним

откровенные беседы, вместе с ним переводил драму Ф. Геббеля «Магдалина», познакомил его с Михайловым, когда тот останавливался у Плещеева в Москве. А потом Михаил Ларионович свел Костомарова и с Николаем Гавриловичем.

Зная изумительную проницательность Николая Гавриловича, его нетерпимость к малейшему красноречию — а Костомаров как раз был весьма склонен к пустой болтовне, — Плещеев не мог и мысли допустить о тесном сближении Костомарова с Чернышевским.

Сближения особого и не было, но, видимо, Костомаров и на Чернышевского произвел не совсем отталкивающее впечатление, и впоследствии Алексею Николаевичу стало известно, что Чернышевский даже помогал Костомарову материально, устроил его на должность преподавателя в кадетском корпусе и обещал опубликовать в «Современнике» стихи; узнал впоследствии Плещеев, что и М. Л. Михайлов тоже был арестован по доносу Костомарова.

В связи с возникшей «историей» письма к «Алексею Николаевичу» Плещеев теперь понял и окончательно убедился в том, что следствию нужна хоть какая-нибудь улика, чтобы устроить над Чернышевским нечто вроде «законного» суда, понял, что таких фактических улик нет, и это укрепило в нем малую надежду, что жандармы бессильны учинить расправу над Николаем Гавриловичем.

«О, если бы Николай Гаврилович вышел на свободу! Но ведь эти изверги могут устроить и новую провокацию, если провалились с костомаровской, могут, очень даже могут... Не допустят они невинности Чернышевского — не для того держат его в крепости второй год...»

С самого Алексея Николаевича взяли подписку, согласно которой он по первому же требованию обязан был незамедлительно явиться в Сенат.

Что означает такая кабальная подписка? Плещеев не исключал и возможности своего ареста, хотя и не чувствовал за собой никакой вины. Да тут дело вовсе и не в доказательстве виновности: правительство решительно настроено «устранить Чернышевского», а вместе с ним, видимо, и тех, кто искренне сочувствовал его деятельности.

Кроме того, при допросах Плещееву дали понять, что его дальнейшее проживание в Москве становится не совсем желательным, то есть попросту угрожали ссылкой в провинцию. И вернувшись в Москву, Алексей Николаевич долго еще не верил, что его «забыли».

«Как мне ни хорошо дома, после моей трехнедельной праздной жизни в Петербурге, но мысль, что меня ежечасно могут опять вытребовать, — отравляет мое спокойствие. Пока не кончится это дело, я не могу быть

уверенным, что меня оставят в Москве.

А куда будет тяжело и трудно обречь свою бедную семью на жизнь в каком-нибудь захолустье и знать еще вдобавок, что все это — ни за что, ни про что», — сообщает Плещеев П. В. Анненкову 18 октября 1863 года.

«Дело» приближалось к завершению, ибо участь Чернышевского была давно предрешена (следствие хотело создать видимость правосудия, искало и находило новых провокаторов и лжесвидетелей), и 4 мая 1864 года ему был объявлен приговор: четырнадцать лет каторжных работ с последующим поселением в Сибири навсегда «за злоумышление к ниспровержению существующего строя». На этом приговоре государь император Александр II наложил резолюцию в традициях русского самодержавия: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжных был сокращен наполовину».

И до Москвы дошел рассказ о так называемой гражданской казни, совершенной над Николаем Гавриловичем 19 мая 1864 года в Петербурге, на Мытнинской площади: в центре площади был сооружен помост-эшафот, выкрашенный черной краской; Чернышевского привезли, когда на площади собралось много народу, особенно учащейся молодежи. С вывеской на труди «Государственный преступник» Чернышевский был возведен на эшафот, поставлен на колени, и над его головой в знак лишения всех прав была переломлена шпага, а затем «государственный преступник» был приведен к столбу и привязан цепями — таков был обряд «гражданской казни». Хорошо хоть, как рассказывают очевидцы, что публика помешала выдержать время обряда «казни»: кто-то бросил к ногам Николая Гавриловича цветы, люди заволновались, стали вслух прощаться с «преступником», и жандармам пришлось спешно увезти арестованного, а на следующий день отправить в Сибирь.

И хотя Алексей Николаевич предполагал такой трагичный финал, все же весть о кощунственной расправе над Чернышевским казалась чудовищной — все же имя Николая Гавриловича, его популярность и авторитет в кругах русской интеллигенции вроде бы могли и уберечь его от столь бесцеремонного надругательства...

Честные люди, дорогой тернистою
К свету идущие твердой стопой,
Волей железною, совестью чистою
Страшны вы злобе людской!

Пусть не сплетает венки вам победные

Горем задавленный, спящий народ. —
Ваши труды не погибнут бесследные;
Доброе семя даст плод.

Сбудутся ваши святые желания,
Хоть не дожидаться поры этой вам
И не видать, как все ваши страдания
Здесь отольются врагам... —

в этом стихотворении, написанном во время следствия по делу Чернышевского, Алексей Николаевич высказал чувства и мысли, оказавшиеся пророческими, однако в пору, когда стихотворение было написано, такое высказывание могло обойтись поэту новым «крепостным десятилетием» — вот почему и не предлагал Алексей Николаевич для публикации свой стихотворный реквием.

Все же правду говорят, что жизнь человеческая не минует года несчастий. Вот и для Алексея Николаевича, видимо, наступил такой год, тысяча восемьсот шестьдесят четвертый по календарю и тридцать девятый — со дня рождения. Тяжелым, самым трудным и трагичным оказался этот год. Сначала — известие о приговоре над Чернышевским. Временами казалось, что не возродиться уже больше живой, воспламеняющей мысли, а завещание, оставленное Николаем Гавриловичем — роман «Что делать?», написанный в Петропавловской крепости и опубликованный Некрасовым в «Современнике» сразу же, как только было получено разрешение на возобновление издания журнала в 1863 году, — затеряется в ворохе краснобайской болтовни либералов. Да, в безотрадные минуты так и думалось загоревавшему Алексею Николаевичу.

В сентябре того же 1864 года до Москвы доходит еще одна печальная весть — весть о смерти Аполлона Григорьева. А ведь была надежда, что после возвращения из Оренбурга в Питер Григорьев снова обрел себя: его статьи «Стихотворения Н. Некрасова», «По поводу издания старой вещи», «Граф Л. Толстой и его сочинения», статьи о русском театре, опубликованные в журналах братьев Достоевских «Время» и «Эпоха», по-прежнему свидетельствовали о выдающейся проницательности бунтаря-идеалиста... И вот, говорят, новые беды свалились на Аполлона Александровича: попал в долговую тюрьму и умер через четыре дня после освобождения из нее. Освобожден, рассказывают, был генеральшей

Бибиковой, пожелавшей купить его сочинения, каково?!

Умер или погиб? Трудно сказать. Смерть Григорьева Алексей Николаевич переживал больно еще и потому, что память о неистовом искателе идеала невольно возвращала мысль к незабываемым сороковым годам, к Белинскому, Петрашевскому, ко всем тем, с кем мечталось светло и чисто. Нынче, пожалуй, по пальцам можно пересчитать тех оставшихся, с которыми еще поддерживаются какие-то отношения: Достоевские, Милюков... где-то в Пскове затерялся Спешнев, Дуров — в Одессе, Пальм — в Кишиневе, Владимир Милютин скончался, когда Алексей Николаевич жил еще в Оренбурге...

«...Кажется, все, кто был «примерно» наказан и остался в живых, давно на свободе? Но на какой теперь свободе они, вышедшие из «мертвых домов», один из которых Федор Достоевский описал в свои «Записках...» так, что при чтении сердце кровью обливается?..

А братья Достоевские — молодцы! Не побоялись вот открыто выступить в своем «Времени» в защиту восставших поляков, хотя, наверное, и предвидели, какая участь может постигнуть их журнал. Не побоялись, потому что остались верными тому пониманию свободы, которое воспитали в себе в те незабываемые 40-е годы... Вот и Аполлон Григорьев, знакомство с которым произошло как раз в то время, тоже в известной степени был одним из «могикан» той поры, хотя и разошлись наши пути-дороги. Дороги-то наши разошлись, но почему же в душе ощущение невосполнимой утраты?..»

Одно известие печальнее другого. Но никак не мог предполагать Алексей Николаевич, что роковой 1864 год уготовил ему удар непоправимый, утрату тягчайшую из всех доселе пережитых: 13 декабря 1864 года умерла любимая жена Еликонида Александровна — сыпной тиф оборвал жизнь 23-летней женщины, оставившей на руках мужа трех малолетних детей, — как перенес такое горе Алексей Николаевич, ведомо только ему одному...

Мог ли думать Алексей Николаевич, что сон, рассказанный женой незадолго до болезни, окажется вещим?..

Плещеев хорошо помнит ту странную ночь: он сидел в своем кабинете, работал. Неожиданно раздавшийся в спальне резкий вскрик жены не столько испугал, сколько удивил его. Забежав в спальню, Алексей Николаевич еще больше удивился странному виду жены, сидящей на кровати с отрешенным лицом.

— Голубушка, милая, что случилось? — Алексей Николаевич теперь уже не на шутку испугался.

— Знаешь, Алеша, мне сейчас приснилось, что меня живую уложили в гроб и заколотили крышку на нем.

— Помилуй, что ты толкуешь, любовь моя. Забудь про этот бредовый сон, забудь и успокойся. — Плещеев обнял Еликониду Александровну, стал ей рассказывать какие-то малозначащие истории об Оренбурге, которые сам узнал из письма, полученного от Е. И. Барановского. Он знал, что любая весточка об Оренбурге освещала душу жены приятным воспоминанием. Не ошибся Алексей Николаевич и на этот раз: жена вскоре успокоилась, а через несколько минут весело вспоминала свой первый выезд из Илецкой Защиты в оренбургский свет.

И вот беда нагрянула, откуда ее вовсе не ждали: нянька, на попечении которой были Леночка и маленький Кока-Николенька (Саша уже считал себя «взрослым» и старался держаться от няни подальше), заболела тифом и заразила Еликониду Александровну. Болезнь неожиданно приняла столь обостренную форму, что врачи оказались бессильными приостановить ее, хотя и утешали Алексея Николаевича. «С середины вечера — очень дурно, — дорогой Алексей Михайлович. Пршлую ночь бред был ужасный; беспмятство полное продолжается до сей минуты... Доктор, впрочем, уверяет, что ход болезни правильный и никаких осложнений нет; но говорит, что это тиф сильнейший — настоящий больничный», — горюет Алексей Николаевич в письме к А. М. Жемчужникову.

Но «правильный» ход болезни, увы, обернулся роком — Еликонида Александровна скончалась.

«Я получил от вас письмо в такую страшную, роковую для меня минуту, когда не мог ни благодарить вас за участие, ни ответить на ваше предложение... Не зову вас теперь к себе. Я почти не бываю на своей квартире. Обедаю у матери, ночую на квартире Унковскогр. Тоска смертельная меня мучит, и никуда и никогда мне от нее не уйти; но дома — сердце мое еще больше разрывается. Там все — на каждом шагу — напоминает мне ту, с которой я был так бесконечно счастлив семь лет и чьей преданной самоотверженной любви не умел ценить достаточно...» сообщает теперь уже убитый горем Алексей Николаевич в другом письме А. М. Жемчужникову.

Похоронили Еликониду Александровну на территории Новодевичьего монастыря, возле Смоленского собора...

Вначале беда виделась непоправимой, дальнейшая жизнь теряла всякий смысл. Первейшую помощь оказали друзья, а всепоглощающая любовь к детям — к осиротевшим Саше, Леночке и Николеньке — взывала

к деятельности, возвращала Алексея Николаевича в русло нормальной жизни. Но сколько пришлось пережить ему, прежде чем страшная рана стала постепенно затягиваться?! Вот уж когда поистине много прибавилось седины в волосах, вот когда ощущение полнейшей безысходности оказалось пострашнее тех симптомов старости, на которые поэт недавно сетовал.

В скорбные дни, переполненный невыразимым чувством опустошенности, Алексей Николаевич пишет реквиемный триптих «Памяти Е. А. Плещеевой».

Как ей, почившей вечным сном,
В гробу из дома унесенной,
Уж не вернуться в этот дом
К семье, печалью удрученной, —

Так в сердце бедное мое
И радость больше не вернется;
В нем скорбь на долгое житье
Незваной гостьей остается.

Не озарит души моей
Былого счастья луч отградный;
И жизнь, что ждет меня, мрачней
Осенней ночи беспроглядной..

Горе безутешное, и потому «скорбящая, больная» душа поэта «рвется к ней» — любимой, незабвенной, глубоко понимавшей его на «этом свете», «где вечно добрые страдали».

Душа и вправду могла навечно остаться «скорбящей и больной», а жизнь — «мрачней осенней ночи беспроглядной», если бы не свет радости, каждодневно излучаемый неугомными малышами, которые еще не понимали всей непоправимости свалившейся на них беды — даже шестилетний Саша, видимо, не совсем верил в безвозвратность ухода матери...

Саша умеет уже читать и учится говорить по-французски, Леночка за последнее время прямо-таки не отходит от старшего брата, всюду стремится сопровождать его, а вот Николенька — такой крикливый, капризный — ведь ему всего второй годик. Но и непоседливость Саши с

Леночкой, и заливи́стый плач Николеньки олицетворяли будущее и одинаково врачевали Алексея Николаевича от болевой скорби, возвращали его к тому энергическому водовороту жизни, в который он окунулся в Москве. Только возвращение оказалось затрудненным: смерть жены словно бы притупила обостренность ко всему, что выходило за пределы дома, семьи. Да и неладное что-то творилось за этими пределами: гнетущее торжество «пошлости бездонной» («трудным временем» назовут пору общественного застоя Некрасов и Слепцов) ослабило душевный оптимизм, подточило жажду «полётности», как любил называть покойный Аполлон Григорьев чуткость художника к духовным запросам времени.

Пора творческого подъема явно прервалась и у Алексея Николаевича, наступило действительно трудное время и в литературном и в житейском плане: прочного сотрудничества с какими-либо журналами, как это было совсем недавно, не предвиделось, несмотря на добрые отношения с редакциями «Современника» и «Русского слова» — оба этих журнала могли закрыть в любой месяц и день, а просуществовать с большой семьей без твердого заработка не представлялось возможным.

И вот на сороковом году жизни Алексей Николаевич вынужден снова поступить на службу. Но легко сказать — поступить. Не так-то оказалось просто устроиться на службу «бывшему политическому преступнику», придерживающемуся, оказывается, и ныне «зловредного направления» в литературной деятельности, как полагают власти.

Сначала Алексею Николаевичу не было дано разрешения служить в Москве, а уезжать куда-нибудь в провинцию с тремя крохотными ребятишками вовсе немыслимо...

Алексей Николаевич едет в Петербург хлопотать о службе. Жить в северной столице пришлось инкогнито, дабы не возбуждать чрезмерное любопытство полиции (надзор-то остается!). Первые хлопоты мало приятны: места в Москве не обещают. Друзья, правда, подбадривают и оказывают практическую поддержку: после их новых хлопот и прежде всего благодаря содействию брата А. Н. Островского Михаила Николаевича, занимавшего пост одного из помощников государственного контролера, Алексей Николаевич был зачислен 8 октября 1865 года на службу в Государственный контроль и... командирован для занятий в Псковское контрольное отделение.

Не имея возможности выехать в Псков, Алексей Николаевич добивается службы в Москве без всяких «командировок»). И вновь на помощь приходит М. Н. Островский, вновь использует все свое влияние, чтобы не допустить теперь уже служебной «ссылки» поэта, и с 10 декабря

1865 года Плещеев назначается на должность младшего ревизора Московской контрольной палаты.

Грустно, очень грустно закончился для Алексея Николаевича период «лучших дней» московской жизни.

НЕВЗГОДАМ ВОПРЕКИ

*«О память сердца! Ты сильнее
Рассудка памяти печальной.*

Константин Батюшков.

Мой гений

*Больное сердце дорожит
И призраком счастливых дней...*

Алексей Плещеев.

Где ты, пора веселых встреч...

Итак, в год и чуть ли не в день своего сорокалетия видный русский поэт и прозаик Алексей Плещеев волею судьбы снова стал мелким чиновником одного из московских ведомств и вынужден опять тратить уйму времени на дела, к которым испытывал если не отвращение, то полное безразличие, хотя формально исполнял обязанности весьма исправно^[40]. Чиновничья служба — постылая, нудная — с одной стороны, давала надежду на элементарное улучшение семейного бюджета, но с другой, — совершенно выбивала из творческой колеи. Вот и приходится отказаться от предложения Некрасова вести для «Современника» московскую хронику.

«...Для этого нужно быть очень распространенным в обществе — нужно быть свободным человеком, а у меня большую часть времени отнимает служба. Мне сдается, что моя литературная карьера вовсе покончена. Порой, правда, является сильное желание работать, писать, но все это только порывами...» — с горечью сообщает Плещеев Николаю Алексеевичу в письме от 17 апреля 1866 года.

А затем и вовсе отчаянные строки:

«...Очень трудно живется, очень не красно жизнь сложилась — и, право, говоря без фразы и без всякого желания напускать на себя что-либо, — все чаще и чаще думаешь и все больше и больше убеждаешься, что

наилучшее было бы перестать жить. Ребятишки, разумеется, еще привязывают меня к жизни — и покинуть их жаль, но, с другой стороны, — не лучше ли было бы им без меня? Сумею ли я сделать из них что-нибудь путное? Не выйдут ли из них, под моим влиянием, такие же бесполезные и бесхарактерные люди, каков я сам?..»

Однако поэт и в минуты отчаяния остается поэтом. В этом же безысходном письме к Некрасову Алексей Николаевич восторгается стихотворением «старца» Тютчева «О, этот Юг! О, эта Ницца!..», опубликованным в «Русском вестнике», восторгается беспощадной правдивостью тютчевских строк:

Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может...

В эти скорбно-невыносимые моменты, когда жизнь представлялась «подстреленной птицей», Алексей Николаевич нередко возвращался мыслями к дням своей молодости, к тем дням, когда он и его юные друзья парили высоко и гордо. Валериан Майков, Федор Достоевский, Сергей Дуров, Михаил Петрашевский... Недавно узнал из письма А. П. Милюкова о кончине Михаила Васильевича: кажется, где-то в Иркутске или в Минусинске похоронен петербургский фурьерист... Все меньше и меньше остается старых друзей, с кем начинал входить в жизнь. Из тех, с кем стоял на Семеновском плацу на эшафоте, наиболее тесная связь осталась, пожалуй, только с Федором Михайловичем Достоевским, да и она как-то незаметно, перешла в литературно-деловую, а ведь в 40-е годы Федор Достоевский и Алексей Плещеев были крепко дружны!.. Поэтому несказанно обрадовался Алексей Николаевич полученному из Кишинева письму А. И. Пальма («помилованный петрашевец» Пальм с 1864 по 1868 год управлял Кишиневским отделением Государственного банка), обрадовался и сразу же написал взволнованный ответ, в котором, ничуть не кривя душою, сказал такие слова: «Если бы можно было, так бы и полетел к тебе в Кишинев, чтобы увидеть тебя и вместе с этим посидеть да помечтать, как бывало в старину мы сидели и мечтали, — да, брат, прошли эти великие минуты и бог знает когда повторятся».

Тесной дружбы между Плещеевым и Пальмом не было и в «старинные» дни молодости, но была общность интересов, идеалов, а разве такое забывается?

Да, мечты... мечты молодости. Вспомнились прогулки по

петербургским улицам с Федором Достоевским, — пожалуй, наиболее близким другом той незабываемой поры... «Белые ночи» — эта повесть и нынче остается для Плещеева одним из любимейших творений Федора Михайловича. И новые произведения старого друга, за исключением, пожалуй, «Села Степанчикова и его обитателей», которое Алексей Николаевич не считал удачным, всегда прочитывались Плещеевым с большим интересом и всегда восхищали его глубоким психологизмом... Только вот все усиливающиеся разногласия между Достоевским и последователями Чернышевского и Добролюбова оставляют в душе тревожное чувство.

Правда, расхождения, и довольно существенные, между Достоевским и радикальными сотрудниками «Современника» возникли давно, и это очень огорчало Плещеева, не понявшего тогда коренной сути споров. Алексей Николаевич не очень четко представлял сущность новых «почвеннических» идеалов Достоевского (органическое соединение интеллигенции и народа, единое развитие русского национального самосознания, культуры и народной нравственности) и в известной мере по-прежнему продолжал считать друга юности сторонником мироустройства в духе учения западных социалистов-утопистов. Сам Плещеев ничуть не сомневался в необходимости именно такого мироустройства, полагал, что и революционные демократы 60-х годов придерживаются такой же позиции. И хотя теперь Алексей Николаевич начинал понимать буржуазную ограниченность западных теорий (не без влияния статей Ап. Григорьева и Ф. Достоевского, что публиковались в журналах «Время» и «Эпоха»), он все равно продолжал считать принципы общественного устройства, предлагаемые социалистами-утопистами (принципы общинного «муравейника»), лучшими. Алексею Николаевичу казалось, что эти принципы разделяются и Чернышевским, выдвигавшим идею перехода русской крестьянской поземельной общины к социалистической форме, вернее, не столько принцип, сколько конечный результат — переустройство жизни на социалистических началах, где не будет социального гнета, не будет господ и рабов, а будет только трудящийся народ.

А Достоевский-то, бичующий на страницах своих журналов «Эпоха» и «Время» европейские теории социальных преобразований, — ужели изменил идеалам молодости? Нет, тут что-то не так, и Алексею Николаевичу, дорожившему дружескими отношениями с Федором Михайловичем, сотрудничавшему в журналах братьев Достоевских, ох как горько замечать сердитость автора «Бедных людей» на Чернышевского и

его соратников.

«Однако почему сердитость? Вернее, пожалуй, тут видеть спор, принципиальные разногласия и по эстетическим вопросам, когда Федор Михайлович критиковал Добролюбова за «теоретический утилитаризм», и по проблемам общественно-политического характера, когда сотрудники «Современника» обвиняли редакцию «Времени» в отсутствии положительной идеи, но резкостей не было ни с той, ни с другой стороны. Федор неоднократно высказывал свое уважение и к Чернышевскому, и к Добролюбову, нередко со страниц «Времени» выступал в поддержку «Современника» и его главных сотрудников, а те тоже весьма высоко ставили литературно-общественную деятельность Достоевского... Но где-то после 62-го года разногласия обострились, Федор в статье «Два лагеря теоретиков» обвинил главных деятелей «Современника» в недооценке народа, в непонимании его интересов и в навязывании народу чуждой программы — это обидно и несправедливо... Странно и другое: неужели Федор, обвиняя Чернышевского в утилитарности, прагматизме, всерьез полагает, что идеалы Николая Гавриловича мелки и ничтожны?.. Нет, это, конечно, не так, но явно и то, что расхождения теперь у них не только по вопросам эстетическим: и в «Униженных и оскорбленных», и в «Зимних заметках...» Федор прозрачно полемизирует с теми, кто разделяет общественные идеалы, которые защищались, как мне кажется, и Николаем Гавриловичем... Или я ошибаюсь?..» — размышлял Алексей Николаевич, пытаясь установить для себя причину «странных» столкновений Достоевского с публицистами «Современника», искренне огорченный тем, что его надежды на «примирение» все больше и больше блекнут.

А тут вскоре появились «Записки из подполья», которые совсем расстроили Плещеева, — ему показалось, что Достоевский теперь уже не просто «изменил» идеалам молодости, а прямо-таки радуется, что «подпольный человек» издевается и над социалистическими идеями Фурье, и над идеалами, которые дороги как Чернышевскому, так и ему, Плещееву, и которые... ведь были дороги и самому Федору Михайловичу...

«Как можно объяснить эту новую «выходку» Федора? Просто не верится, что эти «Записки» написаны человеком, который пятнадцать лет назад готов был отдать свою жизнь во имя скорейшего торжества именно тех идеалов, над которыми теперь потешается так открыто и зло?.. А может быть, он, Плещеев, чего-то и тут недопонимает?.. Возможно, Федор вовсе не хотел, не имел намерения насмеяться над тем, во имя чего они шли на эшафот, а причина всему — полемическая увлеченность, продолжение давнишнего спора с Добролюбовым и Чернышевским о предназначении

искусства, спора, перенесенного в социальную сферу столь резко еще и потому, что Федор, как видно, весьма отрицательно, даже враждебно относится к тем молодым публицистам из «Современника» и «Русского слова», что громогласно выдают себя за единственных последователей Чернышевского?.. Федор нынче тоже переживает тяжелый период: «Время» закрыли, «Эпоха» обанкротилась, ситуация в стране совершенно безвыходная — может, и это все сыграло немалую роль в чрезмерной раздражительности Достоевского?.. Алексей Николаевич допускал и такие «объяснительные» варианты в связи с «Записками из подполья».

Давно уже не встречались и не толковали петербуржец Достоевский и москвич Плещеев. Поэтому и не мог в полной мере знать Алексей Николаевич, что огромный духовный переворот, происшедший с его другом молодости, как раз и касался в первую очередь пересмотра прежних социально-политических идеалов, что разочарование Достоевского в идеях социалистов-утопистов Запада явилось следствием глубоко выстрадавшего им отрицания буржуазного мира, мира чистогана, как раз и спекулирующего на тех самых идеалах под видом практического воплощения концепции «муравейника». Не знал Алексей Николаевич и того, что Федор Михайлович давно пришел к непреклонному убеждению о невозможности изменения и общества и людей путем насильственного «взрыва» социальной структуры по образцу Западной Европы, где открыто восторжествовали идеалы буржуа; не очень ясно представлял Алексей Николаевич и всю глубину нравственного идеала нынешнего Достоевского, напрочь порвавшего с абстрактными «теориями всечеловечности» и напряженно ищущего теперь подлинную все-человечность в народных началах русской нации, в недрах самой России и прозревшего до высшей истины, высшей идеи: учиться у народа, а не навязывать ему умозрительные (и чаще всего заемные) идеи, чуждые органическим запросам этого народа...

«Обиду» юношеским мечтам, нанесенную Достоевским в «Записках из подполья», Плещеев воспринял чуть ли не как личную обиду, но дело до разрыва не дошло, отношения между старыми друзьями сохранились добрыми. Алексей Николаевич внимательно читал все выходящее из-под пера Достоевского и продолжал верить в громадный талант Федора Михайловича. Знал Плещеев, что Достоевский прислал Каткову (но почему опять этому лицемеру Каткову?) изложение плана нового романа, а недавно этот роман появился в «Русском вестнике» под заглавием «Преступление и наказание». Прочитав новое произведение Достоевского, Алексей Николаевич еще раз убедился в необъятной мощи таланта старого

товарища, а некоторые главы романа признал просто гениальными.

«Но куда направлена эта гениальная страстность? Неужели все-таки прав Григорий Елисейев, причисливший Достоевского к тем, кто озлоблен движением последнего времени? — тревожно раздумывал Плещеев, все еще надеясь постигнуть духовную метаморфозу своего друга юности. — Однако, если Григорий и прав, то, судя по его статье, опубликованной в «Современнике», романа Федора он ни черта не понял»^[41].

Однако и порицая Достоевского за «измену» идеалам молодости, Алексей Николаевич не мог не уважать в нем величие творческого духа, силу характера. «Спору нет, и у Федора жизнь сложилась несладко, но он все же сумел выстоять, занимается любимым литературным делом. А тут вот тянешь служебную ляжку, чтобы не подохнуть с голоду... Неужели и в самом деле с литературой покончено?»

Служба обременяет, утомляет, раздражает и не дает возможности отдаваться творчеству по желанию — об этом Плещеев с горечью сообщает близким, друзьям, сподвижникам.

«...Работать мне хочется, и я работал бы, если бы у меня не было самой каторжной службы, отнимающей у меня все время и убивающей меня нравственного... Совсем меня исколотила жизнь. В мои лета биться, как рыба об лед, и носить вицмундир, к которому никогда не готовился, — куда как тяжко», — сетует Алексей Николаевич Некрасову.

А еще раньше, в другом письме Некрасову, признавался, что даже в театр стал ходить реже, хотя с юных лет был заядлым театралом, и «... посещаю только один Артистический клуб, где меня, к сожалению, выбрали старшиной: говорю — к сожалению, потому что всего менее способен к клубной жизни...»

О безрадостном и бестолковом чиновничьем прозябании Плещеев написал даже ироническое стихотворение, опубликовав его в 1867 году в газете «Искра»:

Блажен, кто мирно, без начальства,
Без вицмундира может жить,
Самодовольного нахальства
Кто не обязан выносить.

Кто важным делом не считает
Весь канцелярский сор и хлам
И о «награде» не мечтает,
Строча доклады по ночам.

Кого не мог лишить покоя
И сна начальничий приказ,
Кто тело спас от геморроя
И от холопства душу спас.

Сам-то Алексей Николаевич был уверен, что «душу-то от холопства» он спасет при любых обстоятельствах, но «канцелярский сор и хлам» притуплял душевные порывы, и от этого не было никакого спасения. В письмах к друзьям и товарищам Плещеев стал все чаще и чаще подчеркивать свое старение, толковать об увядании духа, о неспособности создать что-либо стоящее.

Служба в контроле утомляла настолько, что Алексей Николаевич всерьез обрадовался, когда был на некоторое время освобожден от каждодневного хождения в контроль в связи с исполнением обязанностей присяжного поверенного в Окружном суде. Об этом он чистосердечно признавался в письме к А. М. Жемчужникову: «Я чувствовал, что я не воду толку, что тут дело — и дело живое, настоящее. Я не прочь был, если бы сессия продлилась вдвое и втрое больше... Это жизнь как она есть и которую всегда полезно изучать, особенно нашему брату, литературному человеку...»

Но рядом с такими самопожеланиями о необходимости изучения жизни для «литературного человека» — сетования на нужду, вялость и апатию духа.

И все-таки он не теряет надежды снять с себя постылый вицмундир чиновника, вернуться к литературе и отдаться любимому делу целиком. Не беда, что творческое вдохновение реже навещает его, он знает, что виной тому опять же... постылая служебная лямка, которую приходится тянуть ради куска хлеба, что подобное он уже испытывал в пору солдатчины, когда, казалось, совсем было «отвык писать» стихи... И в нынешней обстановке, в окружении современных Акакий Акакиевичей, не ровен час можно «отвыкнуть» от родной словесности и похоронить в себе «литературного человека». Да и годы уже дают своей тяжестью, надо непременно выкарабкиваться из этой чиновничьей трясины...»

Настойчивое подчеркивание поэтом «солидности» своего возраста, намеки на старость (а он только-только перешагнул сорока летний рубеж) — это в известной мере и оправдание заметного творческого спада, который испытывал в эти годы Алексей Николаевич. А он, этот спад,

оказался затяжным. За период 1865–1868 годов написано совсем мало оригинальных стихотворений, и на многих из них лежит печать утомленности и усталости. Правда, порой из-под пера выходили стихи энергичные, такие, к примеру, как «Не страшны им бичи сатиры...», «Песня отступников», «Жаль мне тех, чья гибнет сила...». Удались как будто и некоторые из переводов из венгерского поэта Ш. Петефи, из английского поэта А. Теннисона и ряд других. Меньшее удовлетворение доставляли пьесы драматургические, сочиненные, конечно же, прежде всего ради дополнительного заработка, — тут была большая возможность продать сочинение какому-нибудь театру.

Тем более что стихи и прозу публиковать стало все труднее и труднее. Два наиболее уважаемых читающей публикой журнала, «Современник» и «Русское слово», были закрыты в июне 1866 года (результат репрессий, последовавших после выстрела Каракозова в Александра II), и приходилось отдавать стихи во всякие второстепенные издания вроде «Модного магазина», «Антракта» или «Русской сцены».

В одном из писем А. М. Жемчужникову (тот жил в этот период за границей) Алексей Николаевич, подробно рассказывая о журнально-газетных делах в России, в частности сообщает: «Вообще литература в печальном положении. Газеты еще идут. Но собственно литературные органы пользуются весьма слабым сочувствием публики...»

Сам Плещеев вместе с Некрасовым и Островским тоже намеревался было издавать в Москве газету «Театральный листок», но власти не разрешили это издание, посчитав, видимо, издателей не совсем «благонадежными». Положение становилось прямо-таки удручающе безысходным...

А недавно получил весьма лестное письмо от редактора нового журнала «Всемирный труд», письмо с приглашением к сотрудничеству. Ответил согласием, но просил предварительно сообщить, какое будет направление журнала. И что же? Редактор наплел более четырех страниц бессмыслицы, ничего не высказав по существу заданного вопроса. Алексей Николаевич решил выждать, как журнал заявит себя, и после выхода первых двух книжек понял, что «быть в нем сотрудником постыдно», о чем и напишет Алексею Михайловичу Жемчужникову, отговаривая и его от каких-либо связей со «Всемирным трудом».

Конечно, «Модный магазин» тоже не отличается каким-то цельным направлением, но там и не претендуют на смехотворные нравоучения, как во «Всемирном труде»... Да, в горестном положении оказались литературные органы.

Особенно расстроила весть о закрытии некрасовского «Современника». Алексей Николаевич знал, что в редакции журнала не было в последнее время единомышленников (Салтыков-Щедрин, не согласный с Пыпиным, Антоновичем и Елисеевым, вышел из редакции еще в 1864 году), видел: публикации журнала значительно уступают тем, что были в начале 60-х годов. Но и в этот период на страницах «Современника» появились произведения, привлечшие всеобщее внимание: «Что делать?» Чернышевского, «Трудное время» Слепцова, «Подлиповцы», «Горнорабочие» Решетникова, «Нравы Растеряевой улицы» Глеба Успенского, рассказы Салтыкова-Щедрина, стихи Некрасова. И поэт продолжал считать журнал лучшим в России, верил в его большое будущее, связывал с ним и свои будущие литературные планы, от которых все-таки он никак не мог отказаться, несмотря на хандру, жизненные невзгоды, творческий кризис, — ведь литература по-прежнему была для него единственным прибежищем, где он «оставался человеком».

Опечалило Алексея Николаевича и сообщение о закрытии «Русского слова», в котором он тоже сотрудничал в течение пяти лет. С редакцией этого журнала у Плещеева не было столь тесного контакта, как с членами редакции «Современника». И когда развернулась бурная полемика двух журналов (возникли в связи с расхождением оценок романа Тургенева «Отцы и дети») в 60-е годы, то Плещеев был в целом на стороне «Современника» (он не разделял той резкой критики в адрес тургеневского романа, что прозвучала со страниц «Современника» в статье М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени», однако не признавал и апологетического восприятия образа Базарова со стороны критиков «Русского слова»), считая, что авторы «Русского слова» чересчур задиристо и часто несправедливо упрекают авторов «Современника» и в частности М. Е. Салтыкова-Щедрина. Но к редактору «Русского слова» Г. Е. Благосветлову Алексей Николаевич относился всегда с большим уважением.

С интересом читал Плещеев и статьи главного критика «Русского слова» Д. И. Писарева, отдавая должное блестящему литературному дарованию вождя «нигилизма», хотя категорически не принимал писаревских выпадов против святых для поэта имен Пушкина, Лермонтова, Белинского... Далеко не во всем соглашался Плещеев с Писаревым и в истолковании последним поэзии Гейне, но статью о немецком поэте Алексей Николаевич прочитал уже после трагической гибели критика...

«В сущности, в стране не осталось ни одного дельного литературного журнала, и теперь катковский «Русский вестник» опять встанет во главе

русской литературы — какая ирония судьбы». Алексей Николаевич горько усмехнулся, вспомнив фразу, оброненную недавно зашедшим к нему в гости Иваном Захаровичем Суриковым.

Алексею Николаевичу запомнился этот разговор, состоявшийся в памятный для Плещеева день его рождения. Иван Захарович Суриков пришел тогда первым из приглашенных на вечер гостей и принес Алексею Николаевичу в подарок пресс-папье в виде железной собаки, чем весьма сконфузил именинника. Однако Плещеев подарок принял, не желая огорчать своего «крестника»).

Странный суриковский подарок Плещеев, между прочим, хранил до конца жизни своей, ибо горячо любил Ивана Захаровича, высоко ценил его самородный талант.

Иван Захарович продолжал оставаться среди ближайших друзей Плещеева, считая Алексея Николаевича своим «литературным крестным отцом» — после того, как по рекомендации Плещеева в журнале «Развлечение» в 1863 году было опубликовано первое стихотворение Сурикова. Частый посетитель плещеевской квартиры на Плющихе, Иван Захарович нередко заходил и на новую квартиру Алексея Николаевича в Оружейном переулке, в доме Суханова. Суриков, поссорившись с отцом, ушел из его лавки и устроился работать наборщиком в типографию в надежде подработать деньжонок и открыть собственную лавку. Задуманные беседы учителя и ученика скрашивали нелегкие будни обоих: и тот и другой тяготились службой, поэтому всегда радовались встречам. Суриков стал к этому времени печататься, готовил к изданию первую книжку стихов. Он по-прежнему боготворил Плещеева, который навсегда остался для Ивана Захаровича авторитетнейшим поэтом. Чувство признательности к Алексею Николаевичу, возникшее у Ивана Захаровича в первое время их знакомства, с годами все более и более крепло; со своей стороны, и Плещеев испытывал к поэту-самоучке глубочайшую симпатию, принимал самое деятельное участие в литературной судьбе даровитого лирика, в стихах которого, как и в стихах Кольцова, пульсировала поэзия народной жизни, поэзия, в которой присутствовали не только «скудная радость и богатая горем жизнь русского мужика, борьба за существование бедного трудящегося люда», но подспудно ощущалась неодолимая тяга простых людей к свету, к свободе, воспевалась их нравственная чистота и душевное богатство.

«А Суриков, пожалуй, быт близок к истине, когда сказал, что в стране не осталось ни одного порядочного журнала». Алексей Николаевич снова вернулся мыслями к недавней беседе с Иваном Захаровичем.

«Действительно, Катков после опубликования в своем журнале романа Достоевского «Преступление и наказание» и первых частей «Войны и мира» Льва Толстого снова «на коне». А другие журналы положительно захирели. Правда, некоторой популярностью (и вполне заслуженной) пользуется «Вестник Европы», издаваемый М. М. Стасюлевичем, — журнал, посвященный как будто исключительно истории, но, судя по всему, отнюдь не избегающий и современных общественных вопросов, публикующий на своих страницах прозу, драматургию, работы крупных ученых-естественников. Григорий Евлампиевич Благодетель прислал приглашение сотрудничать в редактируемом им новом журнале «Дело», который, как видно, будет верен направлению «Русского слова», — вот это очень славно, это радует. Очень возможно, что благодетельский журнал окажет серьезную конкуренцию «Русскому вестнику», не то и впрямь Катков станет во главе русской литературы...

Говорят, карьера редактора «Русского вестника» висела на волоске, когда он на страницах своей газеты «Московские ведомости» позволил себе резкую критику крупных правительственных сановников, обвинив их чуть ли не в национальном нигилизме, — против Каткова выступил сам великий князь Константин Романов. Однако Александр II, вскоре после неудавшегося на него покушения Каракозова, будто бы лично вступился за редактора «Русского вестника» и «Московских ведомостей», разрешил ему обращаться по важнейшим вопросам непосредственно к нему, царю, минуя высокопоставленных лиц, включая министров. Теперь Катков уже, наверное, не просто на «коне», а «па белом скакуне» — поддержка императора фактически свидетельствовала о победе журналиста над высшей бюрократической администрацией. Вот он каков нынче, Михаил Никифорович Катков!.. И все-таки хочется верить, что если «Дело» соберет вокруг себя крупные литературные силы, может посоперничать с «Русским вестником».

Откликаясь на приглашение Благодетель, Алексей Николаевич вскоре отошлет несколько своих и переводных стихов в «Дело» и среди них лирическую элегию «Быстро тают снега, побежали ручьи...», написанную в один из грустных мартовских дней 1867 года.

Среди однообразной суеты периода службы в контроле ради хлеба насущного запомнился Алексею Николаевичу день 25 мая 1867 года. В этот день члены Артистического кружка, старостой которого Плещеев был избран по предложению А. Н. Островского, решили устроить банкет в честь приехавших в Москву на этнографическую выставку участников

Славянского съезда в России — гостей из южных и западных славянских земель.

Деятельнейшее участие во встрече славянских гостей и организации выставки приняли М. П. Погодин и И. С. Аксаков — руководители Славянского благотворительного комитета, созданного еще в 1858 году. Через Погодина и Аксакова, собственно, была организована и встреча славян с членами Артистического кружка — этого детища А. П. Островского (великий драматург относил день открытия кружка — 14 ноября 1865 года — к важнейшим событиям своей жизни).

В новом помещении Артистического кружка, в бывшей гостинице Лабада, 25 мая 1867 года состоялся настоящий праздник. Гости из Болгарии, Черногории, Хорватии, Словакии пришли приветствовать все виднейшие деятели культуры Москвы. Тут можно было увидеть не только непосредственных членов кружка — драматургов, артистов, музыкантов (а среди них, кроме «самого» Островского, были А. Ф. Писемский, молодой профессор Московской консерватории П. И. Чайковский, недавно сочинивший чудесную симфонию «Зимние грезы», все звезды Малого театра: А. П. Савина, С. В. Шумский, И. В. Самарин, М. П. Садовский, П. А. Стрепетова, П. Г. Степанов...), но и тех, кто непосредственно к кружку не примыкал, но поддерживал с кружковцами тесные отношения. Пришел, несмотря на преклонные лета свои, Иван Иванович Лажечников, пришел Николай Григорьевич Рубинштейн — директор и профессор недавно открытой Московской консерватории, пришли молодые профессора этой же консерватории Герман Августович Ларош и Николай Дмитриевич Кашкин...

По прибытии славянских гостей вечер начался исполнением бетховенского трио (es dur) на фортепьяно, скрипке и виолончели; потом один из музыкантов сыграл на скрипке соло на славянские мотивы.

А. Н. Островский в приветственном слове пожелал «славянскому миру единодумия и славы», выразил надежду, что пожелания эти в скором времени станут явью. На банкете было произнесено немало теплых слов в адрес гостей, речи выступавших нередко сопровождались шумными рукоплесканиями, но особенно восторженно участники банкета встретили выступление Алексея Николаевича Плещеева, который был в этот вечер, как говорится, в ударе. Сказав, как и все выступавшие, несколько приветственных фраз в адрес гостей, Алексей Николаевич, отталкиваясь от мысли Островского о единодумии и славе, неожиданно прочел на эту же тему сочиненное экспромтом стихотворение — неожиданно и для всех знавших о творческом кризисе поэта, и... для самого себя.

Примите, славяне, наш братский привет,
Любовью он к вам непритворной согрет.
Примите желанье — да крепнет
Духовный меж нами союз,
Чтоб козни врагов не расторгли
Нас ныне связующих уз.
Да крепнет на долгие, долгие лета
Под знаменем правды, науки и света!

Мы верим, что к цели великой
Господня ведет нас рука.
Мы верим — желанная вамп
Пора возрожденья близка.
И мощным бойцам за народность и право
Воскликнет весь мир с изумлением «Слава!».

Последние слова поэта сопровождались бурной овацией, все присутствующие долго скандировали: «Слава! Слава! Слава!» Тут же Алексей Николаевич прочитал переложенную на русский язык Аполлоном Майковым сербскую песню «Сербская церковь», артистка Меньшикова исполнила несколько русских и украинских песен; Николай Васильевич Берг прочитал свое стихотворение «Сердце, говорят, не камень...», артист и прозаик И. Ф. Горбунов прочитал три рассказа из народной жизни. Затем с благодарственными речами выступили славянские гости, и после так называемой торжественной литературно-музыкальной части в залах началось шумное братание всех участников банкета.

К Алексею Николаевичу подходили обняться и гости, и приятели, и те, с кем у поэта были несколько натянутые отношения: Алексей Феофилактович Писемский, которого Плещеев старался избегать после публикации в «Библиотеке для чтения» антинигилистического романа «Взбаламученное море», неуклюжей медвежьей походкой пробрался с противоположной стороны стола лишь затем, чтобы чокнуться с автором импровизированного гимна и выразить ему «восхищение и признательность невероятную»; приветливо, даже дружелюбно улыбался М. П. Погодин. А приехавшие на праздник петербургские литераторы и музыканты — сколько среди них было настоящих друзей!..

Это был памятный день, наверное, не только для одного Алексея Николаевича. Одушевление, непосредственность, чувство доверия,

царившие на банкете, как бы символизировали обязательность торжества славянской единения «под знаменем правды, науки и света», примиряли, вернее, показывали возможность примирения многолетних идейных противников — славянофилов и западников — под сенью «связующих уз» братства народов.

Расходились после банкета возбужденные, с праздничным настроением.

«Старый» неисправимый «западник» Плещеев, растрогавший своим импровизированным стихотворным приветствием не только славянских гостей, но всех присутствовавших в зале, ощущал в своей душе такой прилив бодрости, какого не испытывал уже много лет. Распрощавшись с Островским, Чайковским и другими членами кружка, Алексей Николаевич вызвался проводить до дому почтенного Ивана Ивановича Лажечникова, который проживал на Пресне, у Горбатого моста.

Плещееву и раньше приходилось бывать в доме Лажечникова — еще три-четыре года назад он заносил маститому романисту том стихотворений Некрасова, который Николай Алексеевич прислал в подарок Ивану Ивановичу, — беседовать с ним о разных разностях. И даже крепенько спорить, особенно в связи с польскими событиями в 63-м году: Лажечников, сделавшись к тому времени непримиримым националистом, испытывал неприязнь, граничащую порой, как это проявилось в его повести «Внучка панцирного боярина», с узкой ненавистью к полякам, что не могло не огорчать Алексея Николаевича. Однако восторженная натура творца русского исторического романа, его искренняя, почти наивная симпатия ко многим новым веяниям, неподдельный интерес к злободневным проблемам века всегда притягивали к нему как молодых, так и почтенных мечтателей, приверженных к идее неизбежного торжества добра и справедливости.

Кроме того, всегдашнее заинтересованное и доброжелательное отношение Лажечникова к молодому поколению необычайно импонировало Плещееву, который и сам по психологическому складу характера своего всегда оставался «юношей в душе».

И в этот день 25 мая престарелый романист и входящий в солидные лета поэт долго и увлеченно беседовали в скромном кабинете Ивана Ивановича. Естественно, вспомнили и время 40-х годов. Белинского, много толковали о тех, чья деятельность прервалась совсем недавно.

Радикальные идеи Добролюбова, Чернышевского и их последователей Лажечтыков далеко не разделял, однако ценил честность, страстную убежденность, личное мужество, глубоко сочувствовал горькой судьбине,

выпавшей на их долю...

О банкете в честь славянских гостей тоже говорили живо и увлеченно, еще находясь под впечатлением торжества. Иван Иванович, между прочим, не удержался, чтобы не уязвить Алексея Николаевича.

— Вот вы, любезный поэт, все время оглядываетесь на Запад, полагая, что будущее России немислимо без усвоения уроков французов, немцев, англичан, а ныне пропели гимн славянскому единению, пожалуй, похлестче Федора Ивановича Тютчева^[42], пропели, как самый рьяный сподвижник славянофилов, — что на это возразите? — В глазах Лажечникова загорелся огонек, и вся его стариковская фигура как-то по-боевому нахохлилась.

— Да я и не хочу вам возражать, Иван Иванович. Я целиком разделяю идею братства всех славян и полностью солидарен в этом вопросе с единомышленниками Ивана Сергеевича Аксакова, однако продолжаю считать, что национальной самобытностью славянских стран не следует рассматривать как нечто противоположное западным народам и уж совсем не могу согласиться с тем, что великорусскому началу принадлежит исключительная роль в разрешении задач всемирно-исторических. — Алексей Николаевич выразительно взглянул на Ивана Ивановича, а тот, улыбаясь, проворчал:

— Улавливаю, в кого целите, любезный Алексей Николаевич, улавливаю.

Плещеев понимал, что переубедить Лажечникова он не сможет, по продолжал взволнованно говорить о ложности теоретических воззрений теперешних славянофилов; Плещееву было известно, что его старый приятель по кружку Петрашевского Н. Я. Данилевский работает над книгой «Россия и Европа», в которой развивает идеи мессианства славянской культурно-исторической цивилизации, избранничества русского народа как высшего выразителя этого славянского мессионизма. Алексей Николаевич считал, что нынешние славянофилы запутались в абстракциях и даже забыли заветы своих учителей И. Киреевского, А. Хомякова, К. Аксакова о том, что залог будущего России хранится только в трудовых классах народа, а Иван Иванович, соглашаясь в этом с Плещеевым, все же горячо защищал идеи русского избранничества, бранил европейский утилитаризм,

Разгоряченный спором, шампанским, которым его угощал Иван Иванович, Плещеев покинул квартиру Лажечникова в приподнятом состоянии духа. Возвращался домой пешком; в сердце стучалась музыка — любимые мелодии друзей-музыкантов, многих из которых довелось повстречать на банкете в честь славянских гостей. Невольно подумалось, что музыканты-то нынче дерзают поэнергичнее литераторов.

К примеру, Петр Ильич Чайковский, ставший с недавнего времени постоянным посетителем Артистического кружка, где познакомился и подружился с Плещеевым. Ему нет еще и тридцати, а он уже по праву заявил себя сложившимся композитором, его, безусловно, ожидает великое поприще. Давний приятель Алексея Николаевича Н. Г. Рубинштейн вообще считает, что Чайковскому скоро, пожалуй, не будет равных в современной симфонической музыке, это не назовешь преувеличением, вспомнив, скажем, «Зимние грезы» молодого профессора. И петербургские музыканты из кружка М. А. Балакирева продолжают несказанно радовать своими новыми творениями, энергичной деятельностью, а они тоже в принципе довольно молоды, включая и руководителя Милия Алексеевича — уроженца Нижнего Новгорода и в известной степени земляка Плещеева.

Алексей Николаевич вспомнил, как несколько лет назад он познакомился в Питере с Балакиревым и как это знакомство вскоре перешло в теплую дружбу. Через Милия Алексеевича он сошелся и с другими участниками балакиревского кружка — Н. А. Римским-Корсаковым, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргским, А. П. Бородиным: какие сильные и самобытные таланты! Вот только почему они столь непримиримы к А. Г. Рубинштейну — старшему брату Н. Г. Рубинштейна? Почему и в чем видят Милий Алексеевич и его друзья вред музыкального академического образования, за который ратует возглавляющий Петербургскую консерваторию и Российское общество темпераментный Антон Григорьевич? Толкуют о преклонении Рубинштейна перед иностранными образцами, но неужели преклонение перед Моцартом, Бетховеном, Шубертом достойно порицания?.. Спору нет, глубокий интерес друзей Балакирева к национальным корням в музыке, к народным мелодиям — святое дело, и прав В. В. Стасов, написавший восторженную статью по поводу концерта под управлением Милия Алексеевича на встрече славянских делегаций на Всероссийской этнографической выставке, статью, заканчивающуюся пожеланиями, чтобы славянские гости «навсегда сохранили воспоминания о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов...».

Да, «кучка» и действительно уже без преувеличения могучая, и Алексей Николаевич с радостью принимал каждое новое произведение представителей ее, особенно высокого мнения был о сочинениях совсем молодого Римского-Корсакова, «Увертюры на темы русских песен» которого считал просто гениальной вещью.

«И все же Милий Алексеевич и его друзья не совсем справедливы к Рубинштейну-старшему, право. Опять же чересчур славянофильствуют...

Впрочем, что это я нынче никак не могу... избавиться... от миражей славянофильства: речь Островского, мое стихотворение, спор с Иваном Лажечниковым... Теперь вот и Балакирева с друзьями виню в славянофильских увлечениях, а может, это и не увлечения вовсе, а жизненная убежденность, без которой и не может жить думающая личность? В нынешнее время, которое Николай Алексеевич Некрасов справедливо и точно назвал «душным», когда и впрямь «ночь бесконечно длинна», нельзя ожидать бури, не имея в душе выстраданных убеждений, если ты видишь цель своей жизни не в получении ордена св. Станислава «за труды», а в том, чтобы способствовать ускорению прихода той спасительной бури, могущей расплескать «чашу народного горя». Алексей Николаевич опять почувствовал на сердце щемящую тоску, тревогу неустроенности, неопределенности в будущем...

Особо утешительными переменами жизнь по-прежнему не баловала. Правда, в личной судьбе произошли изменения, скрасившие житье-бытье отца и вдовца Плещеева: в 1866 году Алексей Николаевич женится на Екатерине Михайловне Даниловой, урожденной Успенской. Первый брак Екатерины Михайловны с губернским секретарем сложился неудачно, и она была очень тронута вниманием, сердечностью и лаской Алексея Николаевича. А он, со своей стороны, чувствуя искреннюю привязанность к нему Екатерины Михайловны, ценя на редкость доброе ее сердце, проникся надеждой, что она сможет в какой-то мере заменить ему покойную жену, а детям — мать. Увы, доброта и привязанность новой его подруги никак не могли восполнить того чувства, что, видимо, навсегда унесла с собой в могилу незабвенная Еликопида Александровна, образ которой возвращал Алексея Николаевича к поэзии, возвращал исподволь, но настойчиво.

И вот рождались стихи, посвященные памяти Е. А. Плещеевой-Рудневой: «Когда тебе молчанием суровым...», «Где ты, пора веселых встреч...»

Это стихи-воспоминания, стихи-плачи по утраченному навеки, и свет воспоминаний уже «не греет, не живит», и все-таки «жизнь без них еще мрачней», ибо «больное сердце дорожит и призраком счастливых дней...».

И, наверное, никто уже не сможет заменить ту, кто, «чиста, правдива и добра», шла об руку с поэтом по жизни в течение небольшого, но самого счастливого периода его жизни: Алексей Николаевич купил даже место для своей будущей могилы (!) на территории Новодевичьего монастыря рядом с могилой Еликонида Александровны, недалеко от Смоленского собора...

Екатерина Михайловна, конечно, прекрасная женщина, много пережившая (ее прежний муж был, как писал Алексей Николаевич в одном из писем Н. А. Некрасову, «в полном смысле мерзавец, она рада была, что хоть кто-нибудь высказал ей участие, и ушла от него»), и Плещеев глубоко уважал ее. Но не было той любви и того трепетного чувства, а потому и не приходило «исцеление» от тоски по Еликопиде Александровне.

И снова мраком я объят.
И только бледные лучи
В упоминания дрожат
Еще порой в моей ночи.

Их свет не греет, не живит;
Но жизнь без них еще мрачней;
Больное сердце дорожит
И призраком счастливых дней...

Брак с Екатериной Михайловной еще не был «узаконен», когда родилась дочка Люба^[43] — это произошло в то время, когда старшему из плещеевских детей Саше пошел десятый год, Леночке — седьмой, а Николеньке — пятый. Дети выросли, но порой Алексею Николаевичу казалось, что он так и не дождетя той поры, когда ребята определятся к самостоятельности, — унылое, беспросветно-сумеречное стояло время...

И все-таки в этой кажущейся безысходности нет-нет да и просвечивали лучи надежды. В письме А. М. Жемчужникову от 15 июля 1867 года Плещеев сообщает: «Я тоже в последнее время принялся за литературный труд. Долго ничего не писал, наконец прорвало...» И подробно рассказывает о литературной жизни, дает характеристики многим журналам, положительно отзываясь о «Вестнике Европы», «Деле» и «Женском вестнике». Про два последних говорит: «Здесь подвизается молодежь — и не скупится на резкие приговоры, от которых нашего брата, нужно сознаться, сильно коробит. «Дело», издающееся под цензурой, отличается еще некоторой умеренностью. Даже Писарев, подвизающийся в нем в качестве главного критика, стал как-то воздержаннее в последнее время. Не разделяя многих воззрений реальной школы, я, однако же, скажу, что «Дело» и «Женский вестник» журналы честные и серьезные...»

Но подлинной надеждой повеяло от письма Н. А. Некрасова,

полученного Плещеевым в начале декабря 1867 года. Николай Алексеевич писал, что он снова возвращается к редакторской деятельности и теперь будет редактировать журнал «Отечественные записки», который он вместе с М. Е. Салтыковым-Щедриным приобрел у Краевского, и приглашал Плещеева в число постоянных сотрудников журнала. Предложение было более чем приятное для Алексея Николаевича, который отвечал Некрасову в письме от 8 декабря:

«Многоуважаемый Николай Алексеевич! Сейчас получил Ваше письмо и сейчас же спешу ответить Вам. Разумеется, я весь к Вашим услугам. Кажется, Вы не могли сомневаться, что быть сотрудником журнала, редактируемого Вами, я считаю не только за особенное удовольствие, но и за честь. Все, что только напишется, пришлю Вам... Ведь, право, руки отнимались — работать никакой охоты не было, когда ни одного сколько-нибудь сносного журнала не было...»

А в письме поэту-переводчику Н. В. Гербелю Плещеев тоже сообщает: «Некрасов писал мне об «Отеч. зап.». Я душевно порадовался, что наконец будет порядочный журнал. Теперь работать охота явилась, а то просто руки опускались. «Вестник Европы» тоже, вероятно, будет хорош — но я думаю, что некрасовский журнал должен выглядеть живее и разнообразнее».

От редактора-издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича Плещеев тоже получил приглашение и также дал согласие выслать в журнал, если «напишется что-нибудь стоящее».

Два солидных журнала, предложившие свои страницы издерганному житейскими невзгодами Алексею Николаевичу, — разве это могло не воодушевить?.. Старый литературный «волк» Плещеев отлично чувствовал, что возрождение этих двух журналов являет в значительной степени не только оживление русской литературы как искусства слова, но знаменует и некоторое раскрепощение социально-общественной мысли.

Некрасов сообщил, что пригласил к сотрудничеству в «Отечественных записках» критика Писарева, что журналу обещали новые произведения Островский, Салтыков, Глеб Успенский, Слепцов.

«Хорошо бы заполучить Некрасову в сотрудники графа Льва Толстого, Тургенева, Достоевского, Гончарова, но те, памятуя старые обиды на «Современник», вряд ли согласятся: Толстой все свои новые произведения отдает в «Русский вестник», а Тургенев, Достоевский, Гончаров скорее предпочтут «Вестник Европы», нежели некрасовский журнал. Однако не исключается, что Некрасов сумеет поладить и с корифеями — Николай Алексеевич, безусловно, талантливейший редактор и положительно сделает журнал первым в России... И как все-таки приятно, что Николай

Алексеевич вспомнил и обо мне, «старике». Плещеев теперь уже убежденно зачислял себя в категорию литературных стариков, на что имел и некоторое моральное право: прошло более двадцати лет с той поры, когда он волею Валериана Майкова был окрещен «первым поэтом» России...

Воспоминания о Майкове растревожили душу, когда Алексей Николаевич, получив от Некрасова предложение прислать новые стихи для «Современника», пребывал в угнетенном состоянии. Новое, давно задуманное стихотворение вырисовывалось, увы, не очень жизнерадостным.

«Как ты ошибся, милый друг юности, как бы ты разочаровался нынче, Валериан, узнав, что провозглашенный тобою «первый поэт» влачит жалкое существование мелкого чиновника и неудачника-литератора... Правда, насчет неудачника, может быть, я и преувеличил — ведь вспомнил же меня Некрасов и вспомнил, надо полагать, не только из жалости... И все же не оправдал я твоих надежд, дорогой Валериан, признаюсь, как на духу: не оправдал». Алексей Николаевич приподнялся из-за стола и подошел к зеркалу. «Седею, как говорят, не по дням, а по часам, даже в бороде появилось много седины, а еще года два-три назад я не замечал ее... Но что это я...» Плещеев вернулся к столу, взял чистый лист бумаги, карандаш. Весомые ложились на страницу строки:

Тяжелая, мучительная дума
Гнетет меня. Везде она со мной...

«Опять что-то мрачное, саднящее сердце зовет меня к стихам. Однако и не выговориться не могу...

...И шепчет все неведомый мне голос:
«Жизнь прожита! Смотри: в твоих кудрях
Уж не один седой пробился волос,
В морщинах лоб, огонь потух в глазах.
Прошедшее окинь духовным взором
И совести правдивого суда
Не избегай! Пред строгим приговором,
Раскаянья исполнен и стыда,
Склонись во прах челом когда-то гордым,
Сознай, что жизнь напрасно тратил ты,
Что не служил добру оплотом твердым,

Но был рабом бессильным суеты...»

...Бесплодное и горькое сознание!
Зачем ко мне теперь лишь ты пришло,
Когда в кудрях седой пробился волос,
Когда для битв житейских нету сил?
Зачем мой дух укором этот голос
В былые дни от сна не пробудил?
Жизнь прожита... и скоро с ней проститься
Придет пора... но думать тяжело.
Что над тобой с любовью не склонится
Ничье в тот миг печальное чело...

Н-да! Совсем безысходно, право. Нет, теперь это посылать Некрасову никак нельзя. Пускай стихотворение отлежится^[44], тем более что надо исполнить в первую очередь другие поручения, о которых просил Николай Алексеевич, как-то: зайти к И. С. Аксакову и к драматургу Н. А. Чаеву, забрать у них статьи неугомонного Павла Ивановича Якушкина, высланного в административном порядке в имение матери на Орловщину, и поскорее переслать их Некрасову, чтобы тот успел поместить их в первую книжку «Отечественных записок», — вероятно, Николаи Алексеевич продолжает высоко ценить «странника» Якушкина, более двадцати лет совершающего одиночные «хождения в народ» для сбора произведений фольклора.

Кроме того, надо, наконец, сообщить и Некрасову, и Гербелю, что от перевода шекспировской комедии «Бесплодные условия любви» для сборника «Собрание сочинений Шекспира в переводе русских авторов» он, Плещеев, вынужден отказаться: сроки установлены жесткие, а времени совсем нет...»

А тут еще и непредвиденные хлопоты, связанные с приобретением дачи в Царицыне под Москвой. Врачи настоятельно рекомендовали детям Плещеева и в первую очередь слабой здоровьем Леночке выезжать летом за пределы Москвы, куда-нибудь в купальные места; Алексей Николаевич и выбрал поэтому Царпцыно, где много прудов, прекрасных парков еще со времен Екатерины II. Денег не было, поэтому пришлось долго искать компаньона. Компаньон нашелся, но денег все равно потребовалось много, и. Алексей Николаевич опять влез в долги. Только надежда на сотрудничество в «Отечественных записках» давала какие-то возможности

в скором времени избавиться от этих долгов...

Зато как прекрасно чувствовали себя дети в Царицыне! Лето оказалось теплым, солнечным, ребята много купались, часто Алексей Николаевич и Екатерина Михайловна, когда приезжали на дачу, вместе с детьми делали вылазки в рощи, коих вокруг Царицына было очень много. Во время таких прогулок забывались и творческие и житейские неудачи. Алексея Николаевича особенно радовало, что здесь, в Царицыне, и Саша, и Лена, и Николенька, и маленькая Любаша совершенно преображались. Резвые игры детишек навевали в сердце поэта приятные воспоминания о его собственном детстве на волжских берегах...

В один из июльских дней 1868 года в Царицыне Алексей Николаевич написал стихотворение «Облака», в котором как бы продолжал давний спор с представителями «чистого искусства», начатый еще много лет назад, — спор о предназначении творчества...

...И неслись облака надо мной,
Исчезая и тая вдали...
Они солнце ревниво собой
Заслоняли порой от земли.

Будто солнцу хотели сказать:
«Не дари ты ей теплых лучей!
Перестань, перестань согревать
Эту землю любовью своей!..

...Разве ласк она стоит твоих?
Разве, грешная, любит тебя?
Нам одним ты сияй! Нас одних,
Непорочных и чистых, любя!»

Однако солнце не вняло призыву «непорочных» облаков:

...Не хотело оно чистоты
Их холодной на землю менять
И горячим лучом с высоты
Стало грешную землю лобзать... [\[45\]](#)

Да, и на литературном небосклоне много «чистых» облаков, твердящих солнцу — высокому искусству, — что жизнь недостойна его ласк, что «темные несправедливые» дела на земле не заслуживают внимания.

Поэтому вдвойне отрадно, что Некрасову и Салтыкову удалось возродить в «Отечественных записках» традиции «Современника»: проблемы отношения искусства к действительности остро ставятся в статьях новых интересных критиков журнала Писарева, Михайловского, Скабичевского и получают весьма серьезное толкование, несмотря на некоторую упрощенность толкования ими специфики искусства. Алексей Николаевич возлагал на этих критиков немалые надежды, особенно на Писарева при всем неприятии его нигилистических крайностей, вылившихся в предубежденные и абсолютно несправедливые «нападки» на Пушкина. И вот приходит весть о нелепой гибели даровитого публициста во время купания под Ригой — почему это так преждевременно уходят из жизни многие блестящие русские таланты?..

Утраты, утраты... В Оренбурге неожиданно скончался С. Н. Федоров — один из близких друзей Плещеева в ссыльный период и первый литературный «крестник» поэта; в Москве недавно умер Иван Иванович Лажечников, с которым Алексей Николаевич особенно сблизился после памятного вечера в Артистическом кружке в честь участников славянского съезда. Могила Ивана Ивановича — на территории Новодевичьего монастыря, по другую сторону Смоленского собора от могилы Еликонида Александровны Плещеевой, но Алексей Николаевич всегда, когда навещал могилу жены, заходил поклониться и праху знаменитого исторического романиста.

А в ноябре 1869 года пришла совсем скорбная весть: в Полтаве умер Сергей Федорович Дуров, один из наиболее близких друзей молодости, умер, подкошенный четырехлетним пребыванием в Омском остроге. Двенадцать лет назад, узнав об освобождении Сергея Федоровича и отъезде его в Одессу (Дуров поехал туда на постоянное жительство к А. М. Пальму), Плещеев писал старому другу:

Уедешь ты на теплый юг!
И где лазурью блещет море —
Покинет тело твой недуг,
Покинет сердце злое горе.

Злое горе, возможно, и покинуло сердце, но вот недуг не покинул тело, не покинул...

«Мир праху твоему, благороднейший человек, дорогой сподвижник и брат...» Сколько уже раз произносил Алексей Николаевич такие слова,

получая известие о кончине соратников по кружку Петрашевского!

Материальные затруднения доводили порой до отчаяния, но подталкивали одновременно к изысканиям дополнительных заработков вроде перевода драмы немецкого поэта М. Бера «Струэнзе». Свой перевод Плещеев намеревался опубликовать в «Отечественных записках», писал о своей работе Некрасову и вел личные переговоры во время поездки в Петербург летом 1869 года об условиях публикации. Некрасов, первоначально изъявив намерение напечатать плещеевский перевод драмы М. Бера, потом отклонил публикацию «Струэнзе», видимо, не согласившись с некоторыми условиями переводчика (Плещеев настаивал, чтобы драма печаталась в одном номере, а объем «Струэнзе» — около 10 печатных листов). Алексею Николаевичу после неуступок Некрасова пришлось воспользоваться посредничеством В. П. Буренина — журналиста и литератора, с которым он в то время поддерживал приятельские отношения, и он передал перевод драмы М. Бера в «Вестник Европы» М. М. Стасюлевича, где драма была напечатана... в трех книжках 1870 года.

Несмотря на «странное», как казалось Плещееву, решение Некрасова не публиковать драму М. Бера, отношения между обоими поэтами продолжали оставаться дружескими, и в самые трудные периоды московской жизни конца 60-х — начала 70-х годов Алексей Николаевич неоднократно обращался с всевозможными просьбами к Некрасову, получая от последнего всегдашнюю поддержку.

В «Отечественные записки» высылает Плещеев, кроме «Облаков» и «Тяжелой мучительной думы...», ряд переведенных им стихотворении английского поэта А. Теннисона, которого очень высоко ценил, находил в его стихах, еще не переведившихся на русский язык, «бездну поэзии»; Алексея Николаевича привлекали и романтическая приподнятость стихов англичанина, и декларируемое Теннисоном сочувствие к «неотесанному народу».

В некрасовский журнал высылает Плещеев и стихотворение «Иль те дни еще далеки...», в котором снова выразил страстное желание увидеть народы земли, живущие в мире любви и братства.

Скоро ль сменится любовью
Эта ненависть племен
И не будет братской кровью
Меч народов обгажен?..

Стихи обретали энергию («Блаженны вы, кому дано...», «Весенней ночью», «Ожидание»), и чувствовалось, что вопреки невзгодам Алексей Николаевич не утратил гражданского темперамента и творческого вдохновения.

А потому все чаще и настойчивее поэта одолевают желания забросить постылую чиновничью службу и снова полностью отдаться литературной работе. С возобновлением сотрудничества в «Отечественных записках» такие желания еще более усилились. Теперь Плещеев пробует свои силы и в прозе, написав несколько рассказов о жизни хорошо знакомых ему соседей-дачников — ежегодные выезды с детьми летом на дачу давали интересный материал.

Ах, эти смешные и грустные истории, «страстные» приключения, заполнявшие жизнь дачников, — сколько о них писали: и с иронией, и с сочувствием, и нередко ядовито. Можно ли рассказать читателю об этих банальных историях что-нибудь новое? Оказывается, можно — вон какую великолепную картину нравов петербургских любителей «острых» ощущений нарисовал Стебницкий-Лесков в очерке «Воительница», опубликованном в апрельском номере «Отечественных записок» за 1866 год!

И хотя «амурятся» у Лескова в столице, а не на дачах, поведение героев очерка поразительно точно напоминало то, что Алексею Николаевичу приходилось наблюдать воочию в «дачный сезон».

Но свои беллетристические сочинения из цикла «дачных романов» (так он назвал рассказы «Жилец», «Чужие письма», «Барышня») Алексей Николаевич расценивал, видимо, не очень высоко и не придавал им большого значения: он опубликовал их только через десять лет, включив в сборник «Житейское», изданный в 1880 году.

Зато на переводческую деятельность Алексей Николаевич возлагал серьезные надежды. Поэтому он с горячей заинтересованностью отнесся к сообщению М. Е. Салтыкова (Михаил Евграфович в июне 1870 года был в Москве и навещал Плещеева) о том, что вернувшаяся недавно в Петербург из-за границы М. А. Маркович (Марко Вовчок) намеревается издавать журнал переводов лучших иностранных писателей.

Алексей Николаевич еще в 1859 году познакомился (через Т. Г. Шевченко) с известной писательницей, автором популярных рассказов и очерков из народного быта. Теперь он сообщает Марии Александровне, что хотел бы перевести для журнала «какое-нибудь иностранное беллетристическое произведение», и называет сочинения П. Мертиля, роман Стендаля «Красное и черное» — благо интерес к Франции снова

необыкновенно возрос: в Париже в начале 1871 года происходит революционное восстание, создается Союз Коммуны, и на некоторое время коммунары захватывают власть — событие это даже в превратном истолковании газет будоражило воображение поэта...

Вскоре в Москве происходит и личная встреча Плещеева с писательницей, но его сотрудничество в журнале, редактируемом М. А. Маркович, так и не состоялось, так как вышло всего только пять номеров журнала (существование его прекратилось в связи с банкротством издателя С. В. Звонарева), однако благодаря «заказам» Марии Александровны Алексей Николаевич решил взяться за перевод крупных прозаических произведений и первым познакомил русского читателя с романом Стендаля «Красное и черное»), правда, теперь уже для «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича.

Московская контора Императорских театров ежегодно приглашала Алексея Николаевича в качестве почетного члена конференции на экзаменах в Театральном училище. Плещеев пользовался большим авторитетом и уважением в Московской театральной среде, был дружен со многими видными актерами и никогда не упускал возможности расширить круг знакомства с театральной студенческой молодежью, ибо продолжал возлагать на юнее племя самые большие надежды, связанные с будущим русского искусства. Поэтому на экзаменационные конференции в Театральное училище приходил аккуратно, специально даже отпрашивался со службы.

Под впечатлениями тесного общения со студенчеством и родилось стихотворение «Госты», которое поэт впервые прочитал тоже на одной из встреч со студентами в Артистическом кружке.

В письме к Марко Вовчок от 15 января 1871 года Плещеев рассказывает об этой встрече:

«...На днях был я на студенческом обеде (12 января), но не на генеральном, а на том, где молодежь. Написались у меня на этот случай стихи, которые молодежь приняла с горячим сочувствием, и это сочувствие на несколько часов заставило меня самого помолодеть... Так хорошо прошел вообще этот день — и так я любил тогда то, что мне подумалось: а ведь будь я поставлен в менее тяжкие условия жизни, я бы еще, может быть, годился на что-нибудь путное и кому-нибудь мог быть полезен...»

Энтузиазм и сочувствие, с которыми молодежь восприняла плещеевское «Госты», можно понять: стихотворение действительно дышит энергией и задором, свойственными лучшим стихам автора «Вперед» в

перу его наибольшего творческого подъема.

Первый тост наш — за науку!
И за юношей — второй.
Пусть горит им светоч знанья
Путеводною звездой.

Пусть отчизна дорогая
И великий наш народ
В них борцов неколебимых
За добро и свет найдет.

Третий тост наш — в честь искусства!
Воздадим хвалу тому,
Кто обрек себя всецело
На служение ему.

...И до гроба сохранивши
В сердце преданность добру,
Произнести могли с поэтом:
«Знаю: весь я не умру».

Пожелаем, чтоб являлось
На Руси побольше их,
Чистых, доблестных, живущих
Лишь для подвигов благих.

Пожелаем, чтоб не меркло
Над родимой стороной
Солнце разума и знанья,
Солнце истины святой...

Но такие радостные случаи, которые «заставляли... помолодеть», выпадали весьма редко, а вот груз домашних забот, вечная материальная нужда сопровождали постоянно, и это очень удручало. Особенно же удручала служба в контрольной комиссии — утомительная, нудная, настолько нудная, что Плещеев в 1870 году предпринял даже попытку подыскать другую, более спокойную и «доходную», просил М. А.

Маркович, чтобы та походатайствовала перед одним крупным чиновником — управляющим 'Московским воспитательным домом — о переходе Алексея Николаевича на службу в это заведение, но в конечном итоге и эта попытка оказалась безуспешной.

К отрадным мгновениям жизни относил Алексей Николаевич и те дни, когда его навещали петербургские друзья: Некрасов, Салтыков, братья Курочкины. Николай Алексеевич, выезжая в свое ярославское имение Карабиху (часто с женой Зинаидой Николаевной), непременно заглядывал к Плещееву, а потом обязательно приглашал Алексея Николаевича и его старшего сына обедать в русский трактир Гурина. После обеда всей группой обычно садились в экипаж и ездили в живописное Кунцево, гуляли по кунцевским паркам — в эти часы забывались все житейские невзгоды, красота вольной природы уносила мечты в тот чарующий мир, в котором даже и тот, «кто поник в борьбе с нуждой, на мгновенье отдыхает».

Всегда навещал Плещеева и Михаил Евграфович Салтыков, когда приезжал в свое подмосковное имение Витенево, а летом 1871 года Алексей Николаевич и его старший сын Саша поехали к Салтыкову в гости и прожили в Витеневе несколько дней. В письме к Некрасову Плещеев назвал эти дни, проведенные в салтыковской усадьбе, «очень хорошими». Саша в полное удовольствие целыми днями бродил по саду, купался, а сам Алексей Николаевич с не меньшим наслаждением проводил время в огромной библиотеке хозяина усадьбы, который в эти дни тоже много работал.

Как раз к этому времени Алексей Николаевич стал «пробивать» вопрос о возможности переезда на постоянное жительство в Петербург, дабы всецело отдать себя литературной деятельности: Некрасов и Салтыков предлагали ему должность ответственного секретаря «Отечественных записок» на место тяжело заболевшего Слепцова.

А обстоятельства, кажется, благоприятствовали тому, чтобы выхлопотать местожительство в Питере: в Москву приехал давнишний покровитель Алексея Николаевича Михаил Николаевич Островский, назначенный на вновь учрежденный пост товарища государственного контролера, и Плещеев, как он сообщил в письме Некрасову, «закинул ему (Островскому. — *Н. К.*) удочку относительно перевода в Петербург». Правда, в этом же письме Некрасову Алексей Николаевич иронизирует: «Видел я его (М. Н. Островского. — *Н. К.*) раз, но не у него на квартире, и не мог сказать лично, а потому написал. Беспokoить его своим посещением не хотел. Я начинаю чувствовать перед ним трепет и уважение, как П. П. Чичиков перед Бетрищевым. У него какая-то новая нотка стала звучать в

голосе... должно быть, товарищеская...»

Однако, несмотря на иронию, Алексей Николаевич снова очень надеялся на содействие М. Н. Островского, к тому же Плещеев теперь считался не таким «подозрительным», как десять лет назад, — «в награду отлично-усердной службы пожалован Кавалером ордена св. Станислава 2-й ст.», и — благо — с него вроде бы собирались снять негласный полицейский надзор.

В Петербург необходимо было перебираться непременно, в Москве вовсе стало тошно жить, тошно, потому что не осталось никаких надежд на литературную работу: вслед за неудачной попыткой издавать «Театральный листок» Плещееву отказывают в разрешении редактировать газету «Антракт», в которой он сотрудничал «из нужды», но намеревался, если бы редактирование было разрешено, придать этой безликой газетенке «серьезное направление»...

Мало осталось в Москве и настоящих друзей: Алексей Михайлович Жемчужников вот уже несколько лет живет за границей, шлет хорошие, теплые письма, но письма бессильны заменить живое слово собеседника. Пишет регулярно и старый сотоварищ по Оренбургу и первым годам московской жизни И. В. Павлов, пишет полные оптимизма и остроумия письма-рассказы, сообщает, что назначен управляющим Витебской контрольной палатой, и, видимо, вполне доволен своей чиновничьей карьерой, отчего Алексею Николаевичу становится чуть грустно. Он помнил Павлова не только энергичным чиновником в Оренбурге, но и не менее энергичным и умным редактором «Московского вестника»... И наиболее «оседлые» москвичи, с которыми Плещеев оставался в дружеских отношениях (И. С. Аксаков, А. Н. Островский), тоже не очень-то одаривали встречами... по «вине» самого же Алексея Николаевича, почти не имевшего свободного времени из-за служебной занятости...

В 70-м году, правда, Алексей Николаевич возлагал некоторые надежды на вновь затеваемый журнал «Беседа», редактором которого должен был стать Сергей Андреевич Юрьев — журналист, переводчик, «очень хороший, вполне честный человек», как характеризует его Плещеев в письмах к А. С. Суворину и М. А. Маркович. С. А. Юрьев предлагал Алексею Николаевичу взять на себя редактирование отдела беллетристики, и поэт сначала даже согласился войти в состав редакции, однако какие-то причины помешали ему стать штатным сотрудником «Беседы» — этого органа с «хорошим началом»: в издании участвовали представители самых разнообразных течений, хотя первоначально журнал и замышлялся как продолжение славянофильской «Русской беседы» — недаром он издавался

на средства А. И. Кошелева — одного из видных деятелей славянофильства, с которым Плещеев поддерживал добрые отношения.

В первые годы издания «Беседы» Плещеев опубликовал там несколько оригинальных и переводных стихов («Жалобы бедняков» из Роберта Соути, «Блаженны вы, кому дано...»), в которых развивал свои «просветительские» идеи перед молодым поколением, в частности перед юношами и девушками, готовящимися к педагогической карьере, призывая их «посеять в юные сердца любви и истины зерно». Но и с этим журналом сотрудничество не получилось длительным по причине, видимо, все того же «хорового начала» (то есть эклектичности позиции), которого придерживался журнал и которое претило такому литератору, как Плещеев, ревностно придерживающемуся «твердого направления».

И еще с одним московским журналом — «Детское чтение» — отношения никак не могли принять такую форму, какую хотел бы Алексей Николаевич, снова почувствовавший в себе неудержимое желание писать для маленьких читателей, про которых он позднее, в Петербурге, скажет в одной из бесед с писателем А. В. Кругловым: «Ведь эти маленькие читатели — будущие строители жизни русской. Научите их любить добро, Родину, помнить свой долг перед народом... Служба детского писателя — большая служба».

Сам Алексей Николаевич, воспитывающий четырех детей, стремился в меру сил привить им все радости «будущих строителей жизни русской», но отнюдь не ограничивался этим. Чувствуя в себе призвание и способности разговаривать с маленькими читателями на поэтическом языке, Плещеев отдавал много сил и вдохновенного труда, чтобы развить в душах подростков чувство прекрасного, чувство справедливости, развить, конечно же... с помощью стихов, доступных для обостренного детского восприятия.

Вот и в 70-м году, когда, как сообщал Алексей Николаевич М. А. Маркович, он «гибель стихов написал», большая часть из них была адресована детям. Семь стихотворений Плещеев отослал в «Детское чтение», но там опубликовали только «Ожидание», а все остальные забраковали, не соизволив даже объяснить причину тому.

А ведь Алексей Николаевич чувствовал, что как раз стихи, адресованные детям, получились у него полнокровными, особенно такие, как «Зимний вечер», «Из жизни», «Весна», «В бурю». Недавно он прочитал некоторые из них заглянувшему к Плещеевым Алексею Феофилактовичу Писемскому. Алексей Феофилактович был навеселе, баловался с маленькими Плещеевыми, но со старшим Сашей, которому уже шел

тринадцатый год, держался как с равным, подробно расспрашивал мальчика о его «студенчестве» (хотя отлично знал, что Саша всего лишь гимназист), потешно играя белками глаз, которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из глазниц.

Угостив Писемского наливкой собственного изготовления — в дачную пору Алексей Николаевич всегда с удовольствием делал вылазки за ягодами, из которых наловчился готовить отличные наливки, — Плещеев позвал его в свой кабинет и прочитал ему «Зимний вечер» и «Весну». Последнее вызвало у Писемского неожиданный восторг, и он, попросив чистый лист бумаги, переписал «на память» все стихотворение, а потом еще долго повторял, видимо, особенно поправившиеся ему строфы:

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!

Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.

«Миновала, миновала пора метелей злых и бурь», — бормотал Алексей Феофилактович в прихожей, куда его вышли провожать и маленькие Плещеевы. И вдруг, резко прижав к себе Сашу, Писемский снова достал из кармана листок с переписанным стихотворением «Весна» и громко продекламировал:

Но резвых деток звонкий смех
И беззаботных птичек пенье
Мне говорят — кто больше всех
Природы любит обновенье!

Саша счастливо засмеялся, а Алексей Феофилактович, опираясь на свою палку-посох, внушительно изрек:

— Твой отец, Саша, прочитал мне сейчас стихи, за которые ему надо ставить памятник. Это лучшие стихи для детей, которые когда-либо

сочинялись русскими поэтами. Запомни это, Александр!

Алексей Николаевич на этот панегирик в свой адрес прореагировал шутливо, ибо знал за своим тезкой давнюю слабость восторгаться, когда тот пребывал в благодушно-веселом состоянии, но и сам чувствовал, что понравившиеся Писемскому стихи действительно удались...

А вот редакция «Детского чтения» их печатать отчего-то не хотела, и Алексей Николаевич решил отослать эти стихи в петербургский журнал «Семья и школа».

Да, надобно непременно переезжать в Питер. Там все же большая возможность для литературной работы, там Некрасов и Салтыков помогут в трудную минуту: и тот и другой недвусмысленно ведь дали понять, что с переездом в Петербург он, Плещеев, будет введен в состав основной редакции «Отечественных записок» на оплачиваемую должность секретаря редакции, так как Слепцов, говорят, совсем расхворался и фактически не может бывать постоянно в редакции... Пз «Семьи и школы» тоже приглашают к постоянному сотрудничеству, обещают опубликовать в ближайших номерах отосланные им стихи, среди которых «Зимний вечер» и «Весна» — это превосходно... [\[46\]](#)

В Питер, в Питер... и М. Н. Островский опять же обещал посодействовать решению вопроса о переводе, обещая причислить к государственному контролю с сохранением службы в ревизионной комиссии.

Конечно, детям будет трудно привыкнуть к сырому климату северной столицы, возникнут сложности и с Екатериной Михайловной — придется «объясняться» с теми же Некрасовым и Салтыковым, которые ведь до сих пор не знают о «незаконной» женитьбе многодетного вдовца Алексея Плещеева...

СЕКРЕТАРЬ «ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЗАПИСОК»

*И отчего так сильно сердце бьется,
Как билось в дни весны моей оно...*

Алексей Плещеев

Расстался я с обманчивыми снами...

Накануне нового 1872 года Алексей Николаевич вместе со всем семейством был уже в северной столице. Поселились Плещеевы в доме Фишера на Надеждинской улице, сняв несколько небольших комнат. Самую маленькую из комнат Алексей Николаевич, как всегда, взял себе и устроил в ней нечто вроде рабочего кабинета с письменным столом, книжным шкафом; здесь же был и поставлен диван для гостей и несколько стульев — вот и все убранство.

Переезд, обустройство квартиры, хлопоты по определению Саши в 17-ю гимназию — все это на первых порах отнимало массу времени. Но самое неприятное — продолжающееся безденежье. Произошли неурядицы с переводом по службе: в Петербурге Алексей Николаевич был причислен к контролю, но без сохранения за ним ревизорского места, поэтому годовое жалованье его оказалась на 200 рублей меньше того, какое получал в Москве. В мае 1872 года Плещеев пишет Некрасову в Карабиху: «Настоящее мое положение, Николай Алексеевич, просто невыносимо. Будь оно хоть сколько-нибудь сносно, я бы никому не докучал, никого не тревожит. У меня нет каких-либо барских замашек, нет стремления к роскоши. Я бы только желал не нуждаться в необходимом, а позволять себе того, что мне не по средствам, я счел бы не только недобросовестным, а просто подлым при моем положении — 100 р. я получаю в контроле и 75 р. от Вас^[47]. Это мой постоянный доход. Литературой я здесь еще пока заработал немного. Я плачу за квартиру без дров 40 р., плачу за уроки детям 25 р., на стол выходит ежедневно от 2 до 3 р. Судите сами — что мне остается, Детей надо одеть, надо самому одеться... Часто бывает, что не спишь ночь и ломаешь голову, как бы завтра быть сытым! Настанет утро, и

идешь искать где-нибудь три рубля. Случается, что не только на извозчика нет, но нечем заплатить за письмо, когда принесут его...»

Расходы нависали неотвязно. Единственно, на чем еще мог «сэкономить» Алексей Николаевич, — это отсрочить плату за уроки детям, так как учителем их был чудесный человек, влюбленный в Плещеева, — Дмитрий Петрович Сильчевский (будущий известный библиофил и журналист, участник революционного движения), который мог, конечно, и подождать с расчетом. Сильчевский-то мог подождать, но Алексею Николаевичу было от этого еще конфузливее и горше... О трудностях своих, возникших в первые месяцы жизни в Петербурге, Плещеев пишет и другим своим друзьям — Е. И. Барановскому, А. М. Жемчужникову, хотя и с менее отчаянными жалобами, чем Некрасову, что вполне объяснимо: Алексей Николаевич все же не терял надежды выправить положение...

Николай Алексеевич Некрасов всячески поддерживал своего бедствующего друга: на первых порах он почти избавил Плещеева от серьезной работы в редакции, хотя и выплачивал ему ежемесячное жалованье; кроме того, Некрасов неоднократно оказывал денежную помощь Плещееву и другим путем, и постепенно Алексей Николаевич воспрянул духом, особенно после того, как свозил ослабшую, переболевшую тифом Леночку к морю, где она на чистом воздухе заметно поправилась, — без «субсидий» Некрасова такая поездка была бы попросту невозможной.

Но дружеская поддержка Николая Алексеевича отнюдь не ограничивалась деньгами. В редакцию «Отечественных записок» Плещеев хотя и был введен вполне официально, однако все ведущие сотрудники — от Салтыкова и Елисеева до Михайловского и Скабичевского — отлично понимали, что Некрасов мог вполне обойтись и без секретаря редакции и что здесь в первую очередь Некрасов руководствуется мотивами, несколько отвлеченными от насущных литературных забот журнала. Плещеев тоже прекрасно понимал, что его секретарские обязанности носят скорее символический, нежели практический характер, поэтому и не претендовал на руководящую роль в журнале.

Однако литературный авторитет Алексея Николаевича был достаточно высок, а его близость к Некрасову и Салтыкову — общеизвестна, и он нередко воспринимался как молодыми авторами, так и подписчиками журнала в числе тех, кто определял направление «Отечественных записок». Со временем Плещеев и действительно займет свое место в числе виднейших сотрудников журнала, но в первый год секретарства Алексею Николаевичу чаще приходилось извиняться перед Некрасовым за

бездействие, сетовать на невозможность отплатить журналу настоящей работой, потому что в этот год «жизнь сквозь строй гоняла» нового секретаря «Отечественных записок». Алексей Николаевич не в состоянии порой был даже заглянуть в дом на углу Литейной и Бассейной (дом, где жил Некрасов и помещалась редакция «Отечественных записок») в каждый понедельник, как было обусловлено секретарскими обязанностями... Ох, как неловко пребывать в нахлебниках журнала! Надо поскорее бы изменить такое положение, Салтыков, передают, начинает сердиться...

Постепенно жизнь стала все же налаживаться. Жену Екатерину Михайловну Данилову удалось пристроить помощником секретаря в журнале «Семья и школа», себе Алексей Николаевич взял дополнительную работу в Таможенном департаменте — все это в значительной мере способствовало пополнению скудного семейного бюджета. Леночка выздоровела, Саша поступил в гимназию — отцовскому сердцу отрада. И на службе Алексей Николаевич был «отмечен» — 20 июля 1872 года произведен в титулярные советники, хотя к такому «повышению» сорокасемилетний Алексей Николаевич отнесся совершенно безразлично. Наконец, кажется, с него снят тайный надзор — даже дышать стало вольготнее при этом известии... И литературная работа начала постепенно налаживаться, и в дела журнала Алексей Николаевич теперь уже вникает не как «временный приживальщик», а как полноправный член редколлегии: принимает деятельное участие в издании поэтического сборника для детей «На праздник», способствует публикации на страницах «Отечественных записок» поэмы Я. Полонского «Мими», переводит роман Э. Золя «Брюхо Парижа» и часть извлечений из этого романа (ныне более известного под названием «Чрево Парижа») публикует в летних номерах «Отечественных записок» за 1873 год.

Хорошие отношения устанавливает Алексей Николаевич с молодыми постоянными сотрудниками журнала: Н. К. Михайловским, А. М. Скабичевским, а с другими членами редакции — Салтыковым и Елисеевым — Алексей Николаевич поддерживал товарищеские отношения уже много лет. С Григорием Захаровичем Елисеевым не было особой дружбы, но оба относились друг к другу с большим уважением, несмотря на некоторую обоюдную «недооценку»: Плещеев не признавал за Елисеевым серьезного критического таланта, а Елисеев, в свою очередь, иронизировал над беллетристическими сочинениями поэта, да и к стихам последнего тоже относился чуть высокомерно. Однако оба неплохо ладили как сотрудники-единомышленники — сказывалась, видимо, «закваска», полученная обоими во времена сотрудничества в «Современнике» при Добролюбове и

Чернышевском.

Не было полной близости у Плещеева и в отношениях с М. Е. Салтыковым-Щедриным, хотя добрые отношения между ними длились уже более двух десятков лет. В одном из писем А. М. Жемчужникову Алексей Николаевич дает такую характеристику Салтыкову: «...как талант, как сила — это человек незаменимый и заслуживающий всякого уважения, но любить его как человека трудно. Не раз пытался я с ним сблизиться, но пришел к убеждению, что это положительно невозможно. Это человек, смотрящий на все и вся сверху вниз; с ним чувствуешь себя тяжело, неловко. Деликатностью в отношениях он тоже не отличается. Я с ним постоянно был в хороших отношениях, но никогда в коротких, хотя знаю его двадцать лет, если не больше...» Но Салтыкова Плещеев очень уважал за «огромный талант», несоизмеримый с дарованиями остальных сотрудников журнала, за исключением разве только Некрасова, к которому Алексей Николаевич относился с большой любовью, потому что видел в нем всегдашнее горенье сердца, «без которого ум ничего не сделает путного и не оставит в людях следа».

Ко времени прихода Плещеева в «Отечественные записки» из постоянных сотрудников журнала выбыл Николай Степанович Курочкин, с которым Плещеев был знаком еще по кружку Петрашевского. Не поладив то ли с Салтыковым, то ли с самим Некрасовым, Курочкин, заведовавший почти четыре года отделом библиографии журнала, неожиданно прекращает свою редакторскую деятельность как раз в первый год секретарства Плещеева. «Увольнение» Курочкина Алексей Николаевич считал недоразумением, так как высоко ценил редакторские способности Николая Степановича.

Из других сотрудников журнала и постоянных авторов его Плещеев в первые годы подружился с Глебом Ивановичем Успенским, на талант которого возлагал большие надежды.

Несмотря на некоторые огорчения в первый год петербургской жизни, возникающие чаще всего из-за материальной нужды, и мелкие неприятности на ревизорской службе, которую, увы, приходилось еще пока тянуть, Плещеев не раскаивался, что покинул Москву. В «Отечественных записках» он, конечно же, найдет надежную опору — в этом сомнений не было, так как Некрасов обещает всяческую поддержку. И товарищей-единомышленников в Питере, пожалуй, побольше, чем осталось в Москве.

Очень рад Плещеев встречам со старыми товарищами. Недавно навестил Федора Михайловича Достоевского, познакомился с его женой

Анной Григорьевной — какая славная женщина! И как любит Федора, как верит в него! С самим Федором Михайловичем потолковать много не пришлось, но договорились встретиться в скором времени и... отвести душу. С Достоевским они непременно «побратаются», видно, что Федор искренне рад был встрече со старым другом. А вот некоторые другие московские приятели Плещеева, тоже переселившиеся в Питер, например, В. П. Буренин и А. С. Суворин, почему-то стали отчуждаться. Или это только кажется Алексею Николаевичу?.. Суворин по-прежнему ведь говорит о своей любви и признательности — когда-то он в плещеевском пальто и с рекомендательными письмами от Плещеева к В. Ф. Коршу и другим петербургским литераторам приехал из Москвы «завоевывать» северную столицу, — по почему-то не очень ему веришь. А вот Буренин уже не толкует о признательности — видимо, забыл все доброе, что для него делал Алексей Николаевич в Москве, когда Виктор Петрович приносил свои слабенькие стихи и слезно просил «пристроить» их... Алексей Николаевич пристраивал их в московских изданиях, рекомендовал даже Некрасову в «Современник». Некрасов, кажется, даже опубликовал несколько буренинских стихотворений... и получил недавно в ответ «благодарность»: в «Петербургских ведомостях» Буренин опубликовал фельетон, в котором вылил ушат грязи на «Отечественные записки»...

Однако бог с ним, с Бурениным, с этим беспринципным борзописцем... Зато другие старые приятели — и Достоевский, и Некрасов, и М. А. Балакирев, и И. Ф. Горбунов и многие другие — остались верными дружбе, и это радовало.

В первый год своей литературной жизни в Питере Алексей Николаевич много переводит: стихи Гейне, Прутца, Гамерлинга, прозу Э. Золя, пишет и оригинальные стихи, но мало. Задумывает написать монографию о Прудоне, вернее начинает работать над ней, ибо она задумана была давно, да все как-то руки не доходили приняться за нее.

А в следующем 1873 году Плещеев деятельно включается в работу редакции «Отечественных записок». Более того: почти все члены редакции в этом году разъехались (Некрасов — в Чудово, а потом за границу, Салтыков — в свое подмосковное имение Елисеев — за границу), и почти вся тяжесть работы по редактуре легла на плечи Скабичевского и Алексея Николаевича. «Теперь только я и Скабичевский орудуем здесь», — сообщает поэт А. М. Жемчужникову. Трудновато приходилось, но и удовлетворение было немалое — воплощалось давнее желание по живому литературному делу...

Теперь как Плещеев, так и Скабичевский приходят в редакцию не

только по понедельникам, как прежде, а почти каждый день — работы накапливалось много: ответы корреспондентам, чтение рукописей, корректуры, приходилось вникать и в чисто организационные вопросы издания, которые вообще-то целиком велись исключительно Некрасовым и Салтыковым как главными редакторами журнала: вести переговоры с цензурой, с Главным управлением по делам печати. Поэтому Алексей Николаевич вынужден был нередко отпрашиваться со службы в контроле, тратить на журнальные дела даже редкие дни отдыха. «Я живу на даче в Стрельне... лишен всякой возможности наслаждаться даже скудной природой, какая есть под рукой, потому что сижу за срочной журнальной работой буквально с утра до поздней ночи...» — сетует Плещеев в одном из писем А. М. Жемчужникову.

И все-таки работа не казалась изнурительной и бесполезней — журнал всегда выходил к читателям в срок и с неплохими материалами; тут, конечно, немалая заслуга принадлежала и А. М. Скабичевскому, взявшему на себя основную нагрузку по редактированию, несмотря на переживаемые им серьезные неприятности: по указаниям цензуры недавно была конфискована и уничтожена книга Александра Михайловича «Очерки развития русской мысли». И вообще в это время Плещеев и Скабичевский по-настоящему сблизились. Алексей Николаевич ценил большую работоспособность Скабичевского, его проницательность и эрудицию.

Как раз в этот период Плещеев закончил большой очерк о Прудоне и опубликовал его в одиннадцатой книжке «Отечественных записок» за 1873 год. Сочинение Алексея Николаевича удостоилось похвального отзыва такого строгого читателя, как Иван Гончаров.

Автор «Обломова», встретив Плещеева на Невском, к удивлению Алексея Николаевича, первый неожиданно заговорил о нужности и полезности плещеевского труда, отметив безыскусность, живость слога, точность и объективность изложения перипетий французского философа и экономиста.

— И самое замечательное, Алексей Николаевич, в вашем сочинении то, что Прудона видишь очень живым человеком, всегда осторожным и в то же время непреклонным в своих реформаторских устремлениях. — Иван Александрович задумчиво поглядывал на прохожих, словно бы выискивая среди них поклонников и приверженцев идей Прудона. Но Плещеев знал, что Гончаров столь внимательно разглядывал публику только «для себя», знал, что правый глаз Ивана Александровича совсем «вышел из строя», поэтому напряженность гончаровского взгляда и производила впечатление задумчивости.

«И все же этот шестидесятилетний старик держится молодцом». Плещеев окинул взглядом тучноватую и коренастую фигуру Гончарова, и ему живо представилась печальная встреча с автором «Обломова» более четверти века назад тоже на Невском, вскоре после трагичной кончины Валериана Майкова.

— А знаете, Иван Александрович, когда я корпел над «Жизнью и перепиской Прудона», то часто обращался мысленно к образу незабвенного Валериана Майкова — вашего ученика и одного из лучших друзей моей юности. Мне почему-то казалось, что по психологическому складу Валериан и Прудон в чем-то близки — меня это даже поразило, когда я изучал переписку Прудона с родственниками.

— Я не настолько хорошо знаком с эпистолярным наследием Прудона, чтобы делать какие-то обобщения, но никак не могу согласиться с вами относительно «родства» Валериана Майкова и Прудона. — Гончаров резко вскинул крупную голову, улыбнулся и добавил: — Валериан был прежде всего литературный критик и критик высшего разряда, он жил в мире искусства, а Прудон все-таки публицист-резонер, хотя и превосходный экономист-реформатор.

— Да и Майков был превосходным экономистом, но я, Иван Александрович, имел в виду совсем другое, когда сказал о некотором психологическом родстве Валериана и Прудона: я имел в виду напор страсти, одержимости в отстаивании принципов. — Плещеева озадачило, что Гончаров вроде бы отделяет Валериана Майкова — общественного идеолога от Майкова — литературного критика^[48].

Увлеченные, возбужденные, Гончаров и Плещеев еще долго продолжали беседу, прогуливаясь по Невскому, и это, пожалуй, была самая продолжительная их встреча с глазу на глаз за четвертьвековое знакомство. Иван Александрович, между прочим, заметил, возвращаясь к плещевской работе о Прудоне, что она является, по существу, чуть ли не первым добротным жизнеописанием выдающегося человека, написанным русским литератором, и посетовал на то, что заветы Пушкина, начинания Владимира Даля, Владимира Одоевского по написанию биографий лучших людей России все еще не получили должного резонанса в писательской среде.

— Вот и вы, Алексей Николаевич, взялись за Прудона, а ведь и в нашем Отечестве есть немало славных мужей, достойных, чтобы об их деяниях писались книги. Только, ради бога, не сердитесь на старика и правильно поймите мое ворчание. А биографию Прудона, еще раз скажу, вы написали дельную и нужную. — Гончаров говорил это, ласково

улыбаясь, и Плещеев понимал, что Иван Александрович хвалит его сочинение не ради любезности...

Дома, в своем рабочем кабинете, Алексей Николаевич неоднократно возвращался мыслью к гончаровскому замечанию о невыполнении русскими литераторами заветов Пушкина.

«А ведь старик очень и очень прав. В неоплатном мы пока долгу перед своими великими соотечественниками. Например, тот же Грибоедов, о бессмертной комедии которого Иван Александрович опубликовал недавно в «Вестнике Европы» превосходную статью, разве его жизнь и деяния не достойный пример для потомков?.. А сколько еще замечательных подвижников русской земли, о которых мы имеем самые скудные и весьма поверхностные представления...» Плещеев надолго задумался, вспоминая со всеми подробностями душевный разговор с Гончаровым.

Тепло отозвался о плещеевской работе, посвященной Прудону, и Некрасов, вернувшийся из заграничной поездки. Николаю Алексеичу пришлось по душе и несколько стихов Плещеева, опубликованных в «Отечественных записках» в отсутствие главного редактора, особо удостоившего похвалы «Стариков» и «Теплый день осенний».

В «Стариках» Николаю Алексеичу, наверное, больше всего приглянулась мысль о бесполезности дороги, пройденной поколением «людей 40-х годов», иначе как еще расценить оброненную Некрасовым фразу: «А я и вправду почувствовал себя не совсем никудашным стариком, когда прочитал у вас, Алексей Николаевич, о том, что нынешняя молодежь и нас помянет добрым словом?» Ведь именно в «Стариках» есть строки о юности:

Знаем мы оба: как время настанет
Нам от житейских трудов отдохнуть,
Лихом она стариков не помянет.
Скажет: они пролагали нам путь.

Стихотворение это Алексей Николаевич написал еще в Москве, под впечатлением довольно скоротечной встречи с Николаем Александровичем Спешневым, старым соратником по кружку Петрашевского. Чем-то нынче занимается Николай Александрович в своей Псковской губернии? Давненько что-то не было от него весточки.

А юность настойчиво торит себе дорогу, приближая обязательное торжество добра и справедливости в жизни.

Ведь это только абсолютно равнодушным к жизни общества, безразличным к социально-политическим веяниям людям может показаться, что на Руси Великой наконец-то утихомирили Всех «нигилистов и смутьянов», как изволил выразиться один из сослуживцев Алексея Николаевича Контрольной ревизионной комиссии. Нет, свободолюбивую мысль в России не заглушить, как никакими репрессивными мерами не сохранить «уважение» деспотическому режиму, к чиновничье-бюрократической тирании. И хотя русское революционное движение потеряло своих лучших бойцов (Чернышевский — в заточении, Герцен умер), оно не сложило оружия, не все «нигилисты сбежали за границу», как заметил тот же служащий контроля. Плохо только, что деятельность некоторых из нынешних борцов с деспотизмом сама пропитана ультрадеспотическими приемчиками, как хотя бы у Сергея Нечаева, руководителя террористической группы, подготавливающего политический переворот в стране и жестоко расправившегося с одним из несогласных членов возглавляемой им группы — нечаевское «Дело» получило огласку еще в бытность Плещеева в Москве и сильно тогда расстроило его. Однако надо думать, что Н — чаев и ему подобные никогда не заслонят подлинных поборников переустройства российской действительности.

Алексей Николаевич видит, что и новое молодое поколение мыслящих людей России продолжает борьбу «с гнетущей силой зла». Те же коллеги его по «Отечественным запискам» — Николай Константинович Михайловский, Глеб Иванович Успенский, — разве они не стремятся в меру сил и способностей разрушить мрачную стену «горя людского» на родной земле? Конечно, в них нет той энергии и жажды немедленного преобразования общества, как у Чернышевского и Добролюбова, или какая была в молодости у Спешнева; не хватает им и широты идеалов того же Николая Гавриловича, да и по таланту они, пожалуй, значительно уступают даровитейшим публицистам конца 50-х — начала 60-х годов, но сердца их тоже наполнены любовью к народу и презрением к тиранам. Или Николай Васильевич Шелгунов и П. Никитин^[49], публикующие свои статьи на страницах журнала «Дело», — ведь эти люди тоже честнейшие «народные печальники», продолжающие дело Герцена, Чернышевского и Добролюбова.

Да, очень хорошо Плещееву в некрасовском журнале, но нужда заставляет искать приработка и помимо основных денег, получаемых в контроле и «Отечественных записках». Для «Вестника Европы», «Модного магазина» и «Беседы» Плещеев переводит стихи зарубежных поэтов, в том

числе таких, как Байрон, Соути, Леопарди, вместе опять же с А. М. Скабичевским становится сотрудником газеты «Биржевые ведомости», помещает там фельетоны, критические заметки, ведет раздел «Театр и музыка», публикует и переводы свои. А еще раньше Алексей Николаевич стал сотрудничать в газете А. А. Краевского «Голос», помещал в ней под рубрикой «Литература и жизнь» серию обзоров современного литературного процесса. Возобновление газетно-журналистской деятельности Плещеевым в 70-е годы вызвано было в первую очередь материальными затруднениями. Но и к газетной работе Алексей Николаевич относился с исключительной серьезностью, и потому дух и буква газетных выступлений Плещеева ничуть не отличались от тех, которые Алексей Николаевич публиковал в тех же «Отечественных записках» под рубрикой «Современные заметки». В каждой заметке, статье, в каждом критическом эссе или фельетоне на бытовую тему Алексей Николаевич оставался истинным рыцарем журналистской порядочности и честности, нигде не отступал от своих взглядов, когда дело касалось кардинальных, принципиальных вопросов общественной жизни и искусства.

Выступая с критическими статьями и обзорами, Плещеев, как и в 60-е годы, видит предназначение литературы в том, чтобы проникнуть в самые недра жизни, «попасть в самую жилку нашему обществу» — эту идею он проводит и в библиографических заметках, посвященных литераторам Запада; в «Биржевых ведомостях» поэт вел рубрику «Иностранная литература», пропагандируя творчество Гюго, Шиллера, Золя, Ж. Санд, Диккенса, Стендаля.

В литературно-критических статьях Плещеева видна позиция демократа, позиция человека, горячо отстаивающего «стремление к правде, стремление отрешиться от... разных басен, от пустозвонных фраз, от условных плоскостей и фанфаронад, стремление к неподкрашенному изображению жизни», как писал поэт в статье, посвященной творчеству Э. Золя.

Особенно много критических работ посвящает в этот период Плещеев творчеству Островского, опубликовав в «Биржевых ведомостях», а затем в «Молве» отзывы о та-к-ик пьесах драматурга, как «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «Бесприданница», «Без вины виноватые» и других. Как и в 60-е годы, Плещеев видит в Островском главу русского драматургического искусства, называет его великим художником, превосходным знатоком народных характеров, высоко ставит психологизм пьес Островского, но... по-прежнему критикует драматурга за стремление

найти положительные черты в купечестве — Алексей Николаевич... склонен был почему-то видеть в представителях купечества по преимуществу дельцов и только.

Плещеев и сам в эти годы продолжает сочинять пьесы для Александринского и Московского Малого театров («Примерная жена», «Неужели она не придет»), переделывать водевили и пьесы французских, немецких драматургов — комедии А. Дюма-сына «Красавец», Ф. Понсара «Ангел доброты и невинности» и много других^[50].

И с особым увлечением в период своего секретарства в «Отечественных записках» Плещеев работает над произведениями для детей. Завязав довольно тесное сотрудничество с журналами «Семья и школа», «Детское чтение», Алексей Николаевич отсылает в них свои стихи, и произведения знакомых ему поэтов, прозаиков, приглашая принять самое действенное участие в детских изданиях И. З. Сурикова, А. В. Круглова, П. В. Быкова и других своих коллег.

Сам Алексей Николаевич входил в мир детства, отнюдь не подстраиваясь под ребенка, не подлаживаясь к нему, избегая слащавости и сюсюканья. Поэт оставался всегда самим собой, делясь с детьми радостями и печальями, которые волновали и его, но в то же время легко доступны детям. В его стихах, полных энергии, родительской ласки все дышит неподдельностью, жизненной правдивостью (современники это признали сразу же и среди них Достоевский и Гончаров, отметили обаятельную свежесть, целомудрие и проникновенную сердечность стихов Алексея Николаевича из сборников «На праздник» (1873 год), «Подснежник» (1878 год)).

У лесной опушки домик небольшой
Посещал я часто прошлую весной.
В том домишке бедном жил седой лесник.
Памятен мне долго будешь ты, старик, —

начинает поэт рассказ о своем герое, которому был знаком в лесу каждый кустик. Этот рассказ о человеке, чье сердце переполнено любовью ко всему живому на земле, Плещеев сумел наполнить таким высоким ладом, что и читатель уже вряд ли сможет когда-либо забыть седого лесника, глядящего детские головки и приговаривающего:

«Ладно, ладно, детки, дайте только срок,

Будет вам и белка, будет и свисток!»

— это двестише стало пословицей!

Как, наверное, не забудется и другой дед, радостно встречающий вместе с внуками первый зимний день («Из жизни»), ибо и он выписан с той полнокровной убедительностью, которая позволила Гончарову назвать плещеевские стихи такими, «каких, конечно, трудно ожидать теперь от кого-нибудь другого...»

Все же скудный достаток в дом приносят литературные гонорары, несмотря на активное сотрудничество в журналах и газетах Петербурга, крупные публикации в «Отечественных записках»: в первом номере за 1874 год Плещеев поместил «Очерк жизни и деятельности Стендаля», в последующих номерах — переводы стихов Гейне, отрывки из трагедий Байрона «Сарданапал», ряд оригинальных стихотворений. И все-таки Алексей Николаевич стал подумывать об увольнении из контроля, надеясь, то постоянное жалованье за секретарство в «Отечественных записках» и сторублевое жалованье в «Биржевых ведомостях» (тоже за секретарские обязанности) помогут сводить концы с концами. «Очень уж опротивела мне эта служба», — сообщает он в письме Жемчужникову от 25 июля 1875 года и следом признается: «Работой никакой в газете (в «Биржевых ведомостях». — Н. К.) не брезгую: и романы компилирую, и фельетоны пишу, случается, и библиографию, и театральные заметки, что придется, лишь бы давали деньгу. Разумеется, для работы «по сердцу», для художественной работы не остается времени. Это та же служба, с той разницей, что здесь все-таки больше заняты и ум, и воображение...»

Формально Алексей Николаевич еще продолжал числиться в контроле до января 1875 года, но, по существу, перестал ходить на службу еще с осени 74-го, целиком отдавшись литературной работе.

В «Отечественных записках» Плещеев начинает играть все более видную роль^[51], не претендуя, однако, на равновластие не только с Салтыковым или Елисеевым, но и с тем же Михайловским. И все-таки за три года постоянного сотрудничества в журнале он приобрел солидный авторитет, а секретарство свое теперь вовсе не считал синекурой, как в 1872 году.

В семье тоже, слава богу, все пока хорошо. И хотя старший сын Саша вынужден был покинуть гимназию (отчислили из-за несвоевременного взноса платы за обучение), эта неприятность, кажется, выправляется. Саша

пытался поступить в университет, но... неожиданно увлекся театром и подался в актеры недавно открывшегося Павловского театра — в Павловске Плещеевы каждое лето снимали дачу. Что ж, пусть испытает свою судьбу, может, и вправду у него артистическое призвание. Владимир Николаевич Давыдов — ведущий актер Александрейского театра, с которым Алексей Николаевич давно дружен, считает, что у Саши — несомненные актерские способности — дай-то бог, чтобы Давыдов не ошибся! Леночка тоже почти взрослая и обещает стать истинной красавицей. Кока-Николенька, видимо, станет военным — зачитывается книгами о войнах, а «Севастопольские рассказы» графа Л. Н. Толстого выучил наизусть.

Узаконил, наконец, Алексей Николаевич и свои отношения с Екатериной Михайловной Даниловой, а вот их дочь Люба пока остается... всего лишь воспитанницей Плещеева — Правительственный Сенат отказал в первой просьбе Плещееву разрешить Любе принять фамилию и отчество Алексея Николаевича.

Дети подрастают, кажется, получают из них сердечные и отзывчивые натуры. Но догадываются ли они, чего стоило и стоит Алексею Николаевичу их воспитание и сравнительно безбедная для них жизнь? Саша и отчасти Леночка, видимо, догадываются, стараются отказываться даже от минимума удовольствия, которые Алексей Николаевич стремился все же доставлять своим детям. Они начинают понимать, что их отец, хотя и уважаемый, но очень бедный человек. Недаром и гости-то к отцу приходят не так уж часто, за исключением ежегодного дня именин 12 февраля, когда Плещеев устраивал маленький пир с чаепитием для самых близких друзей.

Друзей у Алексея Николаевича и в Питере оказалось не так уж мало. Помимо давнишних, испытанных временем (среди них, кроме Некрасова и Салтыкова, А. Н. Островский, заглядывавший иногда в северную столицу, И. С. Тургенев в период своих редких приездов в Россию, П. Ф. Горбунов, И. З. Суриков, П. П. Вейнберг, М. А. Балакирев, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, Ц. А. Кюи), появились новые, с которыми Алексей Николаевич сдружился тоже основательно и сердечно: это и Г. П. Успенский, и Н. К. Михайловский, и А. М. Скабичевский, и П. Д. Боборыкин, и брат П. И. Чайковского Модест Ильич, и актеры В. Н. Давыдов и М. Г. Савина. Друзей много, и есть среди них очень близкие, а всех все равно не пригласишь даже и на день именин — и квартира, которую Плещеев снял в Поварском переулке, маловата, и стесненность в деньгах опять же не последнюю роль играла: вот недавно, несмотря на

ходатайство Некрасова, Комитет литературного фонда отказал Плещееву в пособии «за отсутствием достаточного числа поручателей».

Написал письмо Ф. М. Достоевскому с просьбой прислать рублей-150 в счет старого долга (той тысячи, которую Плещеев посылал Достоевскому в 1858 году в Семипалатинск), хотя и не очень хотелось тревожить Федора таким напоминанием — знал, что и сам-то Достоевский еле сводит концы с концами — наверное, не от хорошей жизни согласился стать официальным редактором «Гражданина» князя В. П. Мещерского...

И встречи с другом юности стали редкие и больше случайные. В первый год, когда Плещеевы приехали в Питер, у Алексея Николаевича и Федора Михайловича бывали и душевные беседы, и споры, теперь же видятся от случая к случаю. Житейская суета виновата или несхожесть литературно-общественных позиций? Оба считали, что скорее всего и то и другое, хотя и не высказывались об этом открыто при тех мимолетных и редких встречах на петербургских улицах, на литературных вечерах, у общих знакомых. Да Федор Михайлович мало где стал появляться: после публикации романа «Бесы», он получил репутацию «реакционера», ретрограда в некоторых кругах молодежи, да и кое-кто из литераторов тоже усматривает в романе чуть ли не окарикатуривание деятелей революционного движения, несмотря на опровержения самого Достоевского в «Дневнике писателя», который он начал вести в «Гражданине». Некрасов и Салтыков, резко полемизировавшие с Достоевским еще в середине 60-х годов, теперь и вовсе осерчали на старого плещеевского друга... Впрочем, роман «Бесы» Алексею Николаевичу тоже казался чересчур тенденциозным.

А в редакции «Отечественных записок» вызывали тревогу частые цензурные гонения: так, в 1874 году был арестован и уничтожен майский номер журнала за опубликование анонимной статьи Варфоломея Зайцева «Франсуа Рабле и его поэмы» и рассказов Г. Успенского «Очень маленький человек» и В. Короткова «Рекрутский набор». Возглавивший Главное управление по делам печати Василий Васильевич Григорьев — профессор-ориенталист С.-Петербургского университета, давнишний покровитель Плещеева по Оренбургу, тоже настороженно относится к направлению журнала.

Беспокоило ухудшающееся здоровье двух главных редакторов: Некрасова и Салтыкова. Михаил Евграфович страдает ревматизмом, пробовал лечиться и за границей (осень и зиму 1875–1876 годов провел в Баден-Бадене, в Ницце, в Париже), но не очень-то успешно: вернувшись в

Москву, снова захворал, часто стал выезжать в свое подмосковное имение Витенево и оттуда присылал мрачноватые письма, жалуясь на стеснение в груди и другие боли.

А Николай Алексеевич, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, с весны 1875 года почувствовал себя настолько плохо, что... заговорил о приближающейся смерти. По настоятельному требованию врачей ездил лечиться в Крым, в Ялту, но не чувствуется, чтобы здоровье его улучшилось — говорят, и болезнь-то у Некрасова-неизлечима — страшно представить, если она сведет Николая Алексеевича в могилу...

В последние годы Плещеев привязался к своему покровителю и другу. «В эти три-четыре года, что я здесь, мне случалось провести с ним два-три вечера — таких, которые надолго оставляют след в душе», — пишет Алексей Николаевич в этот период в одном из писем А. М. Жемчужникову.

«А ведь случись с Некрасовым беда, — тревожился Алексей Николаевич, — утрата для русской поэзии невосполнима, а для «Отечественных записок» дело может обернуться катастрофой... Конечно, характер Некрасова не назовешь открытым, как и у всякого смертного, есть у Николая Алексеевича качества, не совсем и не всех влекущие к нему, но они просто ничтожны в сравнении с теми, за которые нельзя не любить этой богатой, много перестрадавшей души, нельзя не преклоняться перед действительно титанической литературной и журналистской работой этого истинного подвижника нашей словесности...»

Плещеев часто обращался мыслью к начальному периоду своего сотрудничества в «Отечественных записках», когда Некрасов попросту спас разуверившегося во всем, истрепанного нуждой чиновника Контрольной палаты Алексея Николаевича Плещеева. Вот и фотография, которую в те труднейшие дни подарил Плещееву Некрасов (датирована 30 мая 1872 года), подтверждает, как окрепла тогда их дружба, пожалуй, ни разу не омраченная и за все последующие годы...

Нельзя сказать, чтобы Некрасов жаловал все писания Плещеева, нет, если ему что-то не нравилось, он говорил прямо, а порой и резковато, нередко отвергал предлагаемые в «Отечественные записки» плещеевские стихи, переводы, статьи, но и не скупился на теплые и сердечные слова, если Какие-то вещи ему нравились. А нравились Некрасову прежде всего те из стихов Алексея Николаевича, в которых Плещеев делал шаг из мира грез в мир реальной действительности. Но особенно ценил редактор «Отечественных записок» работу Плещеева-переводчика и популяризатора. Некрасов неоднократно высказывал похвальное слово в адрес плещеевских монографий о Прудоне и Стендале, а однажды, к величайшему удивлению

Алексея Николаевича, наизусть процитировал целый абзац из его статьи об Анри Бейле (Стендале):

«Книги Бейля можно назвать психологией в действии. Из нее можно было бы извлечь целую теорию страсти, столько в ней маленьких новых факторов, которые все признают верными, но которых никто не замечал... Нужно читать его медленно или лучше перечитывать, и вы признаете, что он доставляет прочное наслаждение...»

Некрасов, помнится, произнес эту фразу своим тихим голосом на одном из редакционных понедельников в присутствии Михайловского и Елисеева, хитровато поглядывая на последних, и как бы укоряя их: «Вот вы, мол, матерые критики, верно, никогда не способны извлечь, как Плещеев, теорию страсти, вам все голые идеи поскорее подавай».

Плещеев тогда был приятно поражен не столько феноменальной памятью Николая Алексеевича (очерк о Стендале печатался в журнале вместе с третьей частью поэмы «Кому на Руси жить хорошо», поэтому Некрасов мог «специально» выучить цитату), сколько его неподдельным сочувствием к смыслу цитаты...

«А что же, может быть, авторам нашего журнала как раз и недостает именно психологии в действии? — Алексей Николаевич неожиданно обратился мыслью и на другие грустноватые дела в журнале. — В самом деле, беллетристика у нас, увы, «прихрамывает». Нет сильных, будоражащих ум и сердце произведений. Из Владимира присылает свои повести-очерки Златовратский. Что ж, его «Крестьяне — присяжные» — вещь дельная, но читается, право, с трудом. Наверное, новый роман «Устой», над которым Златовратский работает и первые части которого уже прислал в журнал, будет небезынтересным с познавательной стороны, но вряд ли в нем найдутся страницы, способные доставить художественное наслаждение...

Опять стала присылать в журнал свои повести Надежда Дмитриевна Зайончковская-Хвоцинская, пишущая под псевдонимом В. Крестовский. Эта давнишняя знакомая Салтыкова, разумеется, не без способностей, некоторые ее вещи, например, «Учительница», очень недурны, но все равно ей далеко до уровня первостепенных беллетристов наших, которые, к сожалению, предпочитают публиковать свои вещи либо у Каткова, либо у Стасюлевича. Один Островский еще продолжает поддерживать тесные отношения с журналом, да и то не столь тесные, как кажется: «Снегурочку» почему-то отдал в «Вестник Европы»... Впрочем, «Отечественные записки»-опубликовали следом превосходные пьесы Александра Николаевича: «Волки и овцы», «Богатая невеста». И вскоре получили еще

одну — «Правда — хорошо, а счастье лучше», в которой могучий дар драматурга проявился в полную мощь. Да, Островский еще «наш», а вот другие великаны обходят нас стороной. И Тургенев, и Толстой...»

Недавно Некрасов и Салтыков поручили ему, Плещееву, обратиться с просьбой к Достоевскому, чтобы тот дал что-нибудь в «Отечественные записки», так как якобы обещал еще раньше Салтыкову передать журналу, помимо романа «Подросток», еще что-нибудь^[52].

Обещать — обещал, а ничего не дает и после напоминания. Нет, и Федор, опубликовав «Подросток», по-видимому, не желает больше с нами сотрудничать... Грустновато, а рассчитывать на молодежь особенно не стоит, за исключением разве Глеба Ивановича Успенского, — это мощный талант, но ведь... один в поле не воин, как говорят... К тому же Глеб Иванович и не совсем здоров, и совсем не романист. А романы Боборыкина, конечно, погоды в журнале не сделают — тут надо прямо сказать при всей моей симпатии к милейшему Петру Дмитриевичу... Увы, его книги скорее напоминают не психологию в действии, а действие без психологии, действие мертворожденных персонажей, обреченных произносить фразы, пересыпанные терминами из позитивистского лексикона...» — печалился секретарь «Отечественных записок».

Лето 1876 года Плещеев со всем семейством, как и в прежние годы, провел в Павловске, часто выезжая в Петербург в основном по журнальным делам. С газетами Алексей Николаевич тоже продолжал поддерживать постоянные связи — как с «Биржевыми ведомостями», так с «Голосом». Открывалась возможность наладить сотрудничество и с третьей газетой, обретающей силу: давний приятель Плещеева Алексей Сергеевич Суворин стал во главе «Нового времени». Но, сделавшись издателем «Нового времени», бывший фельетонист «Петербургских ведомостей» неожиданно резко начал менять свою политическую ориентацию, явно отказываясь от прежних весьма радикальных убеждений.

А в обществе, и всегда-то беспокойном русском обществе, начался поистине небывалый подъем, охвативший все слои населения: он был вызван повышенным вниманием к освободительной борьбе на Балканах против турецкого ига, начатой в Герцеговине и Боснии в 1875 году и подхваченной в следующем 76-м Болгарией и Сербией. Восстание славянских народов против многовекового турецкого владычества встретило со стороны русских людей, переживших в свое время владычество татаро-монголов, полное сочувствие и поддержку. Благодаря деятельности Славянского общества и прежде всего его Московского

комитета, возглавляемого И. С. Аксаковым, началось повсеместное формирование отрядов добровольцев для оказания помощи восставшим братским народам, в число этих добровольцев записывались не только мужчины, но и тысячи девушек, изъявивших желание поехать на Балканы сестрами милосердия.

Возбуждение общественного внимания к событиям на Балканах в значительной мере приглушило интерес печати к внутренним вопросам — это особенно видно было по издаваемой А. С. Сувориным газете «Новое время». Сам издатель к этому времени от симпатий к Гелинскому и Чернышевскому, которые испытывал в 50-е—60-е годы, перешел в лагерь их противников; столь явная беспринципность бывшего демократа заставляла сомневаться и в искренности его патриотических проповедей за солидарность с движением балканских славян.

Вообще-то Алексей Николаевич сначала с сочувствием отнесся к издательской деятельности Суворина, но вскоре понял, что Суворин, пожалуй, не нуждается в сочувствии старых друзей: карьера издателя «Нового времени» положительно шла в гору со стремительностью, которую, пожалуй, не знал никто из молодых журналистов. Уже в 1876 году Суворин собрал более 16 тысяч подписчиков, намного опередив по количеству последних все другие газеты, в том числе и «Голос» Краевского, где продолжал сотрудничать Плещеев.

Но Алексей Николаевич видел, что бурная деятельность Суворина сродни «одержимости» С ужевого маклера, знающего только одну «святыню» — капитал, выгоду. Вот и теперь, когда события на Балканах приняли особенно напряженный характер, когда восставшие против турецкого ига народы Боснии, Герцеговины, Болгарии и Сербии ожидали помощи от России, Суворин стал рьяно, но вряд ли искренне, как полагал Плещеев, утверждать, что славянский вопрос нынче важнее всех внутренних вопросов, явно намереваясь извлечь из своих «патриотических» призывов определенный политический капитал... Впрочем, Алексей Николаевич продолжал сохранять с А. С. Сувориным вполне добрые отношения, высоко ценя эстетический вкус своего давнишнего протеже, и прежде всего его способности как театрального критика...

События между тем накалялись: борьба балканских славян за свое освобождение с каждым днем усиливала подъем общественного движения внутри России, и стало очевидным, что в скором времени война между Россией и Турцией окажется неизбежной, особенно после того, как Сербия

потерпела поражение в сербо-турецкой войне летом 1876 года. Добровольческое движение в России приобрело всенародный характер, за Дунай отправляются первые русские отряды, чтобы принять непосредственное участие в боях, — все это вынуждает царское правительство вступить в 1877 году в войну с Турцией. После блестящих побед русской армии на Шипке, под Плевной, зимнего перехода через Балканский хребет и взятия Андрианополя. в январе 1878 года между Россией и Турцией был подписан Сан-Стефанский мирный договор, по которому Турция признавала независимость Болгарии, Сербии и Черногории^[53].

Плещев тоже был горячим сторонником освобождения балканских славян от владычества турок (встреча славянских гостей в Артистическом кружке девять лет назад и ныне грела душу приятными воспоминаниями), но склонялся в этом вопросе к позиции Некрасова и Салтыкова, считавших, что правительство использует широкое общественное движение русского народа в пользу братских народов для своих корыстных целей — такого мнения придерживались многие непосредственные сотрудники «Отечественных записок». Многие, но не все: находившийся в Париже один из авторитетнейших и постоянных авторов журнала Глеб Иванович Успенский уезжает осенью 1876 года в Сербию в качестве военного корреспондента «Санкт-Петербургских ведомостей» и оттуда шлет свои «Письма из Сербии», в которых все сим-п тип на стороне восставшего народа.

Оставаясь верным своей главной задаче — способствовать развитию борьбы с «внутренними турками», — руководители «Отечественных записок» все же порой недооценивали великую силу патриотического движения в русском обществе, вызванного событиями на Балканах: пример тому — «Внутреннее обозрение» журнала в десятой книжке за 1876 год (оно написано, как предполагают, Г. З. Елисеевым), в котором автор весьма поверхностно иронизирует по поводу жертвований крестьянского населения России в пользу борющихся с турками славян. Впоследствии Алексей Николаевич назвал это обозрение «странным»...

Все больше и больше начинает тревожить Плещеева состояние здоровья Некрасова: Николай Алексеевич, обреченный, угасал на глазах, и все посещавшие в эти дни и месяцы семьдесят седьмого года больного поэта понимали неотвратимость конца того, кто призывал своих собратьев:

Сейте разумное, доброе, вечное,

Сейте! Спасибо вам скажет сердечное
Русский народ!..

В последнее время Некрасов, предчувствуя неизбежное, интенсивно работал над новой книгой стихов «Последние песни», в которой как бы подводил итоги жизни и творчеству, стремясь до конца разобраться и в себе, и в тех, с кем шел по жизненной дороге. А в беседах с близкими и товарищами Николай Алексеевич часто предавался воспоминаниям о прошлом — недавно взволнованно рассказывал Плещееву о своем сближении с Белинским, попутно похвалив плещеевскую рецензию в «Голосе», посвященную трудам А. Н. Пыпина о великом критике. Некрасовская похвала была особенно приятна Алексею Николаевичу, ибо он сам в эти дни написал стихотворение «Я тихо шел по улице безлюдной...», навеянное воспоминаниями о Белинском.

Толчком к созданию стихотворения о Белинском послужил случай: возвращаясь как-то летним вечером 1877 года от больного Некрасова домой, Плещеев свернул с Литейной на Лиговку и остановился возле дома, где тридцать с лишним лет назад жил Виссарион Григорьевич, на квартире которого приходилось бывать и Алексею Николаевичу...

...Привет тебе! В степях твоих нередко
Я поздний час в беседе забывал...
То были дни, когда стопой несмелой
Впервые в жизнь я, юноша, вступал.

Привет тебе! Под этой старой крышей
Жил труженик с высокою душой;
Любви к добру и веры в человека
В нем до конца не гас огонь святой.

Учил он нас мириться с темной долей,
Храня в душе свой чистый идеал;
Учил идти путем тернистым правды
И не искать за подвиги похвал.

...Уж нет его: давно он спит в могиле!
Но кто из тех, в чью грудь он заронил
Зерно благих, возвышенных стремлений,

Кто памяти о нем не сохранил?..

Вот и больной, не надеющийся на выздоровление Некрасов тоже считает, что и он многим обязан Белинскому... Да, совсем стал плох Николай Алексеевич. Ничто не останавливает его прогрессирующую болезнь: ни искусные операции лучших петербургских врачей, ни операции знаменитого венского хирурга Бильрота — напротив, все старания медиков оказывались словно бы совершенно бесполезными, а только причиняли больному уйму физических страданий...

Но весть о смерти Николая Алексеевича все равно показалась почему-то неправдоподобной. Ведь именно в этот день, 27 декабря 1877 года, Алексей Николаевич навестил Некрасова, и хотя тот показался ему почти совсем угасшим, известие о столь скорой кончине не хотелось принимать за истинное.

Плещеев ехал 28 декабря в дом на углу Литейной и Бассейной, еще на что-то надеясь, еще почему-то веря, что непременно застанет Николая Алексеевича живым, с печально-страдательной улыбкой на исхудалом восковом лице... Увы, этим желаниям не суждено было сбыться — это Алексей Николаевич с болью понял, увидев возле дома огромное скопление людей и карет...

В день похорон Некрасова 30 декабря выдался сильный мороз, но пришедших проститься с покойным была тьма-тьмущая. Тысячи людей сопровождали тело поэта до места захоронения на Новодевичьем кладбище, особенно много пришло молодежи. Такого грандиозного шествия долгие годы не знала северная столица России, это был, в сущности, первый случай демонстрации последних почестей Поэту и Гражданину, и, как засвидетельствовала газета «Биржевые ведомости»: «Поэту суждено было даже и самую смертью своею возвысить значение поэтического творчества в глазах русского народа».

А для Алексея Плещеева смерть друга, покровителя, ближайшего по духу поэта, превосходного редактора-вождя стала утратой невозполнимой, самой тяжелой со времени смерти любимой жены Еликоницы Александровны. Убитый горем, Алексей Николаевич даже и в день похорон не мог полностью оправиться от угнетенного состояния и мало вслушивался в речи ораторов на могиле покойного. Выступавших было много, опять же из молодежи, но Плещеев до конца и с полным вниманием прослушал только речь Ф. М. Достоевского.

Федор Михайлович был тоже чрезвычайно взволнован, говорил горячо и страстно о заслугах покойного перед русской литературой и поставил имя Некрасова в один ряд с Пашкиным и Лермонтовым. Но стоило только Достоевскому произнести слова о месте покойного в истории русской словесности, как из толпы, окружавшей могилу, раздались протестующие возгласы: «Нет — выше! Выше!», эти возгласы были подхвачены тысячами людей — зрелище представлялось настолько величественно-впечатляющим и захватывающим, что Плещеев и сам непроизвольно вторил вместе со всеми: «Выше! Выше!», отлично сознавая стихийность, случайность такой оценки, но никак пока не подозревая, что стихийно возникший на могиле спор продолжится вскоре и в печати.

А он, этот спор, завязался сразу же; уже в некрологических статьях, посвященных памяти Некрасова, можно было отчетливо обнаружить две далеко не одинаковые точки зрения на жизнь и деятельность поэта: одни явно стремились принизить значение Некрасова, называли его выразителем только определенного «кружка» (в отличие от Пушкина и Лермонтова, которые признавались выразителями всего русского общества), другие же отстаивали мнение, впервые заявленное во всеуслышание во время похорон Николая Алексеевича, и в полемической запальчивости снова отдавали певцу мести и печали «первое место на русском «поэтическом Олимпе».

Алексей Николаевич Плещеев, опубликовавший в «Биржевых записках» № 334 статью-некролог «Н. А. Некрасов», невольно тоже как бы принял участие в полемике.

Автор некролога, в частности, отметил, что еще во времена «Современника» Некрасов сумел «сгруппировать около себя... самые крупные литературные силы той эпохи и создать журнал, который имел огромное влияние на тогдашнее общество», сказал о глубокой человечности Некрасова, которую зачастую отрицали недоброжелатели и враги поэта, распуская о нем всевозможные небылицы и сплетни.

«Некрасов никогда не оставался глух к нуждам своих сотоварищей по профессии, умел войти в положение писателя и не только оказать ему помощь, но оказать ее так, что она не оскорбляла самолюбия одолженного», — писал Плещеев и в полной уверенности добавлял: «Еще много голосов, без сомнения, раздастся в подтверждение моих слов».

Самую высокую оценку дал Плещеев поэзии Некрасова, а четыре года спустя, в 1882 году, он опубликует в журнале «Устой» стихотворение «Памяти Н. А. Некрасова», в котором скажет такие слова о социальной сущности некрасовских песен:

...Тогда стране своей родной,
Тоски исполнен безысходной,
Слагал он песнь, и в песне той
Поэт о скорби пел народной,

Пел о желанных лучших днях,
Народа прозревая силы...
И песнь его в людских сердцах
К неправде ненависть будила...

Он смолк... его не слышать нам...
Но в песнях, полных вдохновенья,
Он юным завещал певцам
Народу честное служенье!

Но это стихотворение увидит свет, когда бурные и страстные споры вокруг автора «Русских женщин» и «Кому на Руси жить хорошо» обретут более спокойный и более объективный характер.

После смерти Некрасова в состав основных редакторов «Отечественных записок» был введен Н. К. Михайловский, получивший к тому времени широкую известность как влиятельный литературный критик и социолог, особенно после публикации статей «Десница и шуйца Льва Толстого», «Теория Дарвина и общественная наука», а вскоре ставший, по мнению революционно настроенной молодежи, «властителем дум» нового поколения. Плещеев ценил большую эрудицию и яркий публицистический талант нового соредатора «Отечественных записок», но для него — человека, воспитанного на идеализме 40-х годов, имеющего в своем характере много черточек «кающегося дворянина» — так Михайловский иронически называл передовых деятелей дворянской интеллигенции 40—60-х годов, — не очень близки были идеи, развиваемые Михайловским в области «субъективной социологии» и в области политической экономии. Прекрасно понимая и принимая революционную устремленность Николая Константиновича, искреннее сочувствие его обездоленным и униженным, Алексей Николаевич все же видел, что идеалы нового «властителя дум» не столь стройны и последовательны, как, например, у Чернышевского, продолжателем дела которого считал себя Михайловский, и что гимн «сильной личности» грешит какой-то натуужностью, ненатуральностью, как

и абстрактная идеализация крестьянства как чего-то единого, непротиворечивого, но нуждающегося в пробуждении сознания.

И. К. Михайловский был выразителем и одним из главнейших идеологов (наряду с эмигрировавшим за границу П. Л. Лавровым) нового этапа социально-политического движения в России — народничества, программные положения которого опирались на признание приоритета интеллигенции («критически мыслящей личности») как решающего фактора исторического прогресса. Однако народническое движение было далеко не однородным: группа народников-эмигрантов, поддерживающих Лаврова, придерживалась мнения, что подготовка революции должна вестись путем предварительной социалистической пропаганды в народе, другая группа, разделявшая точку зрения П. Н. Ткачева, считала, что революцию, освобождение народа может совершить партия заговорщиков, опирающаяся на якобы «разрушительно-революционную» силу народа, а И. К. Михайловский, поддерживая связь с революционным подпольем (практическими деятелями возникших в конце 70-х — начале 80-х годов народовольческих организаций, ставящих своей целью уничтожение самодержавия, передачу земли крестьянам, установление демократических свобод), подчеркивал, что является сторонником преобразования общества с помощью реформ... властей предрержащих.

Идеи народничества получили распространение и в литературе, возникало целое течение демократической литературы (Н. И. Наумов, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. Е. Каронин-Петропавловский), находившееся под воздействием теорий народников и в частности И. К. Михайловского (идеи общинного социализма).

Литературно-критические работы Михайловского Плещеев ставил высоко, вкусы обоих сотрудников «Отечественных записок» во многом совпадали: как и Плещеев, Михайловский решительно не принимал «вандализма» Писарева, отрицавшего гений Пушкина, высоко ценил талант Г. Успенского, молодого начинающего В. Гаршина. Но Алексей Николаевич видел огрехи Николая Константиновича и в плане чисто эстетическом, далеко не разделял категорически утилитарных взглядов критика на искусство; были расхождения и другого, более мелкого характера, но в целом отношения Плещеева и Михайловского и после смерти Некрасова оставались дружески надежными, не обретая, правда, особой близости — слишком разнились оба по психологическому складу. Плещеев симпатизировал Михайловскому и еще по одной причине: старый петрашевец догадывался (а может быть, и знал), что первый критик «Отечественных записок» поддерживает тесный контакт с

нарождающимися народовольческими организациями, ищущими пути для осуществления практических задач, с юношеских лет занимавших автора «Вперед»...

Далеко не все, даже многое не разделял Плещеев в программах народовольцев-практиков, вовсе не одобрял их методы борьбы с правительством (особенно террористическую деятельность), но искренне и горячо сочувствовал их самоотверженной устремленности к скорейшему преобразованию общества на основах «нравственного идеала» и крестьянского социализма.

В стране свирепствует реакция. Один за другим идут политические процессы, из которых особенно крупные — «Процесс 50-ти» над труппой «москвичей» и «Процесс 193-х» — над участниками «хождения в народ», когда было арестовано несколько тысяч народников. Однако, несмотря на многочисленные аресты, революционное брожение в среде интеллигенции нарастало непрерывно.

Сам Алексей Николаевич уже не был настроен по-бойцовски, как в 40-е или даже 60-е годы, однако душой он всегда был с теми, кто «жаждал правды, жаждал света», как скажет он в стихотворении, посвященном памяти Добролюбова и написанном к 20-летию со дня смерти великого «шестидесятника»^[54].

И другие представители старой гвардии, работавшие бок о бок с Плещеевым в «Отечественных записках» (Салтыков-Щедрин, Елисеев), продолжали дело, завещанное Чернышевским и Добролюбовым, хотя, конечно, далеко не с той силой, как раньше. Салтыков, впрочем, и нынче необыкновенно силен, несмотря на непрестанную болезнь и всевозможные «подножки», которые ему ставят все верноподданные, начиная от Каткова и Суворина и кончая... В. В. Григорьевым — председателем Комитета по делам печати и, возможно, самим... государем императором. Самое удивительное, что Михаил Евграфович не только успешно обороняется, но и продолжает энергично атаковать врагов, наносить им чувствительные удары.

Правительство давно жаждет расправы с «Отечественными записками», с теперешним главным редактором журнала, и, наверно, такая расправа скоро свершится, ибо Михаил Евграфович в отличие от Некрасова плохо «ладит» с начальством... Впрочем, пока еще дела в журнале идут совсем неплохо: «Устой» Златовратского положительно имеют успех у публики, с интересом читаются и новые повести Зайончковской-Хвоцинской, то бишь В. Крестовского. Но лицо журнала по-прежнему определяют сочинения Салтыкова, Глеба Успенского, умные статьи

Михайловского...

Тяжелое горе постигло Алексея Николаевича в 1879 году — скончалась мать Елена Александровна — самый родной, любимый на земле человек. Умерла Елена Александровна в довольно преклонном возрасте, после долгой болезни, уход ее из жизни не был неожиданностью, но разве от этого легче на сердце?..

Мать. Мама. В самые трудные минуты приходила Елена Александровна на помощь к своему дорогому и вечно «неудачливому» сыну, всегда была рядом, когда жизнь и вправду оборачивалась самыми черными гранями: тюрьма, ссылка, нежданно-негаданная смерть любимой жены, жуткие годы безденежья с тремя малолетними ребятишками на руках... И вот теперь уже больше никогда не придется видеть чуть печальный, чуть укоряющий, но всегда такой родной и ласкающий взгляд человека, который, может быть, понимал тебя как никто на всем белом свете...

Умер, подточенный чахоткой, Иван Захарович Суриков. Алексей Николаевич любил Сурикова как сына, много надежд возлагал на своего ученика, и вот такая преждевременная смерть... Вспомнился приезд Сурикова в Петербург, вспомнилось, как тот, став теперь сам известным поэтом, продолжал благоговеть перед ним, Плещеевым, хотя Алексей Николаевич всегда немного конфузился от неподдельного обожания милого Ивана Захаровича...

В газете «Молва» Плещеев поместит заметку-некролог, в которой воздаст должное дарованию поэта-самоучки и отметит, что «Суриков, несомненно, занимает весьма видное место» среди современных ему поэтов, особо подчеркнет горячую любовь покойного к литературе, его чуткость к явлениям общественной жизни... Все это — истина, но почему так часто приходится писать некрологи?..

После смерти Некрасова на Плещеева, помимо секретарства, были возложены еще и обязанности вести стихотворный отдел «Отечественных записок», что отнимало немало времени и энергии. Но и в этот период были кое-какие творческие удачи, а выход книжки стихов «Подснежник» обернулся, как признают многие, праздничным подарком русской детворе. Даже недруги поэта не решились на хулу, зато друзья не отмалчивались, выражая искреннюю благодарность автору «Подснежника». «Если в наше время трудно быть поэтом вообще вследствие известных особенностей нашей эпохи, то писать стихи для детей едва ли не еще труднее. Плещеев

понимает эту трудность... Он согревал созданные им образы «собственным внутренним чувством», — писал рецензент «Отечественных записок» в пятой книжке за 1878 год.

К творческим удачам относил Алексей Николаевич и кое-какие свои переводы (как стихов, так и прозы), считая, правда, эти удачи «вторым сортом утех». Не бросал поэт и драматургии, продолжал изредка сочинять и прозаические вещи, но такую работу делал в основном ради дополнительного заработка — материальная нужда, как и прежде, продолжала преследовать. Иногда исполнял такую работу «для денег» и не без удовольствия, как, например, перевод романа Альфонса Доде «Жак»: этого французского прозаика Алексей Николаевич очень любил, находил в его произведениях много созвучного своим думам о жизни, но в целом все эти переводы, переделки, компиляции довольно здорово выматывали. Литературная поденщина порой становилась противнее недавней службы в Контроле, нередко было стыдно не только перед близкими друзьями, но в первую очередь перед самим собой, стыдно потому, что чувствовал в себе еще силы и на серьезное дело, а тратил их на ничтожные поделки, подписывая их различными криптонимами... И это в период, когда вся русская литература готовится к своеобразному смотру в преддверии июньских дней 1880 года — дней, посвященных памяти величайшего из русских поэтов Александра Пушкина.

Как назло, к концу мая Алексей Николаевич почувствовал недомогание и очень испугался, что не сможет поехать в Москву на пушкинские торжества. К счастью, недомогание прошло, и Плещеев принял участие во всех московских мероприятиях, связанных с чествованием великого Пушкина. Да и не мероприятия это были, а сплошной праздник во славу отечественной словесности, во славу гениального сына русского народа.

Со всех концов страны съехались в Москву литераторы, деятели искусства, чтобы засвидетельствовать свое преклонение перед гением Пушкина. Кого здесь, в Москве, можно было встретить в эти незабываемые июньские дни? Да почти что всех, кто составлял цвет русской литературы, цвет русского искусства. Приехал из своего заграничного «уединения» Тургенев, приехали Достоевский, Григорович и вместе с «коренными» москвичами Островским, Писемским, Иваном Аксаковым деятельно включились в работу по проведению торжеств. К сожалению, по болезни не могли приехать в Москву Салтыков-Щедрин, Гончаров, отсутствовал и Лев Толстой, давая новый повод для обвинения в «капризности», и это был,

пожалуй, действительно один из наиболее странных «капризов» яснополянского затворника.

Петр Ильич Чайковский, братья Рубинштейны, Аполлон Майков, Полонский, Фет, с которыми Алексея Николаевича связывали долголетние приятельские отношения, видные ученые, общественные деятели, представители московского дворянства во главе с генерал-губернатором Долгоруковым, — все взволнованные, радостные... Нет, это не официальное торжество, а поистине национальный праздник русской культуры...

Как старейший член Общества любителей российской словесности Плещеев тоже принимал непосредственное участие в организационных заседаниях, совещаниях, хотя и чувствовал себя еще не совсем окрепшим...

Праздник начался 6 июня с торжественного открытия памятника великому поэту на Тверской площади и возложения венков к подножию памятника. А 7 июня в зале Благородного собрания состоялось первое публичное заседание Общества любителей российской словесности. На самое почетное место за громадным столом, установленным на эстраде, был посажен Иван Сергеевич Тургенев, которому еще вчера студенты Московского университета устроили шумную овацию по случаю избрания Почетным членом университета.

Алексей Николаевич расположился за столом возле Аполлона Майкова и Якова Полонского, вел с ними непринужденную беседу, но внутренне очень волновался — ведь ему вскоре предстояло прочитать собственное стихотворение, посвященное великому Пушкину, стихотворение, написанное специально к празднику и никому еще не читанное. Тревожили не только переполненная аудитория (особенно много было молодежи), но и сам акт необычайной торжественности заседания, поэтому Алексей Николаевич склонялся к мысли прочитать свое стихотворение не на заседании, а за обедом, который должен состояться в этот же день в другом доме Благородного собрания — там обстановка, должно быть, чуть разрядится...

Но вот Тургенев вроде бы ничуть не волнуется внешне, а ему сейчас выступать... Уверенно вошел на кафедру Иван Сергеевич, очень свободно и раскованно заговорил своим неизменившимся тонким голосом о «первом русском художнике-поэте», обращая большую часть свой взор к тем рядам, где преобладала молодежь. «Да, Иван Сергеевич приехал на пушкинские торжества в зените своей славы». Алексей Николаевич, слушая оратора, радовался, что тургеневские мысли о великом поэте во многом созвучны и его раздумьям.

Тургенев закончил свою речь под шумные рукоплескания и несколько утомленный возвратился на свое почетное место за столом... Из других ораторов, выступавших после Тургенева, наиболее яркое впечатление своей темпераментностью произвели на Плещеева митрополит Макарий и академик Я. К. Грот.

А вот за обедом всех покорило «Застольным словом о Пушкине» Александр Николаевич Островский. Чувствовалось, что слово свое о великом поэте драматург выстрадал, поэтому речь его лилась действительно «от полноты обрадованной души», захватывала внимание слушателей основательностью и страстностью мысли, глубиной проникновения в художественный мир поэта. Взволнованно и убежденно звучали из уст Островского слова о пушкинской школе в русской литературе, о самобытном складе русской мысли, русского характера, как никем подмеченных Пушкиным и не просто подмеченных, но и с непревзойденной художественной силой воплощенных в великих творениях поэта. Особенно восторженно восприняли участники обеда заключительные слова Островского, провозгласившего: «Я предлагаю тост за русскую литературу, которая пошла и идет по пути, указанному Пушкиным. Выпьем весело за вечное искусство, за литературную семью Пушкина, за русских литераторов! Мы выпьем очень весело этот тост: нынче на нашей улице праздник». Да, русские литераторы с полным правом солидаризировались с Островским: это был первый и самый большой праздник на «их улице»...

Стихотворение же свое «Памяти Пушкина» Алексей Николаевич прочитал на втором торжественном заседании Общества любителей российской словесности 8 июня, прочитал перед публикой, охваченной необычайным воодушевлением, вызванным пророческой речью Достоевского. Выступить вслед за Достоевским было трудно, Иван Аксаков даже отказывался от выступления, объяснив свой отказ тем, что после гениальной речи Достоевского «более нечего добавить». Публика просто неистовствовала, наэлектризованная страстной проповедью Федора Михайловича.

В своей речи Достоевский не только дал исключительно емкое толкование гения Пушкина, во всей полноте воплотившего русский дух, самобытность русского народа и его всемирную отзывчивость: «...И никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после него, не соединялся так задушевно и родственно с народным поэтом; Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут

он пророк», — утверждал Достоевский и добавлял, что «...назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. Он высказал поистине пророческие мысли о будущем русского народа, России: «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей», вызвав у слушателей небывалый восторг и невообразимое ликование.

Однако Плещеев, тоже сильно взволнованный речью Достоевского, не мог все же согласиться с некоторыми основными положениями этой речи и прежде всего со страстно развиваемой Федором Михайловичем идеей мессианской судьбы русского народа в истории человечества и с трактовкой Пушкина как глашатая такого мессианства^[55].

Для Плещеева, воспринимавшего творчество великого русского поэта не столь многомерно, как Достоевский, Пушкин был прежде всего солнцем поэзии, провозвестником «красоты и правды», безукоризненной гражданственности, честнейшего служения Отечеству — эта мысль выражена уже в двух эпиграфах, предпосланных стихотворению «Памяти Пушкина»: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» и «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!»

Очень волновался Алексей Николаевич, когда ему предоставили слово, — публика все еще находилась под впечатлением гениальных откровений Достоевского.

Однако, когда Алексей Николаевич, войдя на кафедру, громко произнес эпиграф: «Да здравствует солнце, да скроется тьма!» — в зале раздались рукоплескания, а затем неожиданно наступила тишина, позволившая Алексею Николаевичу справиться с волнением и прочитать свое стихотворение с одушевлением, которого он уже давно не испытывал.

Мы чтить тебя привыкли с детских лет,
И дорог нам твой образ благородный;
Ты рано смолк; но в памяти народной
Ты не умрешь, возлюбленный поэт!

Бессмертен тот, чья муза до конца
Добру и красоте по изменяла,
Кто волновать умел людей сердца
И в них будить стремленье к идеалу;

Кто сердцем чист средь пошлости людской,
Средь лжи кто верен правде оставался
И кто берег ревниво светоч свой,
Когда на мир унылый мрак спускался.

И все еще горит нам светоч тот,
Все гений твой пути нам освещает;
Чтоб духом мы не пали средь невзгод,
О красоте и правде он вещает.

Все лучшие порывы посвятить
Отчизне ты зовешь нас из могилы;
В продажный век, век лжи и грубой силы
Зовешь добру и истине служить.

Вот почему, возлюбленный поэт,
Так дорог нам твой образ благородный,
Вот почему неизгладимый свет
Тобой оставлен в памяти народной!

Публика встретила стихотворение тепло, да и друзья-товарищи, сидящие за столом президиума, высказали свое непоказное вроде бы одобрение, но Плещеев понимал, что в не критичном восприятии его стиха «повинен» общий дух праздничности, приподнятости.

По Федор Михайлович Достоевский открыто высказал неудовольствие, назвав стихотворение несколько отвлеченным и риторичным, упрекнув старого друга в чрезмерной приверженности абстрактным всечеловеческим идеалам, которым они оба отдали дань в годы молодости, — Достоевский словно бы хотел продолжить спор, возникший между ними еще год назад на вечере в пользу Литературного фонда. На том вечере, в котором приняли участие, помимо Достоевского и Плещеева, Тургенев, Полонский, Салтыков и Потехин, спор возник стихийно, после того, как Алексей Николаевич под шумные рукоплескания слушателей прочитал свое знаменитое стихотворение «Вперед! без страха и сомненья...» (он читал его последним из выступавших). Тогда Достоевский (самой на вечере прочитал отрывок из «Братьев Карамазовых» — «Исповедь горячего сердца») как раз и сказал Плещееву о том, какими они

были наивными и совершенно не понимавшими своего народа, на что Алексей Николаевич пытался возражать. И вот Федор Михайлович в новом стихотворении Плещеева, прочитанном на пушкинском празднике, тоже, видимо, почувствовал дух той юношеской «наивности», коль заговорил об отвлеченности и риторичности...

Слова Достоевского ничуть не показались Плещееву обидными — слишком хорошо знал Алексей Николаевич неумение своего старого друга говорить пустые любезности, — но оставили чувство некоторого огорчения.

Впрочем, Плещеев тоже высказал свое несогласие с некоторыми положениями речи Достоевского, заметив Федору Михайловичу, что тот тоже ушел в отвлеченность, когда толковал о принципах «всечеловечности».

Без малого тридцать лет поддерживали Алексей Николаевич и Федор Михайлович дружеские отношения. На пушкинских торжествах в их дружбе образовалась небольшая трещина — Алексей Николаевич так и не сумел понять всю глубину и необъятность программы Достоевского, высказанной в знаменитой речи. Вместе со своими соратниками по «Отечественным запискам» (Салтыковым, Г. Успенским, Михайловским) Плещеев склонен был считать, что Достоевский зовет «не на ту дорогу», искренне стремился «переубедить» старого друга. Никак не мог постигнуть Алексей Николаевич того, что друг его юности вовсе не нуждается в «переубеждениях», ибо давно и навсегда определился в своем сокровенном служении народной правде.

И совсем не мог предполагать Плещеев, что речь Федора Михайловича на пушкинском празднике окажется своего рода завещанием, что через полгода с небольшим умолкнет живой голос одного из величайших художников.

Смерть Достоевского потрясла все русское общество, и похороны писателя, состоявшиеся в Александро-Невской лавре, вылились в невиданную доселе всенародную скорбь. 28 января 1881 года Алексей Николаевич, узнав о смерти Федора Михайловича, незамедлительно отправился в Кузнечный переулочек. В квартиру Достоевских непрерывным потоком шли знакомые, товарищи, друзья покойного, почитатели его громадного таланта. Среди множества знакомых лиц Алексей Николаевич встретил и еще одного петрашевца — то был Александр Иванович Пальм. Вместе с Пальмом и родными Федора Михайловича Плещеев на руках выносил из квартиры гроб покойного и сквозь слезы вглядывался в дорогие черты усопшего, который вовсе и не казался умершим, а как бы ненадолго

заснувшим.

В прощальных речах было сказано много взволнованных, проникнутых невосполнимостью утраты и огромной любви к покойному слов. Особенно сильное впечатление произвела речь сына известного историка С. М. Соловьева — молодого философа Владимира Соловьева...

Но Алексей Николаевич и не очень-то вслушивался в прощальные речи — перед ним, как миражи, проносились эпизоды петербургской жизни 40-х годов, когда он и Достоевский познакомились и подружились, эшафот на Семеновском плацу, встреча в Петербурге в 1859 году после десятилетней разлуки, нередкие споры при встречах в последние годы, когда ему, Плещееву, все время казалось, что Федор Михайлович отходит от идеалов молодости... Да разве только один Плещеев так считал?.. В обстановке почти непрерывных сплетен, всевозможных домыслов и слухов, распространяемых вокруг имени Достоевского за последние пятнадцать лет, многие были склонны видеть в авторе «Бедных людей» и «Братьев Карамазовых» человека, перешедшего на откровенно консервативную позицию и, значит, отступившего от идей, за которые некогда шел на эшафот... Обвиняли в ретроградстве, в клевете на социалистов (в связи с «Бесами»), обвиняли, злорадствуя, улюлюкая, не предпринимая и малой попытки разобраться в тревожных проблемах, выдвигаемых писателем-гражданином. Не так давно, после публикации «Подростка», стали распространять слухи о Достоевском как о шовинисте — эта сплетня больше всего возмущала Плещеева, знавшего Федора Михайловича как человека, всегда презиравшего квасной «патриотизм»... И самое омерзительное, что сплетня и нынче нет-нет и вылезает наружу — видимо, кому-то очень хочется хоть как-то «исключить» Достоевского из рядов великих сынов России, очернить его, не чураясь такой гнусной клеветы...

«Прости и меня, дорогой мой друг, что тоже не всегда и не во всем понимал стремлений твоих высоких дум да и теперь еще многое не понимаю... Вот и одна из последних наших встреч на пушкинских торжествах привела к неприятной размолвке. Горько вспоминать о ней, тем более что и случилась она на великом празднике русской литературы, в которой ты по праву занял место, соответствующее твоему неповторимому гению...», — Алексей Николаевич, утирая слезы, придвинулся к могиле друга, чтобы бросить в нее прощальную горсть земли...

Пушкинский праздник обернулся для Алексея Николаевича своего рода поэтическим возрождением, и он снова почувствовал настоящую

потребность выражать сокровенные мысли в стихах, несмотря на то, что журнальная и газетная поденщина продолжала отнимать бездну времени. Конечно, душа наполнялась не только мгновениями радости, но и затяжными печальми непредвиденных бед.

В самом деле: как можно восхищаться «пиром ликующей природы», если душа поражена утратами столь частыми, что «сияющий небесный купол» видится «могильным сводом», как скажет он в стихотворении «Бурлила мутная река...», смерть матери, Некрасова, Достоевского, Писемского, Сурикова — близких людей — злое предопределение какое-то! В стране атмосфера мрачная: после убийства народовольцами 1 марта 1881 года Александра II правительство обрушило репрессии отнюдь не только на террористические организации.

Начались массовые преследования революционеров, подавлялась даже либеральная мысль. Правительство стремилось свести на нет результаты реформ 60-х годов, вводило ограничения в и без того скудные права в области просвещения, усиливало цензурный гнет в печати — все это в результате сыграло зловещую роль в приглушении общественного движения: перерождение народничества (исповедование теории «малых дел») в мелкобуржуазную оппозицию, пессимизм, разочарование в мироощущении стали преобладающими — недаром Н. С. Лесков назвал это время «пошлым пяченьем назад».

Без надежд и ожиданий
Мы встречаем новый год.
Знаем мы: людских страданий
Он, как прежде, не уймет...

...Хоть и верим мы глубоко
В силу мощную добра,
Но, увы, еще далеко
Торжества его пора! —

признается Алексей Плещеев в канун 1882 года, призывая поднять бокалы за тех, кто «не утратил духа силы среди житейских бурь и гроз»... Но реальных надежд на осуществление торжества добра остается все меньше и меньше.

Новый государь император, выпестованный умнейшим и хитрейшим Победоносцевым, кажется, обещает быть покруче своего предшественника,

а главное — решительно намерен искоренить революционную «заразу» прежде всего в органах печати. Вот уже арестован и сослан в Выборг Николай Васильевич Шелгунов, сменивший умершего Благосветлова на посту редактора журнала «Дело», — соратник Чернышевского по «Современнику». Одновременно репрессии непосредственно коснулись и сотрудников «Отечественных записок»: выступление Н. К. Михайловского на вечере студентов в Петербургском технологическом институте (там же выступал и Шелгунов) послужило официальной причиной для высылки из столицы ведущего критика и публициста — правительство знало, что Михайловский связан с народническим подпольем, Михайловский, как и Шелгунов, отправлен в Выборг.

Высылка Михайловского была и предупреждением всем сотрудникам «Отечественных записок», и зловещей угрозой существованию самого журнала вообще. Салтыков очень удручен, хотя еще не теряет надежды сохранить журнал, но вряд ли старику это удастся — не те нынче времена. Досадно и обидно, во-первых, потому, что журнал и после Некрасова продолжает оставаться лучшим и авторитетнейшим литературным журналом России; во-вторых, за последнее время журнал приобрел несколько молодых постоянных авторов: В. Гаршина, Д. Мамина-Сибиряка — весьма перспективных, обещающих подарить читающей публике истинно художественные творения; в-третьих, если «Отечественные записки» будут закрыты, то Алексею Николаевичу грозит непоправимая нищета. Он, правда, и теперь не вылезает из нужды, а недавно, чтобы как-то выкарабкаться из нее, затеял «операцию» по перезалогу в банк материнского имения в Княгинине — с 26 мая 1881 года Алексей Николаевич был введен полным владельцем этого имения. Выезжал с этой целью специально в Нижний, но ничего дельного из этой «операции» не вышло, несмотря на помощь, которую оказывал Плещееву Александр Серафимович Гацисский — нижегородский общественный деятель, журналист, сотрудник ряда петербургских изданий. Огорченный неудачей перезалога имения, Плещеев пишет из Петербурга Гацисскому:

«Никак я не ожидал, чтобы эта операция в банке могла потерпеть неудачу. Всем она удастся и представляется самой обыкновенной заурядной вещью. Но мне всегда суждено было в жизни наткнуться на разные препятствия во всем, что бы я ни предпринял, что другие устраивают с чрезвычайной легкостью».

И опять приходится браться за газетную журналистику, заниматься компиляцией, но денег все равно не хватает — запросы членов семьи растут, хотя формально семья уменьшилась: старшин сын Александр

навсегда связал свою судьбу с театром, поступил в труппу Московского Малого и недавно успешно дебютировал в пьесе Островского «Правда — хорошо, а счастье лучше» в роли Платона.

И все-таки семейные расходы, даже минимальные, куда значительно, чем несколько лет назад: любимый Кока (Николай) поступил в Павловское военное училище, он молод, горяч, жаден до развлечений, и конечно же, ущемлять его отцу никак не хочется... А Лена, красавица Лена, так напоминавшая горделивой статью свою мать Еликониду Александровну?.. Молодые люди, навещавшие гостеприимную плещеевскую квартиру в Троицком переулке, ничуть не скрывали влюбленно-восторженных взглядов, когда Леночка появлялась в зале. Особенно усердствовал по этой части Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов) — «Леваша», как называл его ласково Алексей Николаевич — молодой офицер, участник военных сражений на Кавказе в 1877 году, но прежде всего — беллетрист, драматург, театральный критик и вообще весьма даровитый и очень милый человек. Но Лена, кажется, оставалась безучастной к ухаживаниям Леваша.

А как растерялся и смутился, когда впервые увидел Лену, немного неуклюжий и застенчивый Семен Надсон, ставший с недавнего времени тоже постоянным гостем плещеевского дома?

Надсон, как и Николай Плещеев, учился в Павловском военном училище, но двумя курсами старше. Судьба этого девятнадцатилетнего юноши, потерявшего в детстве родителей, вызывала сочувствие. Отец Надсона — из еврейской семьи, принявшей православие, умер в Киеве от психического расстройства, когда сыну Семену было два года. Мать — Антонина Степановна Мамонтова, происходившая из дворянской семьи, выходит замуж вторично, но неудачно (второй муж покончил с собой тоже в припадке умопомешательства) и вскоре умирает от чахотки. Маленький Семен остается на попечении дяди Д. С. Мамонтова, который определяет племянника пансионером во 2-ю петербургскую гимназию. По окончании гимназии Надсон по желанию дяди поступает в Павловское военное училище...

Этот застенчивый юноша, видимо, очень даровит, если судить по тем стихам, что опубликованы в «Слове», и в особенности по новым, которые он показал Алексею Николаевичу. Нет, совсем не зря поручил Плещеев своему сыну Николаю разыскать в училище начинающего стихотворца в юнкерском мундире: даже сердитому ворчуну Салтыкову стихи Надсона пришлись по душе, и тот усердно привлекает молодого поэта к сотрудничеству в «Отечественных записках». Только вот много еще у молодых людей — и у Леонтьева, и у Надсона — несерьезности,

смешанной с напускным разочарованием в жизни. А может, это у них и не напускное, а искреннее? Одному только 25 лет, а другому еще нет и двадцати — и уже разочарованы? Что же с ними будет, когда жизнь помытарит их?..

В присутствии Лены молодые люди пытаются выглядеть беззаботно-веселыми. Даже всегда углубленный в себя и потому несколько «дичившийся» шума Всеволод Гаршин стремится держаться «как все» и пробует шутить. Однако Алексей Николаевич чувствовал, что по крайне!! мере Всеволод-то как раз веселится ради Лены... Впрочем, в обществе Лены молодежи и те из завсегдатаев плещеевской квартиры, которые давно перешагнули «пору надежд и грусти нежной»: по-мальчишески резвился Модест Ильич Чайковский, блистал остроумием Скабичевский, виртуозно «репетировал» своего генерала Дитятин неистошимый на выдумки И. Ф. Горбунов; даже такие почтенные «старцы», как П. И. Вейнберг, А. И. Потехин, М. К. Клодт, изображали из себя галантных кавалеров этак двадцати-двадцатипятилетних и никак не старше...

Особенно шумной плещеевская квартира выглядела в устраиваемый день именин — 12 февраля. Сколько радости приносили Алексею Николаевичу эти ежегодные собрания друзей и товарищей, превращавшиеся в настоящие литературные праздники. Имей он, Плещеев, побольше средств, чем теперь, то, безусловно, устраивал бы подобные вечера и не только в день именин, а гораздо чаще, как, например, Петр Исаевич Вейнберг, в квартире которого с недавнего времени по средам стали собираться чуть ли не все лучшие петербургские литераторы, композиторы, художники, артисты, ученые столицы^[56].

К самому концу лета 1883 года русское общество и русскую литературу постигло новое горе: 22 августа под Парижем после мучительной болезни умер Иван Сергеевич Тургенев.

Похороны состоялись более чем через месяц после кончины, 27 сентября, и вылились в грандиозное шествие, напоминавшее и, может быть, даже превосходившее по всей величественности проводы в последний путь Некрасова и Достоевского.

Плещеев не причислял себя к ближайшим друзьям Ивана Сергеевича (хотя отношения между ними всегда были сердечными), но чрезвычайно высоко ставил все тургеневское творчество, выше Достоевского, Толстого и других первоклассных художников слова. Во многом разделял Алексей Николаевич и общественно-просветительские взгляды Тургенева с их... западной ориентацией — ведь он по-прежнему оставался верен идеалам 40-х годов...

Похоронили Ивана Сергеевича, как он и завещал, на Волковой кладбище, недалеко от могилы Белинского, — этот факт Алексей Николаевич особо выделил в своем стихотворении «27 сентября 1883 г. (на смерть И. С. Тургенева)», которое прочитал над тургеневской могилой при огромном стечении народа...

Вскоре после похорон Тургенева «Отечественные записки» подверглись новым правительственным гонениям. Второе предостережение было дано журналу еще в феврале 1883 года (за публикацию в январском номере «Современной идиллии» М. Е. Салтыкова-Щедрина), но затем наступило нечто вроде временного затишья. Но затишье оказалось недолгим и, самое грустное, обманчивым: правительство окончательно пришло к решению о закрытии журнала. После совещания в апреле 1884 года министров внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурора синода в «Правительственном вестнике» за № 87 было опубликовано «Правительственное сообщение», начинающееся следующими словами:

«Некоторые органы нашей периодической печати несут на себе тяжелую ответственность за удручающие общество события последних лет...»

И заканчивалось сообщение приговором, «обжалованию не подлежащим»:

«Присутствие значительного числа лиц с преступными намерениями в редакции «Отечественных записок» не кажется случайным ни для кого, кто следил за направлением этого журнала, внесшего немало смуты в сознание известной части общества. Независимо от привлечения к законной ответственности виновных, правительство не может допустить дальнейшее существование органа печати, который не только открывает свои страницы распространению вредных идей, но и имеет ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ».

20 апреля 1884 года журнал «Отечественные записки» был закрыт навсегда, и ответственный секретарь этого журнала... снова оказался в ряду других уцелевших от репрессий сотрудников — «вольным» литератором без каких-либо постоянных средств для жизни.

В ОКРУЖЕНИИ МОЛОДЫХ СОРАТНИКОВ

Он был тем притягательным комельком, около которого без всяких партийных церемоний отогревались люди самых противоположных интересов.

Иван Леонтьев (Щеглов)

Из «Воспоминаний».

*Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.*

Федор Тютчев

В начале 80-х годов Плещеевы переехали из небольшой квартиры в Троицком переулке в более просторную — на Спасской площади, и эта новая плещеевская квартира стала местом постоянных встреч молодых людей, пробующих свои силы в литературе и попавших под дружески-отеческую опеку Алексея Николаевича. Еще в конце 70-х годов познакомились с Плещеевым и удостоились его трогательного расположения Всеволод Гаршин, Иван Леонтьев (Щеглов), чуть позднее — Семен Надсон, Константин Станюкович, Александр Круглов, в свою очередь, всей душой полюбившие Алексея Николаевича, сердечно привязавшиеся к нему, — ведь для большинства из них он был поистине литературным «крестным отцом».

Молодые люди шли к своему Padre^[57] на Спасскую, разыскивали его на даче в Павловске, где Алексей Николаевич чаще всего проживал летом, забегали по понедельникам в редакцию «Отечественных записок», оставляя на плещеевский суд свои стихи, рассказы, повести, пьесы... И всегда встречали со стороны пожилого седобородого «патриарха» — часто

теперь прихварывающего, но сохранявшего всегда живую молодость духа, — самый радушный прием.

«...Он действительно был истинный, любвеобильный и попечительный Padre для всякого начинающего поэта, беллетриста, драматурга, для всякого мало-мальски даровитого, вступающего в жизнь юноши...» — вспоминал И. Леонтьев (Щеглов).

Плещеев был, конечно, не единственным из писателей старшего поколения, к кому тянулась литературная молодежь. Те же Гаршин, Надсон охотно и довольно регулярно посещали «пятницы» Я. Полонского, «среды» Л. Вейнберга, но, судя по их переписке между собой и с приятелями, нигде они не чувствовали себя столь свободно и раскованно, как в плещеевской квартире на Спасской.

Рабочий кабинет Алексея Николаевича и в квартире на Спасской не отличался по обстановке и размерам от прежних и был, по свидетельству И. Леонтьева (Щеглова), как всегда, «уютно-тесным и трогательно-скромным». В небольшой этой комнате с двумя окнами размещался письменный стол, всегда заваленный рукописями, журналами, газетами; здесь же, на столе, бронзовый бюст Тургенева, в рамках — фотографии детей. Над диваном, что напротив стола, — тропининский портрет Пушкина, а на высоком книжном шкафу — гипсовый бюст Герцена. В простенке, между окнами, литографический портрет Белинского...

Но молодые люди, когда собирались вместе, предпочитали большую часть времени проводить в зале, где музицировала Елена Алексеевна — дочь хозяина квартиры, а в кабинет самого хозяина заходили по одному, когда возникало сильное желание поделиться своими творческими замыслами с Padre.

Заходили в дом на Спасской отнюдь не только в дни званых обедов или ужинов. Некоторых Алексей Николаевич приводил к себе весьма часто, особенно тех, к кому чувствовал большую симпатию, а то и отеческую любовь.

К числу таких любимцев Плещеева и принадлежал Всеволод Михайлович Гаршин, первый рассказ которого «Четыре дня», опубликованный в десятой книжке «Отечественных записок» за 1877 год, свидетельствовал о недюжинном даровании автора. Рассказ этот Гаршин выслал в журнал вскоре после ранения (он участвовал добровольцем в русско-турецкой войне на Балканах) из Харькова. А через некоторое время Гаршин объявился в Петербурге и сам навестил в один из понедельников редакцию «Отечественных записок», где и познакомился с Плещеевым. Алексей Николаевич сразу проникся симпатией к нервному,

впечатлительному, очень застенчивому офицеру, пригласил его к себе домой, и с тех пор Всеволод Михайлович стал одним из наиболее желанных посетителей маленького плещеевского кабинета в доме на Спасской.

После публикации в «Отечественных записках» гаршинских рассказов «Происшествие», «Трус», «Встреча», «Художники» увлекающийся Алексей Николаевич везде и всюду, где ему приходилось бывать — у знакомых, в редакциях газет и журналов, — с восторгом говорил о молодом прозаике, называл Гаршина надеждой русской литературы. И очень обрадовался, узнав, что столь же высокую оценку творчеству Гаршина дали Тургенев и Толстой. Даже еще более посуровевший к старости Салтыков, кажется, благоволил Всеволоду Михайловичу. Однако Михаил Евграфович и тут, как всегда, озадачил Плещеева: не принял к печати чудесную вещь «Attalea grisea», назвав ее фаталистической. Плещеев же, напротив, усматривал в пессимистическом финале и подлинную правду безысходной окружающей действительности, и гимн «безумству храбрых». Но что мог сделать Алексей Николаевич в споре с непреклонным Михаилом Евграфовичем?.. Рассказ, правда, вскоре увидел свет на страницах нового журнала «Русское богатство» (редактировал его Н. Н. Златовратский), но «...как бы суровая непреклонность Салтыкова не отпугнула от «Отечественных записок» этого архиталантливого юношу», тревожился порой Плещеев.

С Гаршиным Алексею Николаевичу вообще было всегда хорошо, несмотря на неровность характера Всеволода Михайловича. Плещееву импонировала довольно высокая культура молодого беллетриста, поэтичность мироощущения, эрудиция, серьезное знание отечественной и западной литературы, естественных наук. Гаршин прекрасно разбирался в живописи, опубликовал еще до отъезда в армию несколько интересных статей в газете «Новости» о работах художников-передвижников, учеников Академии художеств...

Радовало старого пропагандиста культуры, что среди представителей молодого поколения есть, оказывается, люди, не ограничивающие себя какой-то узкой областью знаний, смотрящие на искусство не только с утилитарной точки зрения. Не обходилось, разумеется, и без споров, даже небольших, но очень кратковременных размолвок: так, например, Алексей Николаевич совсем не одобрял гаршинского пессимизма, когда речь заходила о будущем России, но относился к этим «заблуждениям» своего собеседника с мудрой снисходительностью — зная о психическом нездоровье Всеволода Михайловича, Плещеев считал, что такие «заблуждения» являются следствием не столько убеждений, сколько...

предубеждений, вызванных тяжелыми обстоятельствами жизни. Более критично реагировал Плещеев на увлечение Гаршиным некоторыми новыми толстовскими идеями (нравственного самоусовершенствования, самоотречения), ибо не принимал как раз то толкование, которое давал им сам Толстой. Однако частные разногласия не могли омрачить обоюдную привязанность двух людей, одаренных подлинным талантом человечности, — талантом сострадания.

Особенно доверительные и теплые отношения между Плещеевым и Гаршиным установились, когда Всеволод Михайлович после двухлетних странствий — в 1880 году он, выйдя к этому времени в отставку, неожиданно занемог душевно, покинул Петербург, много скитался, а потом большей частью жил в Харькове — вернулся в Петербург с намерением «обосноваться основательнее»: женился, поступил на службу секретарем канцелярии Общего съезда представителей русских железных дорог. С этого времени до самой трагической кончины Гаршин почти безвыездно жил в Петербурге, продолжал часто навещать плещеевскую квартиру на Спасской, где познакомился и подружился с двумя молодыми офицерами, обласканными Алексеем Николаевичем: капитаном И. Леонтьевым (Щегловым) — прозаиком, драматургом, публицистом и недавним выпускником Павловского военного училища подпоручиком С. Надсоном — поэтом, имя которого обретало популярность.

И. Леонтьев (Щеглов), как и Гаршин, был участником-добровольцем военных сражений 1877–1878 годов (только на Кавказском фронте), но теперь намеревался уйти в отставку и посвятить себя литературе. Мечтал о том же и С. Надсон.

До самозабвения увлеченный театром (на этой почве и сошелся с Плещеевым), Щеглов больше пропадал в актерской среде, а вот Гаршин и Надсон очень часто стали встречаться, вместе бывать на вечерах у Полонского, Вейнберга... Гаршин и Надсон, несмотря на некоторую возрастную разницу, считали самих себя детьми одного поколения и даже несколько общей судьбы: тот и другой — офицеры, оба разделяли идеи части народнической интеллигенции, охваченной в это мрачное реакционное время скепсисом, трагической безысходностью, с одной стороны, и в то же время продолжающей подспудно верить в «вождей и пророков», способных стряхнуть «тяжесть удушья и сна» (Гаршин, правда, и в «вождей» уже не верил); тот и другой с горечью признавали надломленность своих духовных сил. Все это, как и общность эстетических воззрений, способствовало скорому установлению между Всеволодом Гаршиным и Семеном Надсоном дружеских отношений, чему, конечно, не

мог не радоваться Плещеев. А Надсон боготворил Плещеева, считал его своим единственным «литературным крестным отцом». «Бесконечно обязан его теплоте, вкусу и образованию, воспитавшим мою музу», — вспомнил Надсон в «Автобиографии», в которой трогательно рассказал и о первом своем знакомстве с Плещеевым:

«...Темно и скверно было кругом, но на душе моей цвела и горела радужным блеском самая нарядная, самая благоуханная весна: вечер, о котором я вспоминаю, был вечером первого знакомства с маститым известным поэтом Плещеевым, обратившим внимание на мои стихи, напечатанные в журнале «Слово» и письменно пригласившим к себе «потолковать и познакомиться». Я был как в чад. Перед глазами моими неотступно стояла высокая, широкоплечая фигура с благородным и добрым лицом, с белыми волосами, откинутыми назад, и широкой «патриархальной» бородой, упавшей на грудь. Я слышал еще этот несколько глухой и усталый, но мягкий и задумчивый голос, и светлые перспективы широко открылись передо мной».

И действительно, после первой же встречи Надсона с Плещеевым перед юношей открылись двери... в самый авторитетный литературный журнал. Кроме того, Алексей Николаевич, почувствовав в Надсоне серьезный поэтический дар, истратил немало сил и энергии, чтобы создать для развития этого дара максимум благоприятных условий, давая непосредственные советы и рекомендации молодому поэту по отделке стихов, пропагандируя творчество Надсона, где только представлялось возможным: знакомым редакторам журналов и газет, на литературных вечерах, в письмах к деятелям искусства^[58].

Старых друзей оставалось все меньше и меньше (Островский и И. Аксаков — в Москве, а Салтыков дружить «не умел»), а натура у Алексея Николаевича всегда жаждала сердечной привязанности, коротких общений, не ограниченных иссушающими душу деловыми отношениями. Потому-то и приглашает Алексей Николаевич в свой дом молодых поэтов, прозаиков, драматургов, ночи напролет читает их пусть еще шероховатые по отделке, но искренние, взволнованные стихи, рассказы, повести и, если находит в них «искру божью», то прилагает все усилия, чтобы эти стихи, повести и рассказы пошли к читателям — в этом Плещеев видел свой прямой долг опытного литератора, равнодушного к судьбам отечественной словесности. Читает, восторгается, но иногда и ворчит, по-отечески упрекая своих молодых друзей, что работают они не в полную силу.

«Я прочел Гаршина. Рассказ хорош, оставляет впечатление, но от Гаршина ждешь большего», — пишет Алексей Николаевич 18 октября 1883

года Надсону, прочитав гаршинский рассказ «Красный цветок». И добавляет: «К январю или февралю Вы обязаны дать хорошее стихотворение в «Отечественные записки». Слышите ли — хорошее, а не только недурное». Строгую, весьма критическую оценку дает Плещеев стихам Д. С. Мережковского — восемнадцатилетнего юноши, которого Надсон привел однажды в плещеевский дом. Уже в первых стихах «Мережка», как прозвал Алексей Николаевич Мережковского, старый поэт уловил мистический туман и расплывчатость мысли...

Стихийно возникшее содружество молодых литераторов под покровительством Padre — Плещеева укреплялось: Щеглов и Надсон добились отставки и целиком отдались литературной работе, Гаршин, казалось, совсем выздоровел. Однако с закрытием «Отечественных записок» все почувствовали себя неуютно. Сам Плещеев опять попадает в капкан безденежья, снова через посредничество А. С. Гацисского пытается продать свое княгининское имение, но терпит неудачу: хотел продать землю крестьянам, однако те требовали рассрочки на многие годы, что для Алексея Николаевича в сложившейся ситуации было неприемлемо. А кулакам продавать не хотел, опасаясь, что «кулак... сок из крестьян выжимать станет». Надеялся еще Плещеев получить 800 рублей из Ярославля (сумма, удержанная банком при выкупе материнского имения в Пошехонье) и тем самым рассчитаться хотя бы чуть-чуть с долгами, но ожидаемой суммы не получил.

Долги растут, литературные гонорары становятся совсем ничтожными, снова подступает противное, опустошающее чувство брэнности жизни. И здоровье ухудшается: «сильные сердцебиения бывают и одышка», — сообщает Алексей Николаевич в одном из писем И. Щеглову...

Уже совсем было отчаялся Алексей Николаевич. «...Сколько приходится терпеть всяких неудач и невзгод, что порой совсем опускаются руки, и, не видя ничего лучшего впереди, рад был радешынек, если бы поскорей пришла на выручку смерть. Это без фраз и без всякого рисования. Просто устал нравственно и физически...» — «жалобится» Плещеев в письме к А. С. Гацисскому в январе 1885 года, но тут же делится с адресатом и приятной новостью.

«Здесь затевается журнал, редакция которого рассчитывает на ваше сотрудничество. Редактором его должна была бы быть не безызвестная вам, вероятно, Анна Михайловна Евреинова (доктор прав), уже просившая меня списаться с вами. Тут сгруппировался бы кружок очень порядочных людей...»

«Затевавшийся» журнал станет выходить с сентября 1885 года под названием «Северный вестник». В этот журнал Алексея Николаевича пригласили редактором беллетристического отдела «за очень хорошее вознаграждение», как писал он тому же А. С. Гацисскому, что в значительной степени избавляло поэта от беспросветного бедственного существования, которое снова угрожало ему.

Но не только ради «хорошего вознаграждения» согласился Плещеев работать в «Северном вестнике», а прежде всего потому, что возлагал надежды видеть журнал с «дельным направлением»: к сотрудничеству в нем приглашались многие бывшие авторы и сотрудники «Отечественных записок», да и редактор журнала Анна Михайловна Евреинова заслуживала доверия — видная деятельница женского движения, первая из русских женщин, удостоенная в 1875 году в Лейпцигском университете звания доктора права, уважаемая людьми, близкими по духу Алексею Николаевичу...

В горестную пору после закрытия «Отечественных записок» Плещеев, несмотря на трудности жизни, не прекращал собственного творчества. Правда, много хлопот доставляли проблемы «пристройки» сочинений в печати: в «Русской мысли», на сотрудничество в котором надеялись многие из авторов «Отечественных записок», публиковаться из-за придирок цензуры почти не было возможности, и Плещеев вынужден обращаться в такие незначительные издания, как «Еженедельное обозрение» и «Театральный мирок»^[59].

И с открытием «Северного вестника» Алексей Николаевич энергично включился в число постоянных авторов журнала, публикуя на его страницах компилятивную монографию «Публика и писатели в Англии в XVIII веке», цикл переведенных им стихов английского поэта-демократа Томаса Мура, «Ирландские мелодии» которого с увлечением переводил раньше.

Но значительную часть времени в этот период Плещеев отдавал организационной журнальной работе, стремясь привлечь в число сотрудников и авторов «Северного вестника» лучшие литературные силы. И тут тоже было не все просто. Отказался от сотрудничества М. Е. Салтыков-Щедрин: больной, ставший совсем раздражительным и обидчивым, Михаил Евграфович не пожелал печататься в подцензурном «Северном вестнике» и попросил Плещеева «прозондировать почву» в бесцензурных изданиях.

Жаль, конечно, что Салтыков пренебрегает услугами нового журнала, однако и его можно понять: столько он перетерпел от цензуры, особенно в

последние годы...

Другие сотрудники «Отечественных записок», в числе которых были Г. И. Успенский, Н. К. Михайловский, А. М. Скабичевский, тоже, как и Плещеев, были приглашены в «Северный вестник» и вместе с Алексеем Николаевичем сыграли в первые годы определенную роль в формировании «физиономии» нового журнала. Но редакция «Северного вестника» делала основную ставку на молодые литературные силы, и здесь Плещееву, безусловно, принадлежала первостепенная роль как человеку, пользующемуся не только безукоризненной репутацией, но и искренней, большой любовью у молодежи.

Алексей Николаевич, став одним из редакторов «Северного вестника», сразу же привлекает к сотрудничеству и Гаршина, и Надсона, и Леонтьева (Щеглова), и Круглова...

С большим интересом приглядывается Алексей Николаевич к молодому новеллисту Антону Чехову, часто помещавшему свои рассказы на страницах юмористических журналов «Осколки», «Стрекоза», в суворинской газете «Новое время» и выпустившему сборник «Пестрые рассказы». Не все в этом сборнике было Плещееву по душе, смущала некоторая легковесность молодого писателя, такая вызывающая разбросанность, но в лучших вещах Чехова Алексей Николаевич пронизательно улавливал подлинную зоркость художника, его глубокий ум и предсказывал в беседах с товарищами блестящее литературное будущее веселому, «многописучему» и... лично неизвестному пока писателю.

Из литераторов среднего поколения Алексей Николаевич выделял К. М. Станюковича, хотя весьма прохладно и даже иронично относился к его пухлым романам на бытовые темы, считал их «хуже боборыкинских», то есть не художественными вовсе...

Но Плещеев, сам толком не зная почему, верил в талант Станюковича^[60], испытывал к нему и большую личную симпатию. Когда в 1885 году Станюкович был обвинен в связях с русскими революционерами-эмигрантами и приговорен к ссылке в Томскую губернию, то Алексей Николаевич, рискуя репутацией «благонадежного», полученной, к слову сказать, не так уж и давно, пришел проводить Константина Николаевича в дальнюю дорогу.

Еще в бытность секретарем «Отечественных записок» Плещеев внимательно читал произведения неизвестного очеркиста с Урала, публикующего свои произведения в журналах «Дело», «Устой», «Вестник Европы» и подписывающего их либо Д. Мамин, либо Д. Сибиряк. Особенно понравился Плещееву роман «Приваловские миллионы»,

опубликованный в 10 номерах журнала «Дело» в 1883 году. Понравился масштабностью, прекрасным знанием жизни уральского края, его заводского быта. А вскоре Д. Сибиряк прислал большой очерк «Золотуха» и в «Отечественные записки», который Салтыков принял весьма доброжелательно. Затем Д. Н. Мамин-Сибиряк опубликовал в «Отечественных записках» очерк «Бойцы» и роман «Горное гнездо», и Алексей Николаевич с удовлетворением видел, как растет мастерство уральского прозаика, как мужает дарование этого «провинциального бытописателя». Однако Мамин-Сибиряк жил где-то в Екатеринбурге, отношения поддерживал в основном только с Салтыковым, а Алексей Николаевич был, в сущности, только читателем незнакомого уральца, которому, по словам Михаила Евграфовича, немногим больше тридцати лет — возраст не совсем, конечно, юношеский, однако сравнительно молодой, вселяющий надежду на дальнейший рост, будущее развитие...

А к молодежи (и не только литературной) Алексей Николаевич поистине «питал слабость», связывал с молодым поколением все надежды на будущее Родины, верил в ее силы, несмотря на жестокость правительственных репрессий, непрекращающиеся аресты, судебные процессы, верил, что она, молодежь, не уронит «знамя правды вечной и святой», та самая молодежь, от представителей которой получил Алексей Николаевич так много приветствий в дни, когда праздновался 40-летний юбилей его литературной деятельности.

Чествование 40-летней литературной деятельности Алексея Николаевича в Петербурге и в Москве состоялось несколько позже 60-летия поэта — последнюю дату Плещеев отметил, как всегда, очень скромно, в узком семейном и дружеском кругу, о чем сообщал, между прочим, чуть с грустинкой и чуть иронически в письме С. Я. Надсону от 23 ноября 1885 года: «Вы, конечно, не подозреваете, что вчера, в день моего рождения (мне исполнилось 60 лет, невеселый возраст!), Вы вместе с некоторыми юными поэтами преподнесли мне адрес с выражением сочувствия за то, что я на старости лет не исподлился. Инициатива шла от милейшего Всеволода Михайловича Гаршина, который не только сочинил и собственноручно написал этот душевный и очень тронувший меня адрес, но и подписался за Вас...»

Адрес, сочиненный Гаршиным, выражал Алексею Николаевичу горячую признательность молодежи за помощь, которую Плещеев оказывал начинающим писателям. Некоторые из старых литераторов (Я. П. Полонский, И. А. Гончаров), не зная содержания адреса, выразили

Плещееву сожаление, что составители адреса не известили их, и прислали отдельные письма юбиляру, исполненные тепла, задушевности, признания литературных заслуг Алексея Николаевича. Однако поздравления по случаю 60-летия в большинстве своем ничуть не отличались от тех, которые Алексей Николаевич получал ежегодно, а вот чествование его сорокалетней литературной деятельности 15 января 1886 года обернулось для поэта праздником, которого он и не чаял.

Сам Алексей Николаевич всегда считал свою литературную деятельность «рядовой», никоим образом не заслуживающей какой-то славы. И потому очень любил читать в кругу своих молодых друзей переведенные им незадолго до юбилея стихи из «Ирландских мелодий» Томаса Мура:

...Зачем говорите вы мне в утешенье,
Что слава должна услаждать мой закат...
Отдайте мне бурную смелость стремленья,
Отдайте мне юности слезы назад!

...А тут со всех концов России сотни, тысячи адресов от лиц разных возрастов, сословий, национальностей, политических взглядов, от организаций, обществ, кружков, о существовании некоторых из них Алексей Николаевич и не подозревал вовсе.

«Телеграмм и писем получил (и продолжаю получать) многое множество... Люди всех лагерей были на юбилее... Теперь — умирать пора. Другого такого не будет в жизни. Особенно горячо и сочувственно отнеслась ко мне молодежь. Даже от студентов духовной академии я получил поздравления», — растроганно писал Алексей Николаевич в Нижний Новгород А. С. Гацисскому через несколько дней после памятного дня 15 января.

А начался тот день с торжественного собрания (в ресторане Понсэ), на которое собралось 120 человек, в их числе были друзья и соратники поэта, представители различных организаций, союзов, кружков, пришедшие выразить свое уважение и признательность юбиляру. Самое деятельное участие в подготовке торжества приняли В. М. Гаршин, И. Л. Леонтьев (Щеглов), П. И. Вейнберг, артисты В. Н. Давыдов, П. А. Стрепетова и даже... А. С. Суворин. Председательствовал на этом собрании П. И. Вейнберг, который по поручению распорядителей празднества прочитал Алексею Николаевичу стихотворное послание, в котором были и такие

слова:

Сорокалетнею поэта годовщиной
Здесь ныне собрана товарищей семья.
Путь тяжко начатый, путь неприветно-длинный,
Ты доблестно прошел. Поэзия твоя
Ни на единый миг тебе не изменила,
Ни на единый миг не иссякали в ней
Ни вера в доброе, ни теплота, ни сила,
Ни задушевность первых дней...

Много было произнесено речей, прочитано стихов с выражением любви к Плещееву (все они были опубликованы на следующий день в «С.-Петербургских новостях»), зачитаны поздравительные письма и телеграммы от сподвижников, друзей, не сумевших приехать на празднество, от лиц, мало знакомых, а то и совсем незнакомых, но выразивших свою признательность поэту с не меньшей, наверное, трепетностью и сердечностью, чем друзья-соратники.

Действительно, разве не могло не растрогать письмо незнакомца, подписавшегося «редактором «Отголосков» (видимо, подпольного народовольческого сборника «Отголоски революции»), назвавшего в поздравительном адресе Плещеева «моим учителем», или коллективное послание петербургских студентов, в котором говорилось: «40-летний юбилей Вашей литературной деятельности, уважаемый Алексей Николаевич, дает нам повод выразить те теплые чувства, которые питает к Вам русская молодежь. Она никогда не забудет Вашего великого призыва:

Вперед! Без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!

Она никогда не изменит той светлой идее, которую Вы заповедали нам. Позвольте и нам, представителям учащейся молодежи, принести Вам наши горячие пожелания еще долгой и славной деятельности. Пусть впредь не умолкает Ваша лира, не раз ободрявшая нас:

Среди глубокой тьмы
Сияя нам звездою путеводной,

Буди в нас силы молодые,
На дело честное зови».

Но особенно дороги были для Плещеева поздравления литераторов-«могикан», с которыми он почти одновременно вступал на тернистую литературную дорогу: А. Н. Островского, А. Н. Майкова, И. А. Гончарова, который, сожалея о невозможности лично явиться на юбилейное празднество из-за расстроенного здоровья, пожелал Алексею Николаевичу, чтобы «произведения его симпатичного таланта еще многие годы продолжали украшать русскую поэзию».

Из Нижнего — из города, с которым связаны незабываемые детские годы, Плещеев получил проникновенное письмо от А. С. Гацисского, теплую телеграмму от В. Г. Короленко, от лиц, про которых Алексей Николаевич почти ничего не ведал, но которые, видимо, внимательно и пристрастно следили за творчеством своего земляка, восхищались его верностью идеалам молодости, его поэзией, оказывается, и не такой уж и «рядовой», как привык ее оценивать сам творец. А сколько приветствий из других мест: Москва, Ярославль, Тверь, Калуга, Оренбург, Самара, Пенза, Саратов...

Вечер в ресторане Понсэ закончился после торжественных речей, приветствий и тостов простонародной русской песней: артистка Стрепетова запевала, а все остальные присутствующие на торжестве дружно подтягивали. Дивное было зрелище: более ста голосов звучали так задорно и спаянно, что можно было воспринять эту спевку единожды собравшихся людей за вполне приличный хоровой ансамбль.

После торжества в помещении ресторана Понсэ в редакции «Северного вестника» собрались сотрудники журнала и преподнесли юбиляру серебряный венок. Здесь были уже хорошо знавшие друг друга лица, не один год проработавшие бок о бок с Алексеем Николаевичем: Михайловский, Скабичевский, Гаршин... За дружеским обедом Алексею Николаевичу снова говорили много сердечных и признательных слов.

А через несколько дней узнал Алексей Николаевич, что и в Москве его чествовали «чуть ли не еще душевнее», чем в Питере. Там тоже, оказывается, состоялся большой обед под председательством бывшего редактора «Русской мысли» С. А. Юрьева, произнесшего очень теплое слово о юбиляре и назвавшего Плещеева одним из тех литераторов, которых общество с полным основанием зовет учителями жизни. И опять же, как и в Петербурге, большие почести воздала юбиляру московская

молодежь — последнее вызывало в усталом и больном сердце поэта такие порывы восторга, какие случаются, может быть, один-два раза в жизни...

Юбилей отпразднован, а поздравительные письма Алексей Николаевич продолжал получать еще несколько месяцев. И какие письма! Василий Иванович Немирович-Данченко — молодой прозаик, поэт, считавший Плещеева своим наставником, покровителем, прислал из своего заграничного путешествия большущее послание, переполненное чувством благодарности и признательности:

«Всегда и везде чуждый эгоизму, высокомерию, самомнению, — писал Василий Иванович, — Вы не только ободряли, Вы отыскивали молодые таланты — шли им навстречу, и если история русской литературы ответит Вам, в чем нет сомнений, высокое место в ряду наших писателей, она оставит за Вами еще и почетное имя крестного отца многих наших молодых поэтов».

Старый петрашевец Николай Сергеевич Кашкин, доживающий свой век в Калуге, тоже до глубины души растрогал своим письмом.

«С искреннею радостью и живым сочувствием следил я из своей глухой провинции за всем, что относилось до празднования Вашего юбилея, — сообщал Кашкин. — Но вот в одной из них (юбилейных статей) я встретил выражение, что никто не откликнулся на призыв Ваш:

Домчатся ль к вам знакомых песен звуки,
Друзья моих погибших юных лет?^[61]

И живо представилась мне та минута, когда в деревенской глуши, куда загнала меня ссылка, я с радостным волнением прочел эти слова Ваши, и из меня, не слагавшего рифмы, вылилось несколько строк, которые я поспешно отослал для передачи Вам редактору журнала, напечатавшего Ваши стихи. Сейчас эти строки попались мне под руку, и я снова, не зная Вашего адреса, посылаю их через сына своего...

Прошла пора невзгод, гоненья,
И на знакомый голос твой
Из тишины уединенья
Откликнется привет живой.

Опять поешь ты, слава богу!
Иди вперед, не унывай.

Добра и правды на дорогу
Друзей ты громко призывай.

Вперед без страха и сомненья,
И если в ком остыла кровь,
Твои живые песнопенья
Его пробудят к жизни вновь».

Что и говорить: порадовал, очень порадовал душу Николай Сергеевич. А как обогрело сердце нежное, братское приветствие Александра Николаевича Островского.

Поздравительное письмо Островского оказалось своего рода завещанием-наказом для Алексея Николаевича — через четыре месяца великий драматург скончается в своем имении Щельково Костромской губернии. Еще раньше в Москве умер Иван Сергеевич Аксаков — другой близкий Плещееву человек. Человек кристальной честности, с гордостью заявлявший о себе, что **«никаким награждениям знаками отличия не подвергался»**.

В некрологе «Памяти Ивана Сергеевича Аксакова», опубликованном во второй книжке «Северного вестника» за 1886 год и подписанном редактором журнала А. М. Евреиновой, говорилось: «...Помянем мы честность, искренность, беззаветную любовь к освобожденным братьям и непоколебимую веру в мощь и творческую силу своего народа дорогого нам общественного деятеля и русского патриота... Сколько раз приходилось нам слышать от него, что жизнь есть подвиг в борьбе с ложью, этим непримиримым врагом человечества, и что стремление к искренности должно стать главной задачей в жизни». Это мнение об И. С. Аксакове целиком разделял и Алексей Николаевич...

Известие же о кончине Островского буквально оглушило Плещеева: еще совсем недавно Александр Николаевич, получивший назначение на должность заведующего репертуарной частью московских театров, выглядел прямо-таки молодцом, энергия бушевала в нем — и вот такая трагическая новость... Предполагая, что похороны Александра Николаевича будут в Москве, Плещеев даже намеревался поехать на них, но потом узнал, что покойный завещал предать его прах костромской земле вблизи Щельково, в Николо-Бережках. Однако поехать на похороны старого друга и великого драматурга России Алексей Николаевич все равно намеревался (земля-то костромская к тому же и родина Алексея

Николаевича!), и только неважное здоровье — опять участилась одышка с наступлением промозглой питерской весны — помешало осуществлению такого намерения.

«Что же, Padre Плещеев, не пора ли и тебе последовать примеру друзей-товарищей?» — задавался теперь частенько таким вопросом Алексей Николаевич. «Ведь по пальцам можно пересчитать тех из нашего поколения, кто еще дюжит: Гончаров, Майков, Полонский, Салтыков... В Астрахани поселился после сибирской каторги великомученик Николай Гаврилович Чернышевский... Как он, Николай Гаврилович, теперь? Сказывают, что здоровье его совсем подорвано... Но ум-то, наверное, гее такой же острый и подвижный? Или за четвертьвековое бремя мытарств Николай Гаврилович утратил и это свое могучее оружие?..»

Да, ряды старых товарищей и соратников редели; эго переживалось тяжело, но воспринималось все-таки как неотвратимо-закономерный факт. А вот уход из жизни новых молодых друзей казался зловеще-роковым... В Ялте от чахотки умер Надсон, не дожив и до двадцатипятилетия. Умер, не успев сделать и десятой доли того, что обещал его талант, — отчего такая жестокость судьбы?

Опять тяжело заболел Гаршин. Еще на похоронах Надсона 4 февраля 1887 года (из Ялты Семена Яковлевича привезли в Петербург и похоронили на Волковом кладбище, на Литераторских мостках) Всеволод Михайлович выглядел вполне здоровым, несмотря на угнетенное состояние, вызванное смертью друга. В этот день Гаршин заехал к Плещееву на Спасскую, и они вместе поехали на кладбище. Там же, над свежим могильным холмом своего покойного друга, Всеволод Михайлович прочитал наизусть стихотворение Полонского, посвященное памяти усопшего Надсона...

И до этой поры Гаршин чувствовал себя не так уж плохо, хотя, к удивлению всех поклонников его таланта, почти ничего не писал. Алексея Николаевича тоже смущало затяжное молчание Всеволода Михайловича, но тот уверял, что работает над большим историческим романом из эпохи Петра Великого, и это в какой-то мере успокаивало старика. Кроме того, Гаршин, избранный членом комитета Литературного фонда (Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым), с энтузиазмом включился в деятельность комитета, принимая участие в устройстве того же плещеевского юбилея по случаю 40-летия литературной деятельности поэта, вечере в память А. Н. Островского, энергично включился в работу по подготовке приближающегося юбилея Я. П. Полонского (50-летие литературной деятельности). — все это производило впечатление полного душевного выздоровления Всеволода Михайловича. Частые встречи у

Плещеевых, у Гаршиных на Невском, на «пятницах» у того же Я. П. Полонского, на которые приходили виднейшие деятели культуры, еще больше сблизили Алексея Николаевича и Всеволода Михайловича, поэтому известие о том, что вскоре после похорон Надсона Гаршин почувствовал себя хуже, встревожило Плещеева, и он незамедлительно навестил больного.

Особенного кризиса в гаршинском состоянии Плещеев не обнаружил: обычная ипохондрия, в которую Всеволод Михайлович впадал, пожалуй, каждую весну. Оба много говорили о состоянии литературных дел. Несмотря на некоторую раздражительность, Гаршин говорил очень умно, а порой даже вдохновенно. Помянули покойного Надсона, которого оба искренне любили: Всеволод Михайлович вспомнил о том вечере на плещеевской квартире, когда он впервые познакомился с безвременно ушедшим поэтом, тогда еще совсем юным офицером. И неожиданно для Алексея Николаевича спросил:

— А почему вы, Алексей Николаевич, не сложили покойному Семену прощальную песню? Вон Яков Петрович Полонский написал такое прекрасное душевное стихотворение, хотя Надсон и не был с ним столь близок, как с вами. А вас он мало сказать любил, он боготворил вас, Padre. Да и вы, по-моему, были к Семену привязаны больше, чем к кому-либо из молодых.

— Да, Всеволод Михайлович, вы правы: я очень любил покойного Семена Яковлевича... А прощальной, как вы сказали, песни сложить потому и не смог, что было мне, мой друг, очень тяжело. Да и какой я нынче стихотворец, так, одна зола осталась. А Яков Петрович — еще молодец! Да и поэт он не чета мне — он, как говорится, поэт милостью божьей, а я ведь — из резонеров...

— Полноте, Алексей Николаевич, зачем вы говорите такое. — Гаршин даже как-то торопливо перебил Плещеева. А потом уже чуть задумчиво продолжал: — Вы, Padre, не только тоже поэт милостью божьей, о чем, кстати, на вашем юбилее сказано всеми, но вы еще и гражданская совесть поэзии. А о том, что вы прекрасный поэт, говорит хотя бы недавнее ваше стихотворение «В альбом Антону Рубинштейну», которое я прочитал в «Ниве» летом прошлого года.

— Ох, опять славословите вы старика не по заслугам. Юбилей мой прошел, хватит толковать о моих достоинствах, да и стих-то, который вы упомянули, слабенький, — сказал Алексей Николаевич и заговорил о молодых литераторах, расхваливая Короленко и Чехова.

Гаршин согласился с высокой оценкой Алексеем Николаевичем

творчества Короленко и Чехова.

— Да, Короленко — это настоящая сила. Чехов тоже чертовски талантлив, но уж очень разбросан. А в «Северный вестник» он ничего не присылал, Алексей Николаевич? Надо бы привлечь вам этого Чехон-тс — талант неподдельный, и реалист до мозга костей, в отличие от нас, романтиков. — Всеволод Михайлович произнес эти слова несколько вяловато, и Алексей Николаевич уловил в горящем взгляде своего собеседника нечто вроде грустной зависти, хотя отлично знал, что как раз чувства зависти Гаршин был лишен начисто.

— Вы совершенно правы, мой друг: надо бы Чехова вытащить в толстый журнал. Лелею мысль, что он станет автором «Северного вестника», возможно, даже в этом году, — Плещеев хитровато улыбнулся в свою седую «патриархальную» бороду. Потом добавил: — Всеволод Михайлович, мы и от вас, «романтика», ох как ждем новых вещей. Вот окрепнете в Крыму и одарите нас новой повестью даже покрепче, чем «Надежда Николаевна», верно? — Плещеев был не очень высокого мнения о повести Гаршина «Надежда Николаевна», опубликованной в «Русской мысли», совсем не разделяя, впрочем, мнения А. М. Скабичевского, печатно назвавшего гаршинскую повесть «романтической и мелодраматической чепухой».

— И снова какой-нибудь Скабичевский с ученым апломбом окрестит ее вздором? — Всеволод Михайлович тоже улыбнулся широко и открыто, совсем успокоив Алексея Николаевича.

— Да тут уж я, право, не знаю, что вам ответить. Но думаю, что Гаршин теперь уж достиг той творческой и жизненной зрелости, когда прекрасно обойдется и без «руководящих указаний» не только Скабичевского или Михайловского, но и самого... Льва Толстого.

— Опять вы, Алексей Николаевич, хотите упрекнуть меня в толстовстве. Но на вас я не рассержусь, перед отъездом в особенности, потому что я вас слишком высоко уважаю и люблю. — С этими словами Гаршин подошел к Плещееву и крепко обнял милого Padre.

Всеволод Михайлович действительно вернулся с юга окрепшим, а для стороннего взгляда — совсем здоровым. В Петербург он приехал как раз накануне юбилея Полонского, привез юбиляру ветку с пушкинского дерева в Гурзуфе, намеревался выступить с поздравительной речью, но по неизвестным причинам речь эту не произнес, хотя относился к Полонскому с большим уважением.

Зато большую речь произнес на юбилее Алексей Николаевич Плещеев, которому выпали те же обязанности, что и П. И. Вейнбергу на его,

плещевском, юбилее.

От имени столичных литераторов Плещеев зачитал Полонскому поздравительный адрес, сказал прочувствованное слово и от себя лично, ибо всегда высоко ценил поэтическое дарование Якова Петровича. Плещеевское приветствие дало повод М. Е. Салтыкову в письме к одному из знакомых выразить недоумение, что старый петрашевец оказался в тесной компании с такими столпами правительственной иерархии, как министр финансов Вышegradский, бывший критик-славянофил, а теперь крупный чиновник Третий Филиппов и Катков (последний прислал Полонскому теплую поздравительную телеграмму). Ирония Салтыкова была вызвана, видимо, еще и тем, что юбилей Полонского действительно носил весьма официальный характер: правительство установило юбиляру почетную дополнительную пенсию в 2500 рублей, много было произнесено пышных речей, но не было обстановки непринужденности и раскованности, которая располагала бы к откровенности...

И ожидаемой Плещеевым крупной вещи для «Северного вестника» Гаршин тоже не написал (до этого в журнале был опубликован лишь Гаршинский рассказ «Сигнал»), поэтому его сотрудничество с журналом, вопреки надеждам Алексея Николаевича, ограничилось публикацией в третьем номере за 1887 год «Заметок о художественных выставках». Но бог с ними, с новыми рассказами и повестями, они напишутся, если будет здоровье, если меланхолия не возьмет его снова в полон. Конечно, грустно, что похвастаться по части беллетристики «Северному вестнику» нечем... Рассказы Короленко хороши, Успенский по-прежнему читается публикой с живейшим интересом, однако потребность в новых талантах ой-ой как велика. И в талантах настоящих, как, например, Чехов...

Антон Павлович Чехов к этому времени поддерживал уже тесные контакты с рядом петербургских литераторов: публиковал свои рассказы в «Новом времени» Суворина, переписывался с маститым Григоровичем, которого очень высоко ценил и который, в свою очередь, первым из крупных писателей выделил Чехова из среды молодых беллетристов, отметил настоящий талант молодого рассказчика и советовал ему бережно и серьезно воспитывать дарование, бросить газетные побрякушки и написать что-нибудь крупное. Дмитрий Васильевич Григорович «натолкнул» на Чехова в какой-то мере и Плещеева, расхваливая однажды на заседании театрально-литературного комитета рассказы малоизвестного Чехонте. Алексей Николаевич, недолголюбивавший Григоровича еще с юношеских лет, не особо доверявший и вкусу автора «Антон Горемыки»,

на этот раз сильно заинтересовался новым кумиром Дмитрия Васильевича и внимательно прочитал «Пестрые рассказы» Чехонте — Чехова. Прочитал и почувствовал в авторе первостепенного художника слова, стал внимательно следить за всеми публикациями молодого новеллиста, радовался его крепнувшему мастерству.

Новый чеховский сборник рассказов «В сумерках» особо пленил Алексея Николаевича поэтичным изображением природы. «Когда я читал эту книжку, передо мной незримо витала тень И. С. Тургенева. Та же умиротворяющая поэзия слова, то же чудесное описание природы», — рассказывает Плещеев одному из знакомых. А в декабре 1887 года состоялось и личное знакомство Плещеева с Чеховым.

Чехов приехал из Москвы в Петербург 30 ноября, остановился в гостинице «Москва», где его 9 декабря «подкараулил» жаждущий познакомиться с ним Иван Леонтьевич Леонтьев (Щеглов). А на следующий день по просьбе Антона Павловича Леонтьев ведет Чехова к Плещееву.

«Алексей Николаевич при виде Чехова пришел в некоторое трогательное замешательство... И вот не прошло получаса, как милейший А. Н. был у Чехова в полном «душевном плену» и волновался, в свою очередь, тогда как Чехов быстро вошел в свое обычное философско-юмористическое настроение... Загляни кто-нибудь случайно тогда в кабинет Плещеева, он, наверное бы, подумал, что беседуют давние близкие друзья... Да, явился Чехов к Плещееву почти чужим человеком, а вышел от него закадычным приятелем...» — вспоминал Щеглов.

В следующую встречу все трое (Плещеев, Чехов и Щеглов) и в самом деле уже закадычными приятелями обедают в ресторане, где Антон Павлович своими бесподобными импровизациями окончательно влюбил в себя старого поэта.

В этот день Алексей Николаевич подарил Чехову свою книгу «Стихотворения А. Н. Плещеева», изданную в 1887 году и включившую в себя почти все стихи и переводы поэта за 40 лет (с 1846 по 1886 год) с надписью «Антону Павловичу Чехову на добрую память от автора»^[62]. За день до отъезда из Питера Антон Павлович еще раз навестил гостеприимную квартиру Алексея Николаевича на Спасской, где встретился и познакомился с некоторыми из плещеевских друзей, среди которых был и В. М. Гаршин. С этого периода между Плещеевым и Чеховым завязывается интенсивная переписка, этот же период можно с полным основанием считать прологом к постоянному сотрудничеству Антона Павловича в «Северном вестнике».

Следуя советам Григоровича, Короленко и, наконец, откликаясь на просьбу Плещеева написать что-либо для «Северного вестника», Чехов с увлечением берется за первую свою крупную вещь — повесть «Степь». В письмах к Алексею Николаевичу Чехов подробно делится замыслом этого произведения, называя его «степной энциклопедией», высказывает сомнения в своих силах, опасаясь сорваться «с того тона, каким начал», и, между прочим, обращается к старому поэту с такой просьбой: «Дебютируя в толстых журналах, я хочу просить Вас быть моим крестным батюшкой».

С удовольствием и не без гордости принимая эту просьбу, Плещеев с нетерпением ждет от Чехова повесть, а при получении рукописи «Степи» пишет Антону Павловичу восторженный отзыв на нее: «Не мог оторваться, начавши читать. Короленко тоже... Это такая прелесть, такая бездна поэзии, что я ничего другого сказать Вам не могу и никаких замечаний не могу сделать, кроме того, что я в безумном восторге. Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность...»

Но некоторые члены редакции «Северного вестника» к повести Чехова отнеслись довольно сдержанно, и среди них были Михайловский и Глеб Успенский. Признавая чеховский талант, оба обвиняли писателя в безыдейности, в том, что он идет «по дороге не знамо куда и незнамо зачем», однако Плещеев решительно выступил в защиту нового произведения Чехова. Спор «вокруг Чехова» обострил разногласия сотрудников редакции, возникшие прежде всего из-за диктаторских замашек Н. К. Михайловского, заведовавшего критическим и научным отделами в журнале.

Николай Константинович и всегда-то отличался склонностью повелевать, но в последнее время, видимо, возгордившись своим немалым влиянием на русскую интеллигенцию, и вовсе стал выказывать свой редакторский «вождизм»: бесцеремонно начал вмешиваться в планы беллетристического отдела, которым ведал Плещеев, настаивая на публикации хотя и слабых, но идейно близких ему, Михайловскому, вещей, причем зачастую, если Плещеев отвергал эти требования, то Михайловский угрожал выходом из редакции журнала. Долго терпел Алексей Николаевич капризы Михайловского («...мне уже несколько раз приходилось выносить довольно неприятные щелчки моему самолюбию, и только нежелание усиливать распри, делать скандал заставляло меня сдерживаться, хотя не раз у меня являлось желание крупно поговорить с ним», — писал Плещеев в Нижний Короленко), но избежать раскола в редакции не удалось: в марте 1888 года Михайловский, а затем и Глеб Успенский оставили «Северный вестник». Потеря для журнала ощутимая, да и лично Алексей Николаевич

тяжело переживал этот раскол, ибо не только высоко ценил дарования Михайловского и Успенского, но и многие годы связан был с ними дружескими отношениями.

Новые критики, которые с недавнего времени стали сотрудничать в журнале — Н. А. Протопопов и А. А. Вольнский (Флексер), конечно, не в состоянии заменить Николая Константиновича. Протопопов, кажется, и не без дарования, но уж очень горазд видеть в литературе утилитарную прислужницу идейным «веяниям», и только. Михайловский тоже как будто бы не жаловал чистое художничество, но все-таки никогда не игнорировал эстетическую сторону, а Протопопов готов всю литературу свести к голой публицистике.

Что же касается бойкого Флексера-Вольнского, к которому уж очень стала благоволить Анна Михайловна Евреинова, то эта личность вызывала у Алексея Николаевича неприкрытое раздражение: суетлив, беспринципен, способности средние, а оригинальничанья пруд пруди. Корчит из себя эстета, морщится и отворачивается от «утилитаристов-шестидесятников», но за всем этим нередко скрывается внутреннее убожество, схоластическая накипь и такое порой верхоглядство, что у Плещеева, если ему доводилось присутствовать при разглагольствовании Акима Львовича, всегда возникало желание выйти из комнаты, и только «джентльменская» воспитанность помогала поэту вести себя с Флексером в рамках приличия...

Большая отрада для Алексея Николаевича в эту пору работы в журнале — интенсивная переписка с людьми, близкими по духу — с Короленко и Чеховым. Всей душой поддерживает Плещеев идею Короленко совершить втроем (Короленко, Чехов, Плещеев) путешествие по Волге. Еще бы: навестить места, где прошло детство и юность, навестить проживающего в Астрахани Чернышевского — разве это не заманчиво?.. Если здоровье позволит — непременно надо проехаться по великой русской реке и непременно уговорить Чехова, сообщавшего о намерении взяться за роман, довести эту работу до конца.

«Нечего говорить Вам, — пишет Плещеев Чехову, — что Вашего романа я буду ждать как манны небесной... ибо считаю Вас в настоящее время самой большой художественной силой в русской литературе... [\[63\]](#) Сколько я похвал слышу Вашей «Степи». Гаршин от нее без ума. Два раза подряд прочел. В одном доме заставил меня вслух прочесть эпизод, где рассказывает историю своей женитьбы мужик, влюбленный в жену...»

Чехов отвечает Плещееву очень теплыми письмами, посвящая поэта в творческие планы, заверяет Алексея Николаевича, что, несмотря на раскол

в «Северном вестнике» (Чехов сожалел об уходе Михайловского), он непременно будет сотрудничать в журнале. В марте 1888 года Чехов снова приезжает на несколько дней в Петербург, опять навещает Плещеева. А в Москве в гости к Чехову заглядывают сначала младший сын Плещеева Николай — офицер Павловского полка, потом старший, Александр — актер и начинающий драматург, — и оба встречают радушный прием в чеховской семье. Чехов приглашает и самого Алексея Николаевича приехать летом 1888 года погостить на снятую Антоном Павловичем дачу в село Луки Сумского уезда Харьковской губернии, и старик Плещеев принимает приглашение своего молодого друга.»

Но до поездки этой нежданно-негаданно происходит трагедия: 20 марта В. М. Гаршин бросается с четвертого этажа в пролет лестничной клетки.

В хирургическое отделение Красного Креста на Бронной, куда Гаршин был доставлен с сотрясением мозга и сломанной ногой, Плещеев, узнав о несчастье 24 марта, приехал... к другу уже умершему.

Причина самоубийства обескураживала: Гаршин, еще недавно заглядывавший в плещеевскую квартиру, вовсе не производил впечатления тяжело больного. Он интересно толковал о литературных новинках, восторгался чеховской «Степью», говорил, что Чехов как будто воскресил его и он чувствует себя так хорошо, как никогда не чувствовал. Собирался съездить на Кавказ и провести там лето с семьей художника Ярошенко, с которым был давно дружен. И вдруг такая трагедия...

На дачу к Антону Павловичу Чехову Плещеев все-таки поехал, хотя и выбрался из Петербурга не без труда. Сначала Алексей Николаевич совсем уж было собрался выехать в Сумы в начале мая, о чем извещал Чехова в апрельском письме, упрашивая Антона Павловича не заботиться «о комфорте, подобающем моему «чину», но редакционные дела задержали его в Питере до середины мая.

Чеховы приехали в Луки Сумского уезда в первой декаде мая, приехали всем семейством: мать, братья, сестра. А к концу месяца к ним прибыл Плещеев, радушно встреченный как семейством Антона Павловича, так и хозяевами дачи — близкими знакомыми Чехова Павлом Михайловичем и Еленой Михайловной Линтваревыми, милыми интеллигентными людьми (Павел Михайлович — земский деятель, а Елена Михайловна — врач), к которым Алексей Николаевич проникся самым искренним уважением.

«...Три недели прожил я на юге, и несмотря на то, что погода эти три

недели не постоянно была хороша, но все-таки сравнительно с нашей это была благодать... И в продолжение этих трех недель, которые я там прожил, меня окружали таким вниманием и участием, относились ко мне с такой сердечностью, что я был глубоко тронут. Место необыкновенно живописное; мы ездили по окрестностям, катались на лодках по реке Пселу, совершали большие прогулки, и я с большим сожалением уехал оттуда», — делился Алексей Николаевич своими впечатлениями о своей поездке в «Милую Чехию», как он любовно назвал дружное чеховское семейство, «где нет ни светской чопорности, ни карт, ни пошлой болтовни, с пустою жизнью неразлучной, но где в трудах проходят дни».

Чехов, глубоко уважая Алексея Николаевича, в то же время в отличие от многих молодых литераторов, близких поэту, не так уж и нуждался в плещеевской опеке. Это прекрасно чувствовал и сам Плещеев, не допуская в отношениях с Антоном Павловичем никаких наставнических рекомендаций и ограничиваясь всегда дружескими советами.

Еще перед отъездом в Сумы Чехов просил Плещеева дать оценку рассказам молодых журналистов Н. А. Хлопова и В. А. Гиляровского и очень обрадовался положительным отзывам Алексея Николаевича о них^[64]. Да и высылая «крестному батьке» свои сочинения, Чехов просит последнего судить их по самому строгому счету и очень часто принимает большинство замечаний Алексея Николаевича. Так, например, Антон Павлович сначала не хотел соглашаться с критическими требованиями Плещеева по поводу рассказа «Именины» и просил Алексея Николаевича опубликовать рассказ без какой-либо правки, но вскоре в письме к Плещееву почти целиком согласился с критикой Алексея Николаевича и для отдельного издания переработал рассказ с учетом плещеевских рекомендаций.

Внимательно прислушался Чехов к замечаниям Плещеева, касающимся рассказа «Скучная история». В целом это произведение Алексей Николаевич ставил очень высоко («...у Вас еще не было ничего столь сильного и глубокого, как эта вещь...»), но очень точно отметил ряд стилистических погрешностей, указал на некоторые «затемненные» места, советовал изменить заглавие рассказа. Не согласившись с некоторыми замечаниями и отказавшись от перемены заглавия, Чехов все-таки выражает большую признательность Плещееву «за указания, которыми, — пишет Антон Павлович, — я непременно воспользуюсь, когда буду читать корректуру», — и воспользовался ими действительно.

Плещеев же со своей стороны необыкновенно чутко относился к авторскому самолюбию Чехова, шел на уступки, хотя опытное редакторское

чутье почти не изменяло ему, и многие из шероховатостей, которые он замечал, были впоследствии устранены самим Антоном Павловичем. «Да и как не идти на уступки Чехову, талант которого набирал силу не по дням, а по часам! Вдруг возьмет и прекратит сотрудничество с «Северным вестником»? Короленко вон совсем было отказался давать новые вещи вскоре после ухода из редакции Михайловского, но, слава богу, все-таки решил продолжать сотрудничество. И так Антон Павлович многие рассказы (и какие превосходные) отдает Суворину в «Новое время», причем вполне серьезно толкует о том, что, публикуясь в «Новом времени», он делает доброе дело, полагая, что читателю лучше «пережевать» его «индифферентный рассказ», чем какой-нибудь «ругательный фельетон» Буренина. Милый, умный, талантливейший Антон Павлович никак не хочет согласиться с тем, что хитроумный Суворин пользуется его, Чехова, именем, его растущей известностью... для приобретения нового числа подписчиков, для прикрытия залысин своего либерализма, давно слинявшего и обесцвеченного...»

А с беллетристикой в «Северном вестнике» опять худо: Короленко отдал все же рассказы в «Русскую мысль», Григорович, обещавший новую повесть, заигрывает с «Русским вестником», кажется, неплохую повесть предложил Боборыкин, но все-таки, это всего лишь «что-то», а надобно бы иметь в запасе и кое-что настоящее, свежее по мысли и талантливое по исполнению... И бомбардирует старик Плещеев Антона Павловича просьбами: «Ради бога, голубчик, давайте что-нибудь... хоть маленький рассказец, а если два, то еще лучше...»

Чехову можно рассказать обо всем: рассказать и о неприятностях по службе у младшего сына, и о маленькой радости в связи с избранием почетным членом Общества искусства и литературы, похвалить больного Салтыкова, который «перещеголял молодых и здоровых писателей», и побранить даже высокочтимого Чеховым Григоровича — Антон Павлович все поймет и всегда душевно отзовется, он стал совсем близким человеком. Сохраняется и крепнет семейная дружба: дети Алексея Николаевича, приезжая в Москву, обязательно навещают Чеховых, а Чеховы, заглядывая в Питер, непременно навещают плещеевскую квартиру на Спасской.

В конце апреля 1889 года умер Михаил Евграфович Салтыков — человек, которого Плещеев искренне и глубоко уважал; из всех, вступивших на литературную дорогу в 40-е годы и доживших до сумеречной поры 80-х, эти два очень разных по психологическому складу человека сохранили великую веру юношеским идеалам: «Борьбе с

гнетущей силой зла».

Со смертью М. Е. Салтыкова Плещеев, в сущности, потерял последнего из собратьев по перу, с кем вместе входил в литературный мир единомышленников. Ведь позиции оставшихся «патриархов» (Григоровича, А. Майкова) никогда не были близки Плещееву. И хотя в поздравительном письме А. Н. Майкову по случаю полувековой литературной деятельности последнего Алексей Николаевич с особенным удовольствием вспоминал ту пору, когда он, начинающий литератор, встретил в майковском семействе много теплого участия и одобрения, но участие-то проявил прежде всего покойный брат Аполлона Николаевича Валериан... Салтыков же при всей суровости своей и желчности всегда оставался для Плещеева человеком близкого лагеря и потому всегда приходившим на помощь в трудные минуты...

Прочувствованно-глубокий некролог Салтыкову написал недавно ушедший из редакции Протопопов. Узкий вроде бы человек, очень уж склонен к прямолинейному и утилитарному взгляду на искусство, а своеобразие и силу сатиры Салтыкова уловил верно. Анна Михайловна Евреинова дает понять, что Протопопов снова вернется в редакцию журнала — бог с ним, человек он не бесталаный...

Чехов и тут лучше других почувствовал плещеевское состояние, вызванное смертью Салтыкова: получив известие о кончине сатирика, Антон Павлович пишет Алексею Николаевичу соболезнующее письмо, в котором дает очень точную и глубокую оценку его деятельности.

«...Мне жаль Салтыкова, — писал Антон Павлович, — это была крепкая, сильная голова. Тот сволочный дух, который живет в мелком, измощенничавшемся душевно русском интеллигенте среднего пошиба, потерял в нем самого упрямого и назойливого врага. Обличать умеет каждый газетчик, издеваться умеет и Буренин, но открыто презирать умел только Салтыков. Две трети читателей не любили его, по верили ему все. Никто не сомневался в искренности его презрения...»

Антон Павлович прав, но фигуру Салтыкова он видит обобщенно, на фоне окружающей сатирика литературной партии, а для Плещеева Михаил Евграфович был еще и многолетний собеседник из числа наиболее умнейших и проницательнейших. Ведь теперь здесь, в Питере, и душу-то отвести не с кем, потому и приходится заглядывать в общество Суворина — у того хоть, несмотря на неприкрытое лицемерие, чувствуется высокая культура, образованность, острота ума, словом, живы еще те качества, которыми были сполна наделены сверстники Плещеева — «люди 40-х годов»...

В стране ничуть не слабеет правительственный гнет, а после неудачи готовящегося народовольцами покушения на Александра III 1 марта 1887 года еще более усилился. Аресты, казни, каторжные и ссыльные наказания увеличиваются, ряды стойких и решительных борцов с реакцией редуют...

А через полгода после Салтыкова в Саратове скончался Н. Г. Чернышевский почти в полной изоляции от друзей и сподвижников. Как хотел Плещеев навестить Николая Гавриловича, но так и не успел: намечаемая вместе с Короленко и Чеховым поездка по Волге не состоялась ни в 1888 году, когда Чернышевский жил в Астрахани, ни в 1889 году, когда освобожденному «государственному преступнику» разрешили поселиться в родном Саратове...

И какая все-таки несправедливость: умирает один из выдающихся деятелей культуры, но многие предпочитают хранить молчание, дабы не обострять отношений с властью имущими. В письме к А. С. Гацисскому в Нижний, касаясь «церемоний», связанных со смертью Чернышевского (в Нижнем Короленко, Елпатьевский, Гацисский др. предложили создать литературный фонд имени покойного), Плещеев отмечает: «Да, надо сказать правду, что провинция смелее Петербурга. Здесь, как мне известно, ни из одной редакции не послано венка. Не знаю даже, послал ли кто вдове телеграмму. Все боятся себя компрометировать».

Сам-то Алексей Николаевич незамедлительно выслал вдове Чернышевского соболезнование, выразив в нем дань глубочайшего уважения памяти Николая Гавриловича, с именем которого у поэта связаны «воспоминания... о лучшей поре жизни», принял деятельное участие в написании некролога покойному для «Северного вестника», но вот за других петербургских литераторов старик Плещеев поручиться не мог. Литераторы и в самом деле показали себя, увы, не слишком памятливими и еще менее решительными в воздании заслуженных почестей покойному. Да какие там почести! Даже панихиду по покойному члены комитета Литературного фонда, одним из учредителей которого был Николай Гаврилович еще с конца 50-х годов, решили не служить. Наверное, поступили благоразумно в отличие от студентов медицинской академии, которые все-таки отслужили такую панихиду и... были на год исключены из академии. Только благоразумие такое напоминает элементарную трусость...

Молодые литераторы — Чехов, Леонтьев, Мережковский — смотрели на деятелей типа Чернышевского несколько снисходительно и сочувственно, не очень высоко ставя героическое подвижничество «шестидесятников» — оно казалось им неоправданным. Поэтому Плещеев

не был особенно откровенным по этим вопросам, зная, что полного понимания со стороны молодежи тут не будет.

Мережковский так тот вообще, кажется, склонен считать деятельность Добролюбова, Чернышевского, Писарева анахронизмом, хотя сам, в сущности, только-только начинает пробовать свои силы в литературе. Он, конечно, не без таланта, что обнаруживается в сборнике его стихов и в статье о рассказах Чехова, но смущают в его писаниях начетничество, отсутствие живого чувства; ведь ему всего двадцать с небольшим, а в рассуждениях его сквозит порой такая мертвечина, что диву даешься. Обвиняет (и справедливо!) Протопопова в утилитаризме, черствости, а сам в плену мистических догматов, иссушающих душу художественности. Нет, таким новым теоретикам, как Мережковский, никогда не понять одержимости Чернышевского и его сподвижников. Вот о современных проблемах литературы, театра, живописи, музыки с ними еще можно говорить много и толково.

А они, молодые, но уж вкусившие успеха и славы, продолжают видеть в Алексее Николаевиче строгого, но исключительно доброжелательного наставника, шлют ему свои рукописи, прося нелицеприятных отзывов, рекомендаций. И Плещеев, не кривя душой, добросовестно и подробно высказывает свое мнение: весьма критично отзывается о рассказе Чехова «Сапожник и нечистая сила», не одобряет и чеховскую пьесу «Леший», рассказы Короленко «Два настроения», «Птицы небесные», сурово журит Леонтьева (Щеглова) за небрежность, надуманность юмора в его пьесах...

На собственную творческую работу времени, как обычно, не хватает, но Алексей Николаевич помаленьку продолжает выносить на суд читателей и зрителей новые произведения: стихи, переводы, переделывает из французских водевилей «житейские сцены» для театров, переводит и серьезные пьесы по заказу петербургских театров, например, «Медные лбы» Эмиля Ожье для Александрійского театра и «Борьбу за существование» одного из любимейших своих французских писателей А. Доде — для частного театра Абрамовой.

Но тем, что сделано за последние годы, Алексей Николаевич явно не удовлетворен. В письме к А. П. Чехову от 13 января 1890 года он говорит:

«Очень рад, что Вы, наконец, вырвались из петербургского омута, хотя, впрочем, он вам, по-видимому, очень по сердцу. А я так по времени охотно бы променял его на вашу московскую «скуку». При этой скуке можно по крайней мере работать. А здесь нельзя положительно, и если бы вы здесь постоянно жили, то, конечно, ничего бы не писали, а только бы обедали, да дам пленяли... и еще разве изредка ездили бы «воду толочь» на

Гороховую в «Литературное общество»...»

Сам Алексей Николаевич хорошо познал бестолковую суету петербургского «омута» и предостерегал своих молодых друзей от чрезмерной увлеченности «водотолчением».

*

Угроза неминуемой нищеты опять нависает над шестидесятипятилетним поэтом: случается это весной 90-го года, когда Алексей Николаевич вынужден был покинуть редакцию «Северного вестника».

Все началось вроде бы с мелочей: Анна Михайловна Евреинова, почувствовавшая, как полагал Плещеев, «вкус» к редакторской власти, уже давненько стала высказывать Алексею Николаевичу неудовольствие в том смысле, что он при всем своем авторитете ничего якобы не делает для создания нормальной обстановки в редакции (стычки Протопопова и Волынского, уход из редакции Короленко и т. д.). Плещеев к этим нареканиям относился с рыцарской снисходительностью, считая их типичным капризом женщины, облеченной властью, женщины, хотя и слывшей поборницей прогресса, но не избавившейся от «семейных военно-аристократических замашек» — отец Анны Михайловны был инженер генерал-лейтенант. Однако он не ведал подлинной причины капризов Анны Михайловны, причины, вызванной серьезными финансовыми затруднениями по изданию «Северного вестника». Не знал Плещеев, что издательница журнала А. В. Сабашникова еще в конце 1889 года прекратила финансировать журнал, и несколько месяцев Евреинова финансировала его на собственные средства. Последнее обстоятельство, видимо, никак не устраивало Анну Михайловну, и она приняла решение закрыть журнал. Для Алексея Николаевича, как и для многих сотрудников, плохо знавших источники финансирования журнала, решение Евреиновой показалось чуть ли не произволом. Плещеев пытался уговорить Анну Михайловну продолжать издание, но получил твердый отпор, причем в такой форме, что вынужден был прервать всякие отношения с редакцией.

«Давно не писал Вам, добрейший Антон Павлович, и должен прежде всего сообщить Вам неутешительную (для меня по крайней мере) новость: «Северный вестник» решила Анна Михайловна закрыть...» — сообщает Плещеев Чехову в письме 17 марта 1890 года. И продолжает: «...Для финала я с этой дамой расстался — и будет ли. не будет ли под ее

редакцией выходить журнал^[65], я в нем не сотрудник. Она так дерзка, таким нахальным тоном позволяла себе со мной говорить, что мне стоило больших усилий не обругать ее. Я сдержался, однако же, хотя и сказал ей две-три довольно-таки крупные резкости... Можете себе представить, в каком завидном я теперь положении, лишившись главного своего ресурса. Как и чем буду существовать, пока не знаю...»

Вопрос «как и чем буду существовать?» был далеко не шуточный для Алексея Николаевича, ибо он никаких сбережений за более чем 40-летний литературный труд не сумел накопить, а долгов имел более чем достаточно. Нижегородское имение, заложенное в банке, никаких доходов не давало и оставалось предметом безотрадных хлопот. Как нарочно, именно к 1890 году потерял Плещеев многие дополнительные доходы вроде оплаты за консультации в театральном-литературном комитете, куда не был введен в число членов комитета на последнем заседании.

Есть, правда, возможность пойти «на поклон» к Н. К. Михайловскому (он вроде бы затевает издание журнала), но трудиться под «начальством» Николая Константиновича будет тяжело — очень уж норовистый и склонный к самодовольству властелин выработался из Михайловского... Впрочем, с Михайловским все-таки придется идти на перемирие, если не намерен на старости лет умирать в нищете — других средств почти не было, а для завершения монографии о Диккенсе, над которой трудился Алексей Николаевич в последнее время, нужны, как говорится, и время, и пища.

Расходы теперь, конечно, не столь велики, как пятнадцать-двадцать лет назад: дети выросли, нашли как будто собственные жизненные тропки (Николай все же продолжает тревожить), но вряд ли они в состоянии обеспечить не только отцу, но и себе безбедное проживание: по крайней мере, до сих пор Алексей Николаевич оказывал существенную материальную поддержку и непутевому офицеру Павловского полка Коке-Николаю, и старшему Александру, хотя последний вроде бы укрепился в театральных и журналистских кругах, написал не так давно неплохую пьесу, которая, правда, не получила пока полного одобрения в театральном комитете, но, видимо, все-таки будет принята к постановке на сцене.

В помощи отца, пожалуй, не нуждалась теперь только дочь Елена, вышедшая замуж и ставшая... баронессой Сталь фон Гольштейн, но ведь на попечении Алексея Николаевича оставалось еще два человека: вторая его жена Елена Михайловна Данилова с дочерью Любой, которой пять лет назад указом Сената наконец-то было дозволено принять фамилию и отчество отца.

На летний сезон 1890 года Алексей Николаевич вместе с Еленой Михайловной и Любой поселился на даче недалеко от ст. Преображенской по Варшавской железной дороге. Как хотелось после всех редакционных свар хотя бы немного отдохнуть! И погода установилась на редкость ясная, солнечная. Но Алексею Николаевичу не до отдыха — он поглощен работой над биографией Диккенса. За этим занятием и застало Плещеева поистине чудо-известие, «нечто вроде сказок Шехерезады», как скажет сам Алексей Николаевич.

В июле 1890 года в родовом имении при с. Чернозерье Мокшанского уезда Пензенской губернии скончался Алексей Павлович Плещеев — сравнительно дальний родственник Алексея Николаевича. Покойный, бывший военный моряк, затем капитан торгового флота, обладал, как оказалось, огромным капиталом: кроме пяти тысяч десятин земли, имел денежных средств на миллион восемьсот тысяч рублей и много ценных вещей домашнего обихода. Дожил он жизнь в своем имении скупко, в полнейшем одиночестве и считал своим единственным наследником Алексея Николаевича, с которым при жизни поддерживал добрые, но отнюдь не близкородственные отношения — приезжая в Петербург, Алексей Павлович не всегда даже с Алексеем Николаевичем и встречался.

И вот Алексей Николаевич, вышедший из редакции «Северного вестника» и поэтому оказавшийся в чрезвычайно стесненных денежных средствах, получает письмо от одного из своих мокшанских корреспондентов — начинающего журналиста и литератора В. П. Быстренина, — письмо, из которого узнает, что его ждут в Чернозерье для получения столь крупного наследства. Как же реагирует Алексей Николаевич на это известие? В ответном письме В. П. Быстренину он горюет о кончине своего родственника, обещает непременно приехать, но уже после похорон Алексея Павловича, так как разные обстоятельства (болезнь младшего сына, отъезд старшего за границу) «не позволяют выехать немедленно»; здесь же Алексей Николаевич подробно сообщает своему корреспонденту о ситуации, сложившейся в «Северном вестнике» после его выхода из редакции, обещает свое содействие в публикации и т. д. И — никаких комментариев к тому, что стал богатым наследником, — видимо, на первых порах Алексей Николаевич не придавал этому особого значения, полагая, что наследство скромное и не ему одному полагающееся.

В конце концов после еще ряда писем от В. П. Быстренина и решительной телеграммы последнего: «Приезжайте немедленно. Вас ждут

два миллиона» — Алексей Николаевич, подзавя у знакомых денег на дорогу, в сопровождении младшего сына Николая выезжает в начале августа в Чернозерье, где... спешит закончить работу о Диккенсе, над которой трудился не только ради хлеба насущного еще на даче под Петербургом.

Очерк о Диккенсе был, пожалуй, наиболее удачным из серии биографий выдающихся людей, которые написал Алексей Николаевич, хотя и другие, например, о Прудоне и Стендале, тоже приняты читателями весьма благосклонно. Плещеев хорошо помнил добрый отзыв Гончарова о биографии Прудона, высокую оценку, которую дал Некрасов его работе о Стендале, как помнил и товарищеское напутствие автора «Обломова», чтобы он, Плещеев, взялся за труд о каком-нибудь замечательном соотечественнике. Помнить-то помнил, а вот осуществить рекомендацию Ивана Александровича так и не смог. И, наверное, теперь уже не сможет — годы все-таки дают о себе знать, вряд ли хватит энергии, работоспособности, чтобы написать серьезную и увлекательную биографию кого-нибудь из соотечественников, да и чрезвычайно ответственное это дело — тут ведь не обойтись добросовестными компиляциями, которыми зачастую пользовался при написании популярных очерков о деятелях Западной Европы...

Вот и очерк о Диккенсе тоже в основе своей компилятивный, но работа над ним все же доставляет Алексею Николаевичу истинное удовлетворение: стремясь создать «симпатичный образ романиста, дарившего читателям столько минут высокого наслаждения», Плещеев уделяет большое внимание нравственным источникам формирования личности великого писателя, честно и благородно служившего высокой цели быть «другом несчастных и бедных» — это особенно было важно и дорого русскому автору «Жизни Диккенса»...

Ну а неожиданные миллионы... обещали осуществление давнишней заветной мечты — побывать за границей, посетить Италию, Францию, побродить по улицам Парижа, города, которым грезил с детских лет, делали реальной давно задуманную операцию по выкупу заложенного в банк нижегородского имения и передачи в безвозмездное пользование тамошних земель крестьянам; гарантировали безбедную старость Алексею Николаевичу, обеспеченную жизнь его жене и детям, долгожданное избавление от долгов... И Алексей Николаевич, взяв с собой из Чернозерья все необходимые бумаги, удостоверявшие его право на наследство, едет в Москву, обращается за консультацией к знаменитому адвокату Федору Никифоровичу Плевако и поручает ему ведение дела на предмет

юридического оформления наследования. Плезако обещал через полгода завершить дело, и обещание его внушало доверие: связи у этого адвоката — огромные, авторитет в мире юриспруденции большой, да и человек он, кажется, вполне порядочный, хотя и не упускает возможности урвать солидный куш за труды свои (а где нынче найдешь адвокатов-альтруистов?)

...

Алексей Николаевич понимал, что вопрос о наследстве потребует дополнительных хлопот, что и «всемогущий» Плевако, который потребовал солидный гонорар за ведение дела, не в состоянии гарантировать стопроцентное право на наследство только ему, Плещееву, ибо в подобных делах всякий раз появляется много новоиспеченных претендентов^[66], однако уже осенью 1890 года он позволяет себе сделать «шаг к роскоши», о которой до этой поры мог только мечтать: поездку за границу.

«Ах! Чего бы я не дал за то, чтобы иметь возможность уйти подальше от журналистики...» — писал Алексей Николаевич Чехову весной 1890 года, ничуть не подозревая, что такое желание он скоро будет в состоянии осуществить. Антон Павлович, напротив, поехал в этот период на Сахалин, не чураясь также и чисто «журналистских» интересов. Между прочим Плещеев, вернувшись из своего первого заграничного путешествия, признавался Антону Павловичу, что его впечатления бедны, вряд ли могут тягаться с тем, что пришлось увидеть Чехову в поездке на Сахалин.

За границей Плещеев пробыл почти три месяца, посетив Италию и Францию. В письме к Леонтьеву (Щеглову) Алексей Николаевич признается, что только Ницца и Париж пришлись ему по душе, а Венеция, Милан, Генуя не понравились из-за ненастной погоды.

В Ницце Алексей Николаевич встретился с некоторыми из соотечественников: П. Д. Боборыкиным, Вас. Ив. Немировичем-Данченко. Оба относились к Плещееву с большим уважением, поэтому в обществе двух русских беллетристов Алексей Николаевич как бы снова почувствовал себя на русской земле, несмотря на старательное «европейство» супруги Боборыкина, на каждом шагу опекающей своего нездорового (так ей казалось) Пьера. Боборыкин, узнав, что Плещеев намеревается отправиться из Ниццы в Париж, снабдил Алексея Николаевича адресами знакомых, рассказал о наиболее удобной дороге к столице Франции.

Из Парижа, где большую часть времени Алексей Николаевич отдал посещению театров, музеев, парков, дорога звала на родину: кончались деньги, беспокоила судьба сына Николая, который решительно надумал уйти в отставку. Алексей Николаевич, не ведая пока, что на землю в Чернозерье объявился новый претендент, хотел передать имение своему

младшему сыну. «Вот если сделаюсь помещиком, то затащу вас к себе в Пензенскую губернию. Намереваюсь тогда «посадить на землю» моего младшего сына Коку, который почувствовал большое влечение (он и прежде несколько стремился к этому) к хозяйству», — пишет Алексей Николаевич по возвращении в Питер Чехову.

Юридические права на наследство еще не оформлены, однако наследника уже всюду атакуют письмами-просьбами. «...Приходится получать пропасть просительных писем, да слышать, что я обязан дать на то-то, на это. И уже заранее предвкушаю тот момент, когда разные личности, не получившие от меня, чего они желали, или получившие недостаточно, будут говорить: «Вот все был порядочный человек, а как получил деньги, то стал свиньей!..» — сообщает Алексей Николаевич А. С. Гацисскому.

И Алексей Николаевич почти не ошибся в своих предположениях, когда стал обладателем полутора миллионов: появились «личности», действительно распускавшие всевозможные клеветнические слухи о его скупости, высокомерии, хотя на просьбы разных благотворительных учреждений и частных лиц Плещеев раздал более ста тысяч уже в первый год своего владения наследством^[67].

Десятки тысяч рублей вносит Плещеев на благо отечественной словесности: на издание журнала «Русское богатство», в Литературный фонд, учреждает «фонды» имени Белинского и Чернышевского для выплаты стипендий необеспеченным студентам.

Конечно, значительные суммы расходовались и на собственные нужды: здоровье Алексея Николаевича сильно пошатнулось, и врачи настоятельно рекомендовали поэту лечение на зарубежных курортах, и это требовало немалых средств. Кроме того, Алексей Николаевич, не добившись права на владение черноезерьевской землей, вынужден был купить для ушедшего в отставку сына Николая имение в Рославлевском уезде Смоленской губернии...^[68]

К весне 1891 года хлопоты по наследству завершились, и теперь Алексей Николаевич намеревался выполнить предписание врачей более добросовестно: пожить за границей подольше, подлечиться на курортах Швейцарии, Франции, Германии поосновательней. В последнее время усилились боли в груди, мучительные перепады в сердцебиении совсем тревожили, но в апреле, накануне выезда в Швейцарию Алексей Николаевич чувствовал себя вполне хорошо. Поэтому маршрут до горной Швейцарии выбрал полукружной: через Берлин, Дрезден, Париж.

«Нет города, где бы так хорошо жилось и куда бы так тянуло опять вернуться», — пишет Плещеев Гацисскому, вспоминая свое почти двухмесячное пребывание в столице Франции. В Париже встретил много старых приятелей: Григоровича, Боборыкина, Мережковского и его жену З. Н. Гиппиус. Завел Алексей Николаевич добрые знакомства и с французскими литераторами, сдружился с известным театральным критиком Франсиско Сорез, который, между прочим, после одной из бесед с Плещеевым как-то с восхищением заметил: «Этот русский писатель знает нашу литературу не хуже, чем мы ее знаем...»

Вместе с Алексеем Николаевичем были жена Екатерина Михайловна, оба его сына и обе дочери, и это очень скрашивало Плещееву хотя и насыщено увлекательную, но все же довольно трудную для его возраста поездку.

О впечатлениях путешествий старший сын Александр написал очерки, которые намеревался включить в подготавливаемую к изданию книгу «В дороге и дома»^[69]. Алексей Николаевич с большим интересом читал очерки сына, одобрительно отзывался о точности пейзажных зарисовок в них и добром юморе. «Баден-Баден, один из модных курортов Европы, привлекает ежегодно несколько десятков тысяч больных, и еще более здоровых. Последние сопровождают первых», — прочитал Алексей Николаевич в рукописи сына и с грустноватой усмешкой признал справедливость написанного — ведь и его, старого и больного, сопровождают пятеро здоровых родственников!..

...Впечатлений, конечно, было много, временами Алексей Николаевич испытывал такой прилив сил, что забывал о преследовавших его сердечных болях. Не утрачивалась и потребность высказаться на бумаге — теперь, правда, большею частью в письмах. Муза тоже не покидала отдыхающего поэта — в такие моменты все строгие наказания врачей казались наивными: разве можно «сдерживать» себя, когда приходит поэтическое вдохновение?!

Лето 1891 года Плещеевы намеревались провести в Швейцарии, в Люцерне. Там-то и случилось с Алексеем Николаевичем «нечто вроде удара», как скажет он сам: отнялись левая нога и рука, произошло это в августе. Положение создалось критическое, и только благодаря усилиям знаменитого немецкого доктора Кусснауса и целебному воздействию чудной окружающей природы здоровье поэта постепенно пошло на поправку.

Зиму 1891/92 года Плещеев вместе с сыном Александром проживет в Ницце. Здесь Алексей Николаевич пишет стихотворение «Это пламенное солнце...», в котором поэт, отдавая дань красоте «южной стороны»,

думами и сердцем живет в России.

*...В плеске волн и в шуме листьев,
В песне ветра в час ночной
Слышу плач я о невзгоде
Стороны моей родной!..*

В Ницце, да и в других городах Западной Европы, в которых побывал Алексей Николаевич, жизнь виделась благостно-пристойной, чинно-благополучной, а в России десятки губерний охвачены волнениями и тревогой: тысячи крестьян умирали от недоедания и болезней, на заводах и фабриках рабочие укорачивают себе жизнь вдвое, так как лишены возможности трудиться по-человечески. Волнуется студенчество, а наиболее отчаянные из его среды продолжают, несмотря на ежегодные аресты, казни, расстрелы, «ходить в народ», призывают крестьян... впрочем, бог знает, к чему они теперь призывают мрущих от голода людей, да и призывают ли вообще? Самые крупные из идеологов таких «призывщиков» (Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров) что-то поправили в сторону либерального примиренчества, а более молодые идеологи вроде Владимира Соловьева ударились в мистику, в религию, и их благие призывы к совершенству общества вряд ли найдут поддержку у народа.

Из революционеров-эмигрантов Плещеев знал немногих и особого доверия к ним, исповедующим народнические и анархистские теории, не испытывал, вернее, не разделял их программы, хотя и ценил смелость и одержимость некоторых. Но наиболее известные из эмигрантов П. А. Кропоткин и С. М. Степняк-Кравчинский проживали в Лондоне. А в Центральной Европе обосновалось повое молодое ядро революционеров с Плехановым во главе, но и о них Плещеев только слышал. Те же краткие встречи с некоторыми соотечественниками, которые обитали в Ницце, глубокого следа в душе старого петрашевца не оставили.

А вот на призыв русских эмигрантов-студентов, организовавших в Цюрихе «студенческую коммуну» и обратившихся к Плещееву за материальной помощью, Алексей Николаевич откликнулся незамедлительно, потому что в их порывах узнал собственную молодость.

Письмо студентов-«коммунаров» разволновало... до стихов — Алексей Николаевич пишет, но так и не заканчивает элегическое «Как в дни ненастья солнца луч...».

За зиму, проведенную в Ницце, здоровье Алексея Николаевича вроде

бы совсем поправилось, и весной 1892 года поэт вернулся в Россию, сняв на летний сезон дачу в Петергофе.

Живя в Петербурге и его окрестностях, Алексей Николаевич, конечно же, не прерывает общения с литераторами столицы, с деятелями искусства, особенно со своими молодыми соратниками. По-прежнему в его квартире царит гостеприимная атмосфера, его навещают и Чехов во время приездов в Питер, и Щеглов, актеры Давыдов, Горелов, Модест Чайковский. Только не всегда теперь Плещеев бывал жизнерадостным и веселым, как прежде: ставшие постоянными утренние головные боли приводили нередко к апатии, вялости, портили настроение на целые дни и недели. Но во времена, когда болезнь отступала, все испытывали прежнее обаяние Алексея Николаевича, его поистине щедрый талант человечности.

Зиму 1892/93 года Плещеев снова прожил в Ницце, а на лето опять вернулся в Петербург. Вообще эти циклические переезды из России во Францию и из Франции в Россию уже несколько притупляли остроту впечатлений, и Алексей Николаевич подумывал все-таки укрепиться где-нибудь поосновательней, в каком-нибудь «убежище Монрепо». И, может быть, скорее всего на русской стороне, несмотря на советы врачей поселиться в Европе, несмотря на «соблазны» той же Франции — тоскливо все-таки русскому человеку жить на чужбине...

Такое «Монрепо» виделось Плещееву в купленном им для сына Николая имении в Смоленской губернии, куда Алексей Николаевич заглянул в конце лета 1893 года. Но заглянул поэт в имение, увы, не для отдыха, а скорее для прощания с младшим сыном, ибо чувствовал большой упадок сил и не очень надеялся на свое возвращение из очередной заграничной поездки, в которую его настоятельно отправляли врачи.

В гостях у Николая Плещеев пробыл всего неделю, но и за это время из-за непогоды здоровье его совсем расшаталось: участились сильные сердцебиения и удушья, от которых старик с великим трудом все же избавился к концу недели. После некоторого улучшения здоровья Алексей Николаевич в сопровождении сына Александра поехал в Ниццу через Варшаву, Вену и Париж. В Париже отец и сын Плещеевы задержались дольше предполагаемого, поджидая приезда жены и младшей дочери Алексея Николаевича. Несмотря на головные боли, диабет, сердечную недостаточность, Плещеев вел в Париже довольно подвижный образ жизни: навещал знакомых, изредка ходил даже в театры, много гулял по бульварам и улицам города, словно бы прощаясь с ним...

Кризис наступил в день приезда жены и дочери Любы, которые застали Алексея Николаевича хотя при сознании, но в безнадежном

состоянии — это был вечер 25 сентября, а в 2 часа ночи 26 сентября Плещеев скончался от апоплексического удара. Из Парижа тело поэта было доставлено в Петербург. Градоначальник Петербурга генерал фон Вален вызвал к себе Александра Алексеевича Плещеева и сказал:

— Газеты уделяют очень много внимания кончине вашего отца, так что, вероятно, соберется много публики, чтобы проститься с покойным. Отец ваш представляет определенное знамя, особенно для молодежи, которая может устроить нежелательную для правительства демонстрацию. Пожалуйста, постарайтесь сделать все возможное, чтобы все прошло спокойно.

— Отец долгие годы жил в Петербурге, имел много друзей, пользовался в обществе, в кругах интеллигенции большой симпатией, поэтому вполне вероятно, что проститься придет и молодежь, но я ручаюсь вам, что никаких демонстраций не будет, — отвечал Александр Алексеевич.

Проститься с покойным действительно собралось множество народу, но как раз студенческая молодежь и взяла на себя обязанность поддерживать порядок, когда гроб с телом перевозился с Варшавского на Николаевский вокзал для дальнейшего следования — в Москву для захоронения согласно воле покойного в Новодевичьем монастыре, возле могилы первой жены поэта Еликонида Александровны — место это было куплено Алексеем Николаевичем еще в 60-е годы.

В Москве гроб несли на руках все семь верст — от Николаевского вокзала до Новодевичьего монастыря. А впереди и позади многочисленной толпы, сопровождающей гроб, шли полицейские и ехали конные жандармы — власти и здесь опасались, что похороны могут превратиться в демонстрацию...

В прощальных речах над могилой, на траурных заседаниях Общества любителей российской словесности, посвященных памяти умершего, в некрологах и статьях соратники по литературе воздали должное благородной деятельности русского поэта.

ЭПИЛОГ

«По привету ответ, по заслуге почет», — говорит русская пословица.

Еще при жизни Алексея Николаевича Плещеева о нем были сказаны такие слова:

«Плещеев принадлежит к поэтам особого типа, которые должны быть у каждой страны: это не гении-творцы, слава которых облетает мир, но это — люди, имя которых никогда не может умереть в родной стране, пока в ней будут сердца, способные любить свою страну, народ, истину, науку, свет и прогресс. Песни таких поэтов не забываются народом, как не забывается никогда тихая, любящая песня матери, ее любящие кроткие советы и указания. Образ таких поэтов навсегда остается светочем в душе народа, как идеал нравственной чистоты, абсолютной безупречности, беспредельной веры в человека, любви к свету... Без таких поэтов у народов не было бы сердца, не было бы души, верующей в лучшее». («Русское богатство», 1887, № 2.)

К этой исключительно точкой характеристике бессмертия таких деятелей, как Плещеев, хорошим дополнением может быть и та, что высказана Д. С. Мережковским вскоре после смерти Плещеева:

«Человек и поэт связаны в нем так неразрывно, так неразделимо, что, право, кажется иногда, что жизнь Плещеева — одна из его лучших, самых высоких поэм».

Да, творчество А. Н. Плещеева не получило мирового резонанса, хотя стихи его еще при жизни переводились на многие европейские языки (болгарский, польский, чешский, английский, немецкий, французский, итальянский), зато на родной земле оно всегда имело благотворное влияние. Его поэзия, признанная современниками «поэзией мира, любви, братства», сыграла далеко не последнюю роль в духовном становлении борников свободы и справедливости 40—90-х годов прошлого века, помогла расширению художественного горизонта замечательного русского поэта-самородка И. З. Сурикова и его последователей С. Д. Дрожжина, Ф. П. Шкулева; свободолюбивый дух плещеевских стихов, и прежде всего его знаменитого «Вперед!..», оказал непосредственное воздействие на песенно-стихотворческую деятельность писателей революционно-демократической и народнической ориентации П. Лаврова, И. Морозова, И. Оммулевского, П. Якубовича; находил отклик в творческих исканиях, в формировании общественной позиции литераторов других народов России: украинцев И.

Франко и П. Грабовского, осетинца К. Хетагурова, азербайджанца Гасана Зардаби Меликова...

...Мой друг, не плачь о нем, — безумными слезами
Ты робость детскую пред битвой не буди! —
Он не умрет для нас, пока позорно сами
Мы не сойдем с его тернистого пути, —

заверял К. Хетагуров в стихотворении «Памяти Плещеева».

Приближается столетие с того дня, когда навсегда умолкла плещеевская муза. Знала она за прошедший срок приливы любви и благодарности и наступающие порой за ними отливы. Так, если для современников поэта, переживших его и вступивших в начало нынешнего столетия, Плещеев оставался жизнелюбивым певцом, умевшим отразить в своих стихах «молодое чувство, задеть... самые благородные свойства человеческой души», выразителем «дум и чувств интеллигентного русского человека», то уже для следующего поколения читателей поэт утратил то центральное значение, которое занимал при жизни и в первые посмертные годы. Глашатаи предоктябрьской поры нередко воспринимали Плещеева только лишь в качестве «лучшего представителя отмиравшего... гуманного барства», как заметил В. В. Воровский в статье по поводу 15-летия со дня смерти поэта; то было и явное недопонимание творчества поэта и в то же время отражение определенного несоответствия его творчества злободневным задачам революционной эпохи. Разве что только плещеевские строки, обращенные к детям, оставались еще в почете, да и то на уровне школьных хрестоматий. Долгую и благодарную судьбу получили стихи Плещеева, ставшие песнями и романсами на музыку Чайковского, Мусоргского, Аренского, Варламова, Кюи. Прекрасные композиторы в разное время обращались к творчеству Плещеева, и плоды их совместных трудов стали классикой русской культуры.

Проходили годы, и новые поколения, обращаясь к наследию XIX века, открыли в поэзии Плещеева и «молодое чувство», и «необыкновенную цельность и верность настроения», и «силу призыва к честному служению обществу» — все то, что так высоко чтили и современники поэта, предсказывавшие, что в книгах Плещеева потомки увидят и поймут «душу предка».

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА А. Н. ПЛЕЩЕЕВА

1825, 22 ноября^[70] — В Костроме, у коллежского асессора в отставке Николая Сергеевича Плещеева и его супруги Елены Александровны, урожденной Горскиной, родился сын Алексей.

1827 — Семья Плещеевых переезжает жить в Нижний Новгород.

1831 — Смерть Николая Сергеевича Плещеева.

1839 — Е. А. Плещеева с сыном Алексеем переезжает на постоянное жительство в Петербург.

1840–1843 — Учеба Алексея Плещеева в Петербургской школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, поступление в Петербургский университет на восточное отделение.

1844, февраль — В журнале «Современник» опубликованы первые три стихотворения Алексея Плещеева за подписью А. П.-въ.

1845, лето — По личному прошению Алексей Плещеев уволен из числа студентов университета. Знакомство с Валерианом Майковым, начало посещений «пятниц» Петрашевского.

1846 — Плещеев знакомится и сближается с **Ф. М. Достоевским**. Активное сотрудничество Плещеева в петербургских журналах и газетах; выход из печати сборника «Стихотворения А. Плещеева».

1846–1848 — Сотрудничество в журналах «Современник», «Отечественные записки» (публикация рассказов и повестей).

1849, март, апрель — Поездка **А. Н. Плещеева** в Москву, посылка на имя Ф. М. Достоевского «Письма Белинского к Гоголю».

28 апреля — А. Н. Плещеев арестован в Москве и доставлен в Петербург, в III Отделение, **2 мая** отправлен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости, **22 декабря**, приговоренный в числе других петрашевцев к смертной казни, выслушивает окончательный приговор себе.

1850, 6 января — А. Н. Плещеев доставлен в Уральск, зачислен в 1-й Оренбургский линейный батальон.

1852, 25 марта — Переведен в 3-й Оренбургский линейный батальон в г. Оренбург.

1853, 23 февраля — Переведен в Оренбургский линейный батальон № 4.

Июнь — июль — В составе 4-го линейного Оренбургского батальона А. Н. Плещеев участвует в походе русских войск, в осаде и штурме кокандской крепости Ак-Мечеть.

27 декабря — За отличие при взятии крепости Ак-Мечеть произведен в унтер-офицеры.

1854–1856 — Служба в Оренбурге, в крепости Ак-Мечеть, снова в Оренбурге;

1856, 17 ноября — Уволен из военной службы в отставку «с переименованием в коллежские регистраторы».

Декабрь — В журнале «Русский вестник» опубликованы после почти восьмилетнего перерыва новые стихи Плещеева.

1857, октябрь — А. Н. Плещеев женится на Е. А. Рудневой.

1858, май — В Петербурге выходит сборник «Стихотворения А. Н. Плещеева».

1859, сентябрь — Плещеевы переезжают жить в Москву.

1859–1861 — А. Н. Плещеев — соредатор газеты «Московский вестник».

1860 — Выход в свет в двух частях «Повестей и рассказов А. Н. Плещеева».

1861 — Выход в свет сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева».

1863 — Выход в свет дополненного сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева»; вызов в Петербург по поводу «процесса Чернышевского».

1864, 13 декабря — Смерть Елпконицы Александровны Плещеевой.

1865, 8 октября — А. П. Плещеев зачисляется на службу в Государственный контроль.

1872 — Семья Плещеевых переезжает в Петербург. А. И. Плещеев по предложению Н. А. Некрасова становится секретарем редакции журнала «Отечественные записки», а с декабря 1877 года (после смерти Некрасова) заведует стихотворным отделом журнала.

1875 — Увольняется со службы в контрольной палате.

1878 — Выход в свет сборника стихотворений А. Н. Плещеева «Подснежник» (стихотворения для детей и юношества).

1879 — Смерть Е. А. Плещеевой, матери поэта.

1880, 6–8 июня — А. Н. Плещеев участвует в Пушкинских торжествах.

1880 — Выход в свет сборника прозы А. Н. Плещеева «Житейское».

1884, 20 апреля — Закрытие журнала «Отечественные записки»,

1885 — А. Н. Плещеев становится постоянным сотрудником и редактором беллетристического отдела журнала «Северный вестник».

1886, 15 января — Чествование 40-летней литературной деятельности А. Н. Плещеева (в Петербурге и Москве).

1887 — Выход в свет сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева (1846–1886)».

9 декабря — Знакомство с А. П. Чеховым.

1890, июль — Получение наследства от А. П. Плещеева.

1890–1893 — Неоднократные поездки за границу для лечения (Франция, Италия, Германия, Швейцария).

1893, 26 сентября, 2 часа ночи — Кончина А. Н. Плещеева в парижской гостинице.

Октябрь — Перевоз гроба с телом А. Н. Плещеева из Парижа в Москву (через Петербург). Похороны А. И. Плещеева на кладбище Новодевичьего монастыря.

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Алексей Николаевич Плещеев.

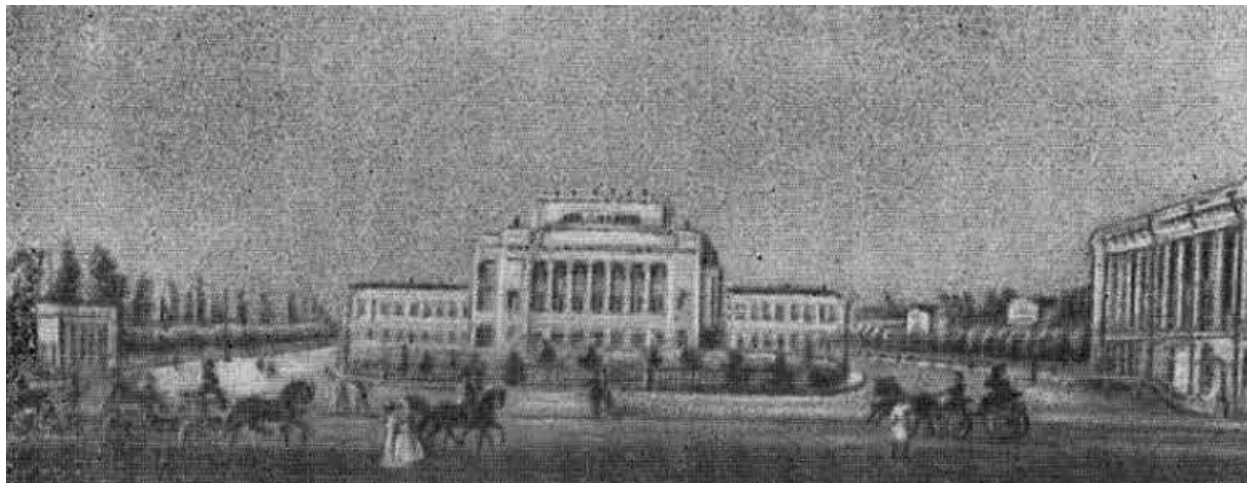
Фотография 60-х годов XIX века.



Кострома. Торговые ряды.



Нижний Новгород. Верхнебазарная, или Алексеевская площадь.

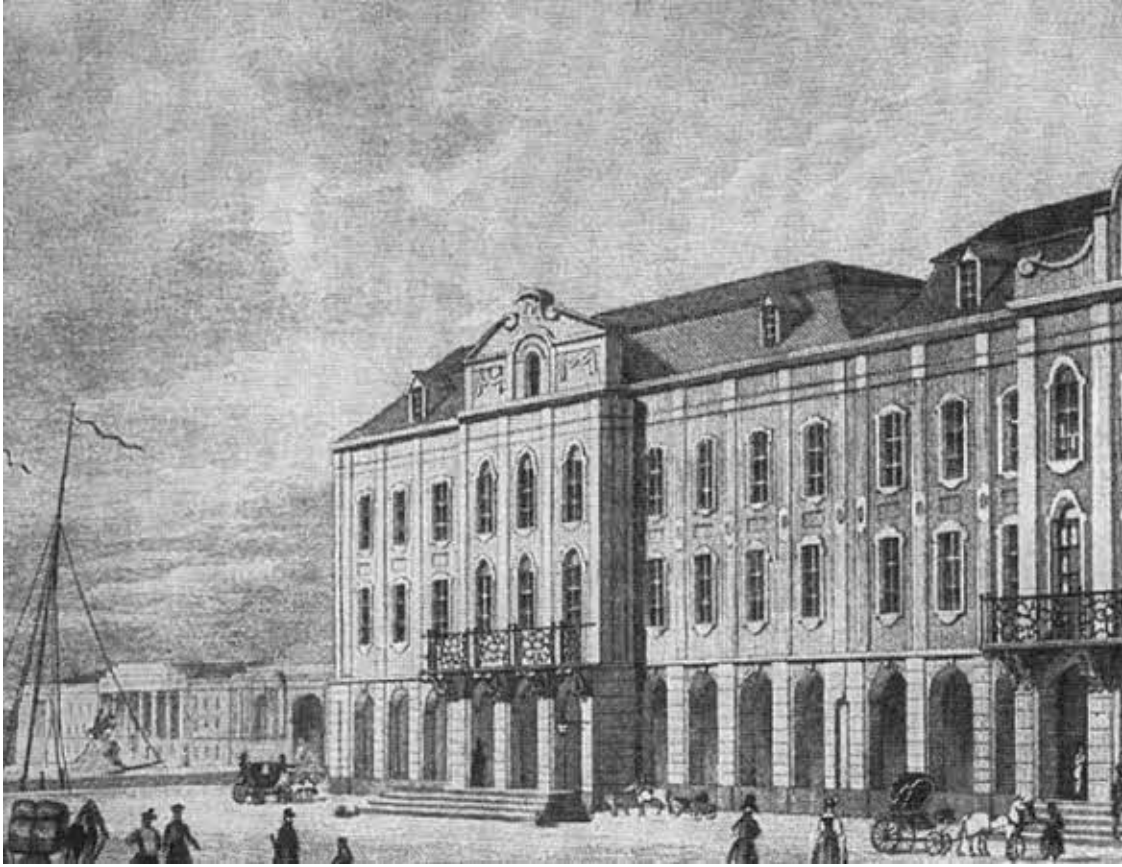


Петербург. Александрейский театр.

Фотография первой половины XIX века.



Петербург. Невский проспект.



Петербургский университет.



Петр Александрович Плетнев.



Владимир Федорович Одоевский.



Виссарион Григорьевич Белинский.



Аполлон Григорьев.



Валериан Майков.

МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ. ДРУЗЬЯ ПЛЕЩЕЕВА,

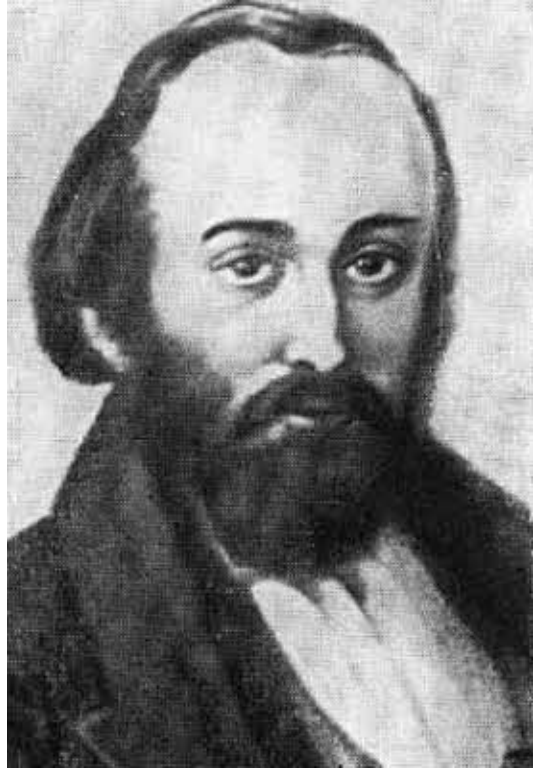
ЧЛЕНЫ КРУЖКА ПЕТРАШЕВСКОГО:



Александр Пальм.



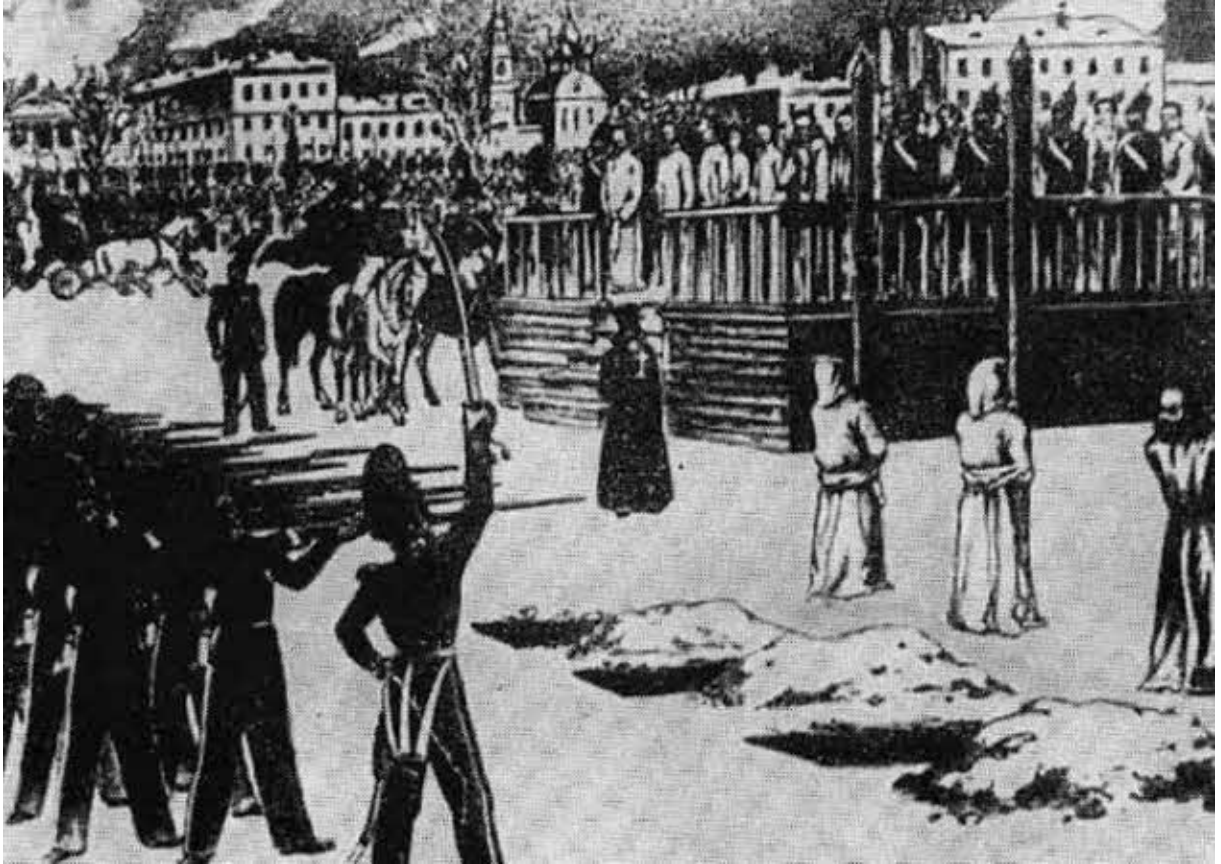
Сергей Дуров.



Михаил Васильевич Петрашевский



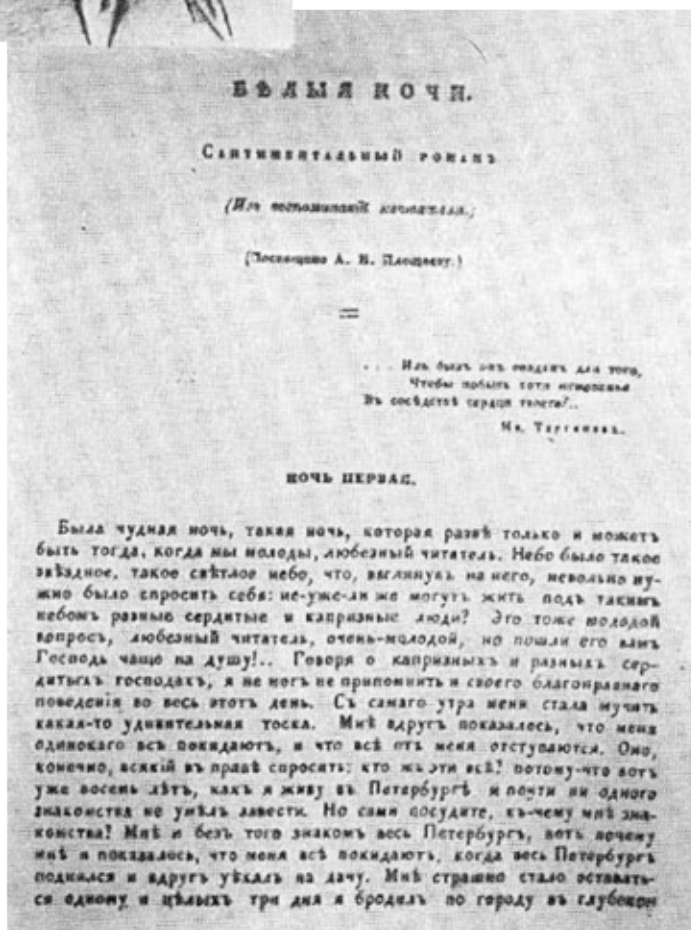
Николай Спешнев.



Обряд казни на Семеновском плацу 22 декабря 1849 года.



Петропавловская крепость.



Федор Достоевский.

Первая страница повести Ф. М. Достоевского «Белые ночи» с посвящением А. П. Плещееву.

Петрашевские, во время происшедших там преследований, и необходимости переехать в административную, а от Мартина со 1869 года, бывши из Москвы, испусти отсюда одному из подсудимых списки с преследуемого письма генерал-губернатора Бельинского, в которых упоминались румыны и Правительство. По распространении этого преследуемого письма Плещеев приговорил судья, на основании законов, к лишению всех прав состояния и осужден к четырем годам работы на заводах на четыре года. Дело с зловещим окончанием доставлено в Императорский Департамент 14-го ноября. —
Генерал-Аудитор П. П. Шильман

Копия приговора, вынесенного Плещееву по делу «петрашевцев».



Почтовый тракт.

Середина XIX века.



Уральск. Собор в Куренной части города.

Середина XIX века.



Василий Алексеевич Перовский — генерал-губернатор Оренбурга.

Портрет работы Карла Брюллова.



Тарас Григорьевич Шевченко.

Автопортрет 1847 года.



Алексей Михайлович Жемчужников.



Сигизмунд Сераковский — ссыльный польский революционер, друг А. И. Плещеева и Н. Г. Чернышевского.



Илецкая Защита.

Фотография конца XIX века.

(Ныне — г. Соль-Илецк.)



Еликонида Александровна Плещеева (до замужества Руднева).

Фотография конца 50-х годов.



Алексей Николаевич Плещеев.

Фотография конца 50-х годов.



Алексей Николаевич Плещеев.

Фотография 70-х годов.

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СОВРЕМЕННОК»:



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.



Николай Алексеевич Некрасов.



Николай Александрович Добролюбов.



Николай Гаврилович Чернышевский.

Когда пеняется вонючий мрак,
/ Кипяток и мажорно-похмелье,
И чаша раздвоенная твоя,
Роскошь в вонючей омерзевшей,
Иловую во вонючей и:
Тем же пачею проща идуешь?

— — —

Или ты твердого-горючий
Свободен вонючей вонючей,
Или вонючая вонючей вонючей,
Прощайте вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей.

— — —

Тем же пачею проща идуешь!
Копящий - вонючий проща идуешь,
Или вонючей вонючей вонючей -
Или вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей,
Или вонючей вонючей вонючей.

1862 года вонючей вонючей. Плещеев

Автограф стихотворения А. Н. Плещеева «К юности». 1862 г.



Московские актеры — И. Горбунов, П. Садовский, Б. Амедов.



Михаил Николаевич Островский — брат драматурга.



Сергей Васильевич Васильев — актер Малого театра.



Александр Николаевич Островский у Малого театра.



Еликонида Александровна Плещеева.

Фотография 60-х годов.

А сердце мое, и сердце мое,
Забвения в груди унесете.
И как будто мой томил себя, в нем же: с кем жана
Идет не было у сердца в нем,
Хорошо умереть в его сердце мне
И в его том же, и в нем же.
Хорошо и сердце, но сердце мое, разубавит от жизни
Каждо вей в сердце вей разубавит,
И в сердце, что и в сердце мое, и в сердце мое
В сердце мое, и в сердце мое.

А Плещеев

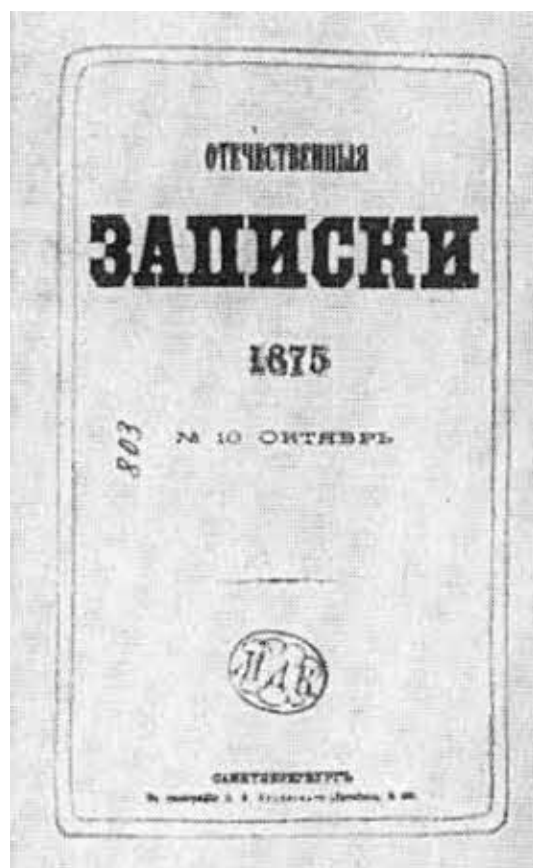
Отрывок из стихотворения А. Н. Плещеева «Быстро тают снега...».
1867 г.



Москва. Улица Малая Дмитровка.



Иван Сергеевич Тургенев.



Обложка журнала «Отечественные записки».



Петербург. Екатерининский канал.

Середина XIX века.



Петр Ильич Чайковский.

Фотография 1889 года.



Павловск. Литография.

Кто не знает, в Павловском парке,
Там вдали была та же обстановка,
Кто не знает, в Павловском парке,
Там вдали была та же обстановка!

А. Пушкин

Автограф стихотворения А. И. Плещеева «Памяти Пушкина».



Открытие памятника А. С. Пушкину в Москве 6 июня 1880 года.

Гравюра на дереве по рисунку М. Чехова.



Портрет А. И. Плещеева в 80-е годы.

Художник Н. А. Ярошенко.



Семен Надсон.



Всеволод Гаршин.



Иван Суриков.



И. Л. Леонтьев (Щеглов).



Александр Плещеев — сын поэта, драматург, театральный критик.



Антон Павлович Чехов.



Усадьба «Луки» Полтавской губернии, где Плещеев гостил у А. П. Чехова в июне 1888 года.



А. Н. Плещеев.

Фотография конца 80-х годов.



А. Н. Плещеев с семьей в Ницце в 1891 году.



Памятник на могиле Алексея Николаевича Плещеева в Новодевичьем монастыре.

Фотография начала XX века.



Титульные листы к прижизненным изданиям А. И. Плещева.

КРАТКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

І. Произведения А. Н. Плещеева

- Стихотворения А. Плещеева. 1845–1846. СПб., 1846.
Стихотворения А. Н. Плещеева. СПб., 1858.
Повести и рассказы А. Плещеева. В двух частях. М., 1860.
Стихотворения А. Н. Плещеева. Новое издание, значительно дополненное. М., 1861.
Новые стихотворения Плещеева (Дополнение к изданным в 1861 году). М., 1863.
Подснежник. Стихотворения для детей и юношества А. Н. Плещеева. СПб., 1878.
Стихотворения А. Н. Плещеева (1846–1886). М., 1887.
Повести и рассказы А. Н. Плещеева. Издание А. А. Плещеева, СПб., 1896–1897. В 2-х томах.
А. Н. Плещеев. Стихотворения. Под редакцией Гр. Сорокина. Библиотека поэта. Малая серия. М. — Л., 1937.
А. Н. Плещеев. Стихотворения. Под редакцией А. В. Федорова. Библиотека поэта. Большая серия. Л., «Советский писатель», 1948.
А. Н. Плещеев. Полное собрание стихотворений. Библиотека поэта. Большая серия. Второе издание. М.—Л., 1964.
А. Н. Плещеев. Житейские сцены. Издательство «Советская Россия», М., 1986.

ІІ. Литература о А. Н. Плещееве

- В. Н. Майков*. Критические опыты. СПб., 1891.
Н. А. Добролюбов. Собр. соч. М. — Л., 1962, т. 3; 1963, т. 6.
М. Л. Михайлов. Собр. соч. в 3-х томах. М., 1958, т. 3.
М. Е. Салтыков-Щедрин. Поли. собр. соч. М., 1937, т. 5.
В. И. Покровский (составитель). Алексей Николаевич Плещеев. Его жизнь и сочинения. Сборник историко-литературных статей. М., 1911.

«Дело петрашевцев». М.—Л., АН СССР, 1951, т. 3 (документы следствия по делу А. Н. Плещеева).

И. А. Щуров. А. Н. Плещеев, Жизнь и творчество. Верхне-Волжское книжное издательство, Ярославль, 1978.

Л. С. Пустильник. Жизнь и творчество А. И. Плещеева. М., «Наука», 1981.

INFO

Кузин И. Г.
К 89 Плещеев. — М.: Мол. гвардия, 1988. — 31416] с., ил. —
(Жизнь залечат. людей. Сер. биогр. Вып. И (689)).

ISBN 5-235-00413-2 (2-й з-д.)

К 4702010200—209/078(02)—88 Без объявл.

ББК 83. ЗР1

notes

Примечания

Плещеев Александр Алексеевич (1778–1862) — русский композитор, актер, поэт, член литературного общества «Арзамас», друг и сподвижник Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, И. А. Крылова.

Александр, по прозвищу Плещей, был наместником в Костроме (1375 год), потом боярином.

Львов Николай Александрович (1751–1803/04) — русский архитектор, художник, поэт, музыкант, член Российской Академии наук.

Безбородко Александр Андреевич (1749–1799) — русский государственный деятель, дипломат, с 1797 года канцлер.

Ныне поселок городского типа Княгинино — центр Княгининского района Горьковской области.

Река Урга впадает в реку Суру — правобережный приток Волги.

Козьма Захарьич Минин-Сухорок, как установил по купчей крепости полное его имя П. И. Мельников-Печерский, долгие годы служивший в Нижнем Новгороде чиновником особых поручений при военном губернаторе.

У истоков пробуждения стояли П. Я. Чаадаев, первое «Философическое письмо» (1836 год) которого, по словам Герцена, «разбило лед после 14 декабря», и его первые публичные оппоненты — славянофилы, ответившие на «крик отчаяния», содержащийся в чаадаевском письме, «криком надежды». «Надежда наша велика на будущее», — заявляли славянофилы и связывали это будущее с идеей национальной самобытности развития общества, русского народа, сохранивших «преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего» (И. В. Киреевский).

Правда, к тому времени, о котором идет речь (1843 год), «чисто альманашный», как о нем писали в «Отечественных записках», журнал «Современник» имел гораздо меньшее влияние на общественное мнение, чем те же «Отечественные записки», где с 1839 года деятельнейшее участие стал принимать В. Г. Белинский, но все-таки редактируемый П. А. Плетневым журнал продолжал оставаться значительным печатным органом.

Впрочем, отношение к Кольцову у начинающего стихотворца было далеко не восторженным, что, в общем-то, вполне объяснимо: юноше, воспитанному на дворянской и западноевропейской литературе, на первых порах было трудно попятить и принять самобытную поэзию простолюдина.

Все три брата Бекетовых в молодости «переболели» литературным сочинительством, хотя впоследствии деятельность свою связали с наукой и техникой: старший, Алексей, стал инженером, средний, Андрей, был сначала студентом-филологом, слушал лекции вместе с Плещеевым, но затем перешел на факультет естественных наук (в Казани), стал выдающимся ученым, основателем отечественной школы ботаников-географов; младший, Николай, основатель отечественной школы физиков-химиков, открыл способ восстановления металлов из их окислов.

Младшие сыновья Н. А. Майкова Владимир и Леонид тоже со временем заявят о себе как даровитые литераторы: Владимир станет известным переводчиком, редактором детских журналов, а Леонид — видным историком литературы, крупным фольклористом: в 1863 году он защитит диссертацию на степень магистра русской словесности «О былинах Владимирова цикла», в 1889 году будет избран академиком, в 1893 году назначен вице-президентом Академии наук, был председателем этнографического отделения Географического общества.

Цитаты из «Карманного словаря иностранных слов, вошедших в состав русского языка, издаваемого Н. Кирилловым», в котором пропагандировалось учение социалистов-утопистов, составленного Петрашевским и В. Майковым.

Первый выпуск словаря (1845 г.) в основном составлен и отредактирован В. Н. Майковым (от А до «Марпотова трубка»; второй выпуск («Марпотова трубка» — «орден мальтийский») был составлен М. В. Буташевичем-Петрашевским (апрель 1846 г.).

Барбье Анри Огюст (1805–1882) — французский поэт, автор сборников сатирических поэм «Ямбы» (1831), сонетов «Героические созвучия» (1843), поэт-романтик, выступающий с резкой критикой буржуазных нравов на первом этапе творчества; но после революции 1848 года пришел к проповеди христианского смирения и всепрощения. Поэзия его была популярна в кругах русской молодежи в 40-е годы.

Интуиция здесь не подвела Плещеева, и впоследствии один из биографов Алексея Николаевича, П. В. Быков, рассказал такой эпизод, связанный с историей создания стихотворения «Любовь певца», послуживший прообразом знаменитого «Вперед без страха и сомненья...»:

«Плещеев никому не сказал, что он — автор стихов («Любовь певца»), он признался в этом только другу своему — С. Ф. Дурову... И последний сказал ему: «Жаль, что в этом безымянном и неважном, чисто субъективном стихотворении пропадут такие удачные строки, как:

Блажен, кто жизнь в борьбе кровавой,
В заботах тяжких истощил, —
Как раб ленивый и лукавый,
Талант свой в землю не зарыл...

Лучше вставить их в более идейную пьесу».

Поэт послушался товарища, и его совет вдохновил молодого автора на стихи «Вперед», — вспоминает П. В. Быков в книге «Силуэты далекого прошлого». Заметим только, что в первое посещение «пятницы» Петрашевского Плещеев и Дуров еще не были знакомы.

Ламенне Фелисите Робер (1782–1854) — один из родоначальников христианского социализма, идеолог улучшения общественного строя путем христианской любви и нравственного самоусовершенствования.

Стихотворение «Н. Мордвинову», написанное в начале 1846 года, было впервые опубликовано только в 1965 году в журнале «Русская литература», а до этого оно вместе с другими бумагами Н. А. Мордвинова, арестованного в 1849 году, «хранилось» в фондах III Отделения.

Со стихотворением «На зов друзей» произошла целая история. Опубликованное в журнале «Репертуар и Пантеон» без слов «мне слышен звук цепей», оно и дальше продолжало подвергаться цензурным гонениям: при издании сборника «Стихотворения А. Н. Плещеева» (1846) поэту пришлось строку «Распятый на кресте божественный плебей!..» заменить на «Распятый на кресте великий Назарей», и в таком варианте эта строка публиковалась во всех прижизненных и посмертных изданиях поэта до 1905 года, и лишь в книгах, вышедших после 1905 года, восстановлена в первоначальном виде по сборнику, который Плещеев еще в 1846 году подарил библиографу Г. Н. Геннади и в котором собственноручно вписал строку по журнальному варианту. Это цензурное гонение вполне понятно: под «божественным плебеем» поэт, конечно же, имел в виду не только конкретный образ Христа («великого Назарея»), но и символический образ угнетенного, бесправного, «распятого» царизмом народа.

О том, что помощь от В. Ф. Одоевского была получена, можно судить по другому, более позднему плещеевскому письму к Владимиру Федоровичу, написанному поэтом в послессыльный период из Москвы в 1859 году: «Зная ваш образ мыслей, я уверен, что вы более всякого другого способны войти в положение человека пишущего и лишенного возможности писать то, что ему бы хотелось... Если вы спросите меня, отчего я обращаюсь именно к вам, а не к другим, имеющим также репутацию людей значительных и добрых. Ответ мой на это готов. Только вас одних уважаю я так глубоко, что не чувствую унижения сознаться вам в своих обстоятельствах, в своем пролетарстве. *Вы однажды помогли мне как равному, как собрату по профессии, несмотря на различие лет и общественного положения, существующего между нами*».

Плещеев вряд ли представлял и осознавал всю огромность духовного, переворота А. Григорьева, скептически относящегося к учениям социалистов-утопистов даже в тот период, когда он посещал дом Петрашевского. А когда Аполлон вернулся из Петербурга в Москву и сблизился там с людьми, либо разделявшими взгляды славянофилов, либо сочувствующими им, для него особенно неприемлемыми стали абстрактные общечеловеческие идеалы утопистов. Он ясно и четко представлял себе, что истинный поэт прежде всего тот, кто во главу угла ставит национальную самобытность творчества, для кого целостное идеальное мирозерцание питается соками родной земли, историческим опытом Отечества, — к такому пониманию он придет окончательно и навсегда к концу 40-х годов. Но и в тот период, когда он отрицательно отзовется о плещеевском сборнике, неприязнь к умозрительным системам, какой он считал фурьеризм («изо всех произвольно составленных утопий общественных нет для русской души противнее утопий Фурье», — скажет оп позднее), была велика. Впрочем, возможны и другие причины более субъективного характера, послужившие «росту» григорьевского скептицизма по отношению к плещеевскому творчеству.

В письме нижегородскому общественному деятелю А. С. Гаписскому 7 декабря 1889 года А. Н. Плещеев, подтверждая свое авторство этого стихотворения, дает такой комментарий:

«В стихотворении, действительно, кое-что изменено: вместо «настанет страшный час» было: «пробьет желанный час» и вместо «грозные» было: «спящие» народы. Кроме того, была еще третья строфа (вы помните, я писал вам, что это было написано на книжке стихотворений лицу, к которому обращалось это послание).

Любовью к истине святой
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И знаю, отзыв в нем найдется
(разрядка моя. — Н. К.)
На неподкупный голос мой».

(«Русская мысль», 1912, № 4, с. 125)

В 30—40-е годы XIX века в Швейцарии развернулась борьба между феодально-клерикальными и буржуазными силами. Зондербунд — союз семи швейцарских кантонов, созданный в 1843–1845 годах для предотвращения буржуазно-демократических преобразований, отстаивал сохранение политической раздробленности страны. Развязал в 1847 году гражданскую войну, в которой потерпел поражение.

Плещеев объединил тут две работы В. Майкова: статьи «Краткое начертание истории литературы, составленное В. Аскоченским» и «Романы Вальтера Скотта...».

Тесного сближения, однако, в этот период не произошло — слишком различны были характеры Салтыкова и Плещеева. Но отношения между ними все-таки установились, видимо, более прочные, чем легкое знакомство, если судить по тому, как обстоятельно выписан герой повести «Запутанное дело» Алексей Звонский, прототипом которого, как предполагают некоторые исследователи творчества Щедрина, послужил поэт Алексей Плещеев.

В. Семевский в статье «Петрашевцы: С. Н. Дуров, А. П. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. И. Плещеев» («Голос минувшего», 1915. № 11, 12) приводит любопытные свидетельства о том, как очень по-разному подходили члены кружка ко многим социальным проблемам, как некоторые, считая себя фурьеристами, вовсе и не знакомы были с сочинениями Фурье, судили об идеях великого утописта весьма приблизительно.

В будущем В. А. Дандевиль дослужится до генерала от инфантерии, а А. И. Макшеев до генерал-лейтенанта, профессора военной статистики Академии Генерального штаба.

Выделение *р а з р я д к о й*, то есть выделение за счет увеличенного расстояния между буквами заменено курсивом. (не считая стихотворений).
— Примечание оцифровщика.

Бикьякши — очень хорошо (*казах.*).

То есть казахи (*Н. К.*).

В письме Дандевиллю Плещеев говорит: «Все, что вы мне пишете о войне — как нельзя более справедливо... Да! время войны — потерянное время для человечества, — по крайней мере такой войны. Я даже на эту тему когда-то написал вирши (они находятся в тетрадке, оставленной мною у Л. З.), которые назвал «После чтения газет».

Грустно читать все это. С нетерпением ожидаем газет, которые привезут нам известия об участии Крыма».

В этом стихотворении Плещеев по-прежнему остается верен идеалам всечеловеческого братства, переполнен страстным желанием, «чтоб миновали дни тревог, ожесточенья, чтоб, позабыв вражду и ненависть свою... все племена слились в единую семью!».

Стихотворение это посвящено М. Е. Салтыкову-Щедрину, как было доказано исследователем творчества сатирика С. А. Макашиным.

В одном из таких писем Добролюбову (из Илецкой Защиты) Плещеев выразил намерение посвятить Чернышевскому перевод трагедии Гейне «Вильям Ратклифф». Сам Чернышевский отнесся, правда, к этому намерению поэта иронически, так как считал трагедию Гейне неудачной, однако принципиально против посвящения не возражал, и трагедия увидела свет в одиннадцатой книжке «Современника» за 1859 год с посвящением Николаю Гавриловичу — к этому времени Плещеев переехал жить в Москву.

Плещеев и сам пробует свои силы в драматургии, публикует на страницах «Библиотеки для чтения» пьесы «Услуга», «Нет худа без добра», позднее в журнале братьев Достоевских «Время» поместит житейские сцены «Крестницы», «Свидание», «Командирша», а в «Современнике» — пьесу «Счастливая чета». Драматургические опыты Плещеева были благосклонно одобрены Островским и пользовались известной популярностью в то время.

Об отношении Ф. М. Достоевского к роману «Накануне» можно судить только косвенно, так как его письмо к А. Н. Плещееву не сохранилось. Скорее всего Достоевский отнесся отрицательно к этому роману из-за главного героя романа Инсарова, человека, безразличного к искусству, чересчур рационалистичного — такие же недостатки Достоевский склонен был видеть и в реальных общественных деятелях революционно-демократического лагеря, о чем выскажется в статье «Г-н — бов и вопрос об искусстве» в 1861 году, оспаривая некоторые утилитарно-эстетические воззрения Добролюбова.

Если верить показаниям агентов III Отделения во время судебных процессов над Михайловым и Чернышевским или мемуарам П. Д. Боборыкина, который упоминает, что у Плещеева «была одно время в Москве типография», где якобы печатались революционные прокламации, то они предполагают и практическое участие Плещеева в революционной организации, возглавляемой Чернышевским, Добролюбовым, Михайловым, Шелгуновым и их товарищами. Но скорее все сведения о принадлежности Плещеева к такой революционной организации — следствие провокации III Отделения.

Впоследствии названо «Декабрист» по первоначальному варианту.

Именно эти слова почему-то вызвали ироническую и несправедливо резкую критику в адрес Плещеева со стороны самого Григорьева в его «Кратком послужном списке на память моим старым и новым друзьям», опубликованном в сокращении в девятой книжке «Эпохи» за 1864 год.

Как раз сам М. Л. Михайлов и стал первой жертвой репрессий: в сентябре 1861 года был заключен в Петропавловскую крепость «за распространение злоумышленного сочинения, в составлении коего он принимал участие и которое имело целью возбудить бунт против верховной власти» (имелась в виду прокламация «К молодому поколению»).

Если судить по формулярному списку, то за первые шесть лет службы в Московской контрольной палате А. Н. Плещеев сделал даже определенную карьеру, пройдя путь от коллежского регистратора до титулярного советника (произведен 20 июля 1872 года); кроме того, почти ежегодно он получал «за особые труды» денежные награды по триста рублей, а «в награду отлично-усердной службы Всемилостивейше пожалован Кавалером ордена св. Станислава 2-й степени» (10 апреля 1870 года).

Плещеев был невысокого мнения о Г. З. Елисееве как о литературном критике. Так, в письме к А. Н. Александрову (в предыдущей нашей главе это письмо уже упоминалось) поэт довольно резко отмечал: «Я понимаю таких критиков, как Белинский, как Тэн у французов, как Гентер у немцев... Можно быть, пожалуй, критиком, не имея ни одного из тех свойств, которыми обладали и обладают эти люди; но тогда нужно иметь беззастенчивость, нахальство, медный лоб... Этим свойством в достаточной степени обладают, например, Шелгунов и еще более сам Гришка» (то есть Г. З. Елисеев. — Н. К.).

На банкете было прочитано стихотворение Ф. Тютчева «Привет вам
задушевный, братья...» («Славянам»), обращенное тоже к славянским
гостям.

Только через несколько лет А. И. Плещеев добьется ее удочерения.

Стихотворение «Тяжелая мучительная дума...» Плещеев опубликует в «Отечественных записках», во втором номере 1889 года.

Стихотворение это Плещеев считал «весьма дельным», поэтому решил незамедлительно выслать на суд Некрасову вместе с другим стихом «Когда тебе молчанием суровым...» (навеяно воспоминаниями о Е. А. Плещеевой). Некрасов стихи одобрил и опубликовал их вскоре в «Отечественных записках», в 9-й книжке за 1868 год.

Оба этих стихотворения, как и ряд других, предназначенных для детей («В бурю», «Из жизни», «На берегу»), положены на музыку П. И. Чайковским. Петр Ильич создаст позднее на плещеевские слова музыкальный цикл «16 песен для детей» и напишет музыку к переведенным Плещеевым стихотворениям «Птичка», «Легенда», «Цветок»...

С января 1872 года Плещеев был приглашен Некрасовым на должность секретаря редакции «Отечественных записок» с ежемесячным жалованьем в размере 75 рублей.

Для «вечного» идеалиста Плещеева, познакомившегося с азбукой социалистических учений в кружке Петрашевского как раз под непосредственным влиянием Майкова, последний оставался и замечательным «пропагатором» утопических идей социализма, идей, которые играли немалую роль и в сочинениях Прудона (например, идея учреждения «Народного банка» с которыми петрашевцы были хорошо знакомы). Но для творца образов Петра Адуева и Штольца — первых деловых российских «реформаторов» — утопический социализм представлялся наивным прожектерством. Поэтому то, что вызывало в душе Плещеева восторженный трепет, Гончарова положительно никогда не волновало, точнее сказать, Иван Александрович был достаточно трезвым практиком, чтобы избежать утопических грез, сколь бы прекрасными они ни казались.

Под псевдонимом П. Никитин публиковал статьи в журнале «Дело» П. Н. Ткачев (1844–1884) — русский революционер-народник.

Названные пьесы ставились на сценах обоих театров, пользовались успехом, но весьма кратковременным.

П. Д. Боборыкин в своих воспоминаниях «За полвека» пишет, что «Плещеев исполнял в журнале совершенно стушеванную роль секретаря без всякого веса и значения...», по этим утверждениям вряд ли следует верить, учитывая пристрастие Боборыкина с одинаковым апломбом говорить как о хорошо, так и о плохо знакомых предметах.

В 1874–1875 годах Достоевским и Некрасовым возобновились дружеские отношения, и Федор Михайлович пошел навстречу просьбам Николая Алексеевича, передав свой роман «Подросток» в «Отечественные записки», где этот роман и был опубликован в семи номерах 1875 года, но больше в этом журнале никакие произведения Достоевского не публиковались.

Позднее под давлением Англии и Австро-Венгрии, угрожавшей России войной, русское правительство вынуждено было согласиться на Берлинском конгрессе на расчленение Болгарии и передачу ее южной части под власть Турции.

Стихотворение «Ты жаждал правды, жаждал света...» Плещеев опубликовал в журнале «Гусли», издававшемся в Тифлисе при ближайшем сотрудничестве Н. Я. Николадзе — видного общественного деятеля, соратника Чернышевского в 60-е годы.

Плещеев не принял главный пафос речи Достоевского: Пушкин — полное воплощение самобытности русского духа, общечеловеческой отзывчивости русского народа... и что «никогда еще ни один русский писатель, ни прежде, ни после его, не соединялся так задушевно и родственно, с народом своим, как Пушкин»; между прочим, еще в 1877 году в «Дневнике писателя» Достоевский развивал сходные мысли, отмечая, что с Пушкина «только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу...».

В 1882–1883 годах у П. И. Вейнберга — поэта, историка литературы и переводчика, на «средах» можно было встретить Д. В. Григоровича, которого Плещеев знал еще с 40-х годов, прозаиков П. Д. Боборыкина, К. М. Станюковича; заходил сюда Г. И. Успенский, если чувствовал себя здоровым, бывали Я. П. Полонский, А. И. Пальм, заглядывал и А. Н. Островский, когда приезжал в Петербург. Художники М. К. Клодт, К. Е. Маковский, Г. Г. Мясоедов, молодой Н. А. Ярошенко, композиторы Ц. А. Кюи, Н. А. Римский-Корсаков, артисты В. Н. Давыдов, М. Г. Савина тоже нередко бывали здесь. Плещеев, избранный в 1881 году петербургскими литераторами председателем Пушкинского кружка, тоже часто посещал «среды» Вейнберга, ценил их прежде всего за то, что на них царила атмосфера дружелюбия и корректности, — об этом поэт говорил и в стихотворении «Последняя среда» (1883 год).

Padre (отец) — таким ласковым именем назвал Плещеева Иван Леонтьев (Щеглов), назвал в шутку, но это прозвище так и закрепилось за Плещеевым в кругу его новых молодых друзей.

Плещеев, считая Надсона самой крупной фигурой среди молодых поэтов, безусловно, впадал в преувеличения (хотя для того времени эти преувеличения почти незаметны, ибо ни И. Анненский, ни К. Фофанов тогда еще ничем себя не проявили), и прежде всего потому, что ему очень по душе пришелся призывный пафос молодого поэта во имя идеальной красоты, свободы, счастья. Пятидесятилетний признанный мастер, казалось, не хотел видеть декларативности, риторичности, заметных и в ранних надсоновских стихах...

Среди публикаций этой поры — лирические исповеди «На закате», «Как часто образ дорогой...», «Слова для музыки» — последнее стихотворение с посвящением П. Н. Островскому, брату драматурга, было положено на музыку П. И. Чайковским и В. С. Калинниковым.

Между прочим, интуиция и тут не подвела старого поэта: из ссылки Станюкович стал присылать в столицу превосходные произведения о море, матросском быте (он был сыном адмирала, а в молодости служил морским офицером), составившие впоследствии известную книгу «Морские рассказы».

Стихотворение это было написано Плещеевым еще в Оренбурге и опубликовано в сборнике «Стихотворения А. Н. Плещеева» 1858 года.

Этот сборник хранится в Таганрогском литературном музее А. П. Чехова.

Замысел этот А. П. Чехов так и не осуществил, хотя «маялся» им более года, если судить по переписке Чехова с Плещеевым в 1888–1889 годах, и намеревался посвятить роман Алексею Николаевичу.

Рассказ Гиляровского к печати рекомендован Плещеевым, однако по каким-то причинам не был опубликован в «Северном вестнике».

С 5-го номера 1890 года журнал издавался Б. Б. Глинским. В середине 1891 года издание журнала перешло к Л. Я. Гуревич.

Здесь А. Н. Плещеев ничуть не ошибся. На недвижимое имение Чернозерье (пять тысяч десятин земли и все постройки) предъявил право некий Хвоцинский, которому в 1891 году и отошло имение. Плещеев же стал наследником движимого и денежного капиталов (около двух миллионов рублей), но и на эти капиталы нашлась «претендентка», от которой Алексей Николаевич вынужден был откупиться, так как «претензии» этой дамы (сами по себе абсолютно безосновательные) угрожали надолго затянуть утверждение его в правах наследства.

Плещеевская «скупость» действительно однажды заявила о себе, когда Алексей Николаевич отказался финансировать предполагаемый научно-литературный журнал «Сотрудник». Издавать журнал намеревались молодые московские литераторы, группировавшиеся вокруг Н. Н. Златовратского. Алексей Николаевич мотивировал свой отказ тем, что сам принять участия в журнале не может, а Златовратский хотя и «человек прекрасный, честный, хороший беллетрист... но уж вовсе не журналист и жизни придать журналу не в состоянии», как заметит поэт в письме к В. П. Быстренину.

Николай Алексеевич Плещеев стал деятелем народного просвещения, на собственные средства организовал двухгодичную сельскохозяйственную школу имени А. Н. Плещеева на тысячу крестьянских детей.

Вышла в Петербурге в 1892 году.

Все даты приводятся по старому стилю.